

DOMINANTE 2006 ДОМИНАНТА

А А
Л Л
М Ъ
А М

Н А
А Н
С А
Н Х

ДОМИНАНТА
DOMINANTE

München 2006

DOMINANTE

Almanach für Literatur und Kunst

ДОМИНАНТА

Литературно-художественный альманах

München 2006

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемый читатель!

Не достойна ли изумления наша привычка существовать в бессмысленном звуковом хаосе? Неосознанно бродить по его лабиринту, прислушиваться к грохочущему пространству, к самим себе, и неожиданно убедиться: мир ДОМинантен.

Дом – домина. Наше бесконечное жилище, вместилище сквозняков, света, туманов, темноты, желаний, суеты. Однако доминантно жить, значит не только тяготеть и предпочитать, но и быть готовым к модулированию из одной тональности в другую. Доминанта – дверь раскрывающаяся, ведущая в неизвестность. Оборотень, танцующий в любых направлениях. Это аккорд удивления.

По замыслу издателей Мюнхенского форума искусств «Диалог», часть публикаций альманаха «Доминанта» обращена к разноязычному читателю. Не без волнения представляем мы работы авторов нескольких поколений от 29-летнего дебютанта Клим Немова до признанных мастеров Бориса Хазанова, Константина Кедрова и других. Не претендуя на всеобъемлющую полноту, составители, тем не менее, попытались охватить определенный спектр художественных направлений.

Не случайно и обращение к творческому наследию великих классиков Эпикура, Мандельштама, Кандинского, Целана. Оно позволяет вести разговор с читателем с позиций не-расторжимости художественного контекста развития мировой культуры.

Мы приглашаем читателя к углублённому размышлению и... к игре – путешествию по звукоряду нашего альманаха в поисках собственной доминанты. К диалогу доминант – авторов и читателей.

VON DER REDAKTION

An den Leser!

Ist unsere Gewohnheit, im sinnlos lärmenden Klangchaos zu existieren, denn eines Staunens – dem unvoreingenommenen – noch würdig? Unbewusst schlendern wir umher im Labyrinth, dem polternden Raum – lauschen in uns hinein. Und unerwartet wird man sich der Überzeugung bewusst: Die Welt ist eine Dominante.

Sie ist unsere unendliche Behausung. Hort der Zugwinde und des Lichts, des Nebels, der Dunkelheit, der Wünsche und der Eile... Die Dominante befiehlt den Weg. „Dominantisch“ zu leben bedeutet aber auch, nicht nur zu gravitieren und Entscheidungen nicht zu scheuen, sondern auch bereit zu sein für Modulationen, aus einer Tonart in eine andere. Die Dominante stößt eine Tür auf, ist dennoch nicht festgelegt. Und kann in die Ungewissheit führen. Oder zum ganzheitlichen System des Gedankens. Ein Werwolf der in beliebige Richtungen tanzt. Es ist ein Akkord des Erstaunens.

Mit der Publikation des Almanachs Dominante wendet sich der Herausgeber »DIALOG« Neues Münchener Kunstforum e.V. an den geneigten mehrsprachigen Leser. Mit großer Freude stellen wir Texte einiger Autoren verschiedener Generationen vor: vom 29-jährigen Debütanten Klim Nemov bis hin zu anerkannten Meistern wie Boris Chasanov, Konstantin Kedrov u.a. Sich des unmöglichen Anspruchs auf Vollständigkeit bewusst, haben die Herausgeber nichtsdestoweniger versucht, ein bestimmtes Spektrum zu erfassen.

Die Betrachtung des schöpferischen Erbes großer Autoren wie Epikur, Mandelstam, Kandinsky und Celan sind nicht zufällig. Sie ermöglicht das Gespräch mit dem Leser über die Positionen der Unauflöslichkeit des Kunstkontextes in der Entwicklung der weltumfassenden Kultur.

Wir laden den Leser zu vertiefenden Überlegungen ein... und zum Spiel während der Reise durch das Klangkaleidoskop unseres Almanachs, auf der Suche nach der eigenen Dominante. Bis hin zum Dialog der Dominanten – der Autoren und der Leser. Viel Vergnügen beim Lesen.

СОДЕРЖАНИЕ / INHALT

Дороги прозы / Die Wege der Prosa

Борис Хазанов Из старых записей /	
Boris Chasanov Alte Notizen	6
Клим Немов Москва и область	36
Эйтан Финкельштейн Операция «Женитьба»	64
Лев Абрамович плачет (Старомодный рассказ)	74
Роман Перельштейн Под простынёй	78

Драматургические Острова / Dramaturgische Inseln

Василий Кандинский / Vassily Kandinsky	
Вечер. В кафе. / Abend. Lokal.	94
Семён Гурарий Сюита для шуммклавира	103
Simon Gourari Suite für stummes Klavier	133

Речь поэта / Dichterrede

Константин Кедров Стихи	164
Елена Кацюба Стихи	180
Вадим Перельмутер Стихи	186

ПеРеводы / Übersetzungen

Осип Мандельштам Стихи / Osip Mandelstam Gedichte	
Übersetzung Paul Celan (r/d)	192
Paul Celan Gedichte / Пауль Целан Стихи	
Перевод Игнатия-Андрея Крекшина (d/r).....	198

Мнения Интервью / Meinungen, Interview

Диалог с композитором Родионом Щедриным	206
--	-----

Мизансцены / Mise en scène

Борис Рацер Из архивов собственной памяти	215
Ирена Лейн Полёты с запасным крылом	227

Фантом художника / Phantom des Künstlers

Хаде Мюллер / Hade Müller	
Тема и вариации / Thema und Variationen	254
Олег Дробитко / Oleg Drobitko	
Четвёртое измерение / Die vierte Dimension	260

ФАмильные династии / Familien Dynastien	
Михаил Генин Невечные мысли /	271
Michail Genin Unewige Gedanken Übersetzung Peter Ott (r/d)...	
Владимир Генин Отец	274
Наталия Генина Стихи	282
ФАксимиле / Faksimile	
Запрещенная литература 19 века	287
ФАкультатив / Fakultativ	
Эпикур Письмо Менекею /	
Epikur Brief an Menoikeus (r/d).....	292
СОбрание ЛЬстецов / Sitzung der Schmeicheln	
Овидий, М. Ломоносов, Н. Некрасов, Н. Гумилёв и др. ..	301
Ландшафты Языка / Sprachlandschaften	
Ernst Jandl / Эрнст Яндль Перевод Анны Глазовой (d/r)	306
Лейла Махат Стихи / Leila Mahat Gedichte (r/d).....	310
Graziano Moretto Versi /	
Грациано Моретто Стихи Перевод Ильи Самойленко (it/r) ...	313
Сюжеты Истории / Sujets der Geschichte	
Леонид Махлис Танго в английском саду	318
ДОсье / Dossier	
Об авторах альманаха / Über die Autoren	336
Impressum.....	340

Борис ХАЗАНОВ / Boris CHASANOV

Из старых записей

I.

НЕМЕЦКИЙ ЭПИЛОГ: НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

*Сон, который не истолкован,
подобен письму, которое не прочли
Талмуд*

Перед рассветом я вижу одно и то же: большой серый город. Улицы блестят от дождя, потом начинает валить снег, народ толпится на остановке, автобус подходит, расплёскивая лужи, люди висят на подножках, и я среди них. Всё как прежде. Я дома. Нужно куда-то поехать, срочно кого-то повидать, позвонить по телефону, сообщить, что я вернулся. Нужно привести в порядок бумаги, которые остались в комнате. Я мечусь по городу. Дела идут всё хуже. За мной следят, ходят за мной по пятам. Ради этого мне и разрешили приехать: чтобы собрать недостающие материалы по моему делу. Я чувствую, что подвожу людей, а люди думают, что подводят меня.

В эту минуту я начинаю просыпаться и вспоминаю, что я не-уязвим. Как я мог об этом забыть? Сон продолжается, но я уже ни о чём не беспокоюсь. Никто об этом не подозревает, но я-то знаю, что в кармане у меня иностранный паспорт. Это такое же чувство, как будто в вагон вошли с двух сторон контролёры – а у меня в кармане билет! И никто со мной ничего не сделает. Можно даже поиграть, притвориться, что потерял билет, увидеть жадный блеск в глазах у хищника. И медленно, не спеша, растягивая удовольствие, вынуть книжечку с геральдическим орлом. Счастливого оставаться. Я больше не гражданин этой страны. Хотя я приехал домой, в Москву, никакого дома у меня, слава Богу, нет.

Если правда, что сны представляют собой некие послания, то это письмо прислали мне вы, оно приходит уже не в первый раз, и каждый раз я возвращаю его нераспечатанным. Я отклоняю все приглашения в будущее. Сны ничего не пророчат. Нет, такой сон, если уж пытаться его разгадать, скорее предупреждает о том, что притаившаяся на дне сознания мысль абсурдна, что надежда бессмысленна. Надежда? Но ведь, как говорится, ты этого хотел, Жорж Данден.

Да ещё с каких пор. Должно быть, я всегда был плохим патриотом. С юности меня томил тоскливый зов: уехать. Точно мой костный мозг стenal по какому-то другому, экзотическому солнцу. Блудливая музыка юга, гитары и мандолины будили во мне злую тоску, *taedium patriae** – так можно было её назвать. Не то чтобы я стремился в какую-то определённую страну, нет, я совсем не хотел сменить родину. Я хотел избавиться от всякой родины. Я мечтал жить без уз национальности, без паспорта, без отечества. Вместо этого я жил в стране, где патриотизм был бессрочной пожизненной повинностью, в государстве, к которому я был привязан десятками нитей, верёвок, цепей и цепищ. Много лет, всю жизнь меня не оставляло сознание несчастья, которое случилось со мной, со всеми нами, и последствия которого уже невозможно исправить; несчастье это заключалось в том, что мы родились в этой стране. Где надо было родиться? Ответ выглядел нелепо, но это был единственный ответ: *нигде*. То есть всё равно где, но только не тут.

И вот удивительным образом эта грёза стала сбываться. С опозданием на целую жизнь и примерно так, как сбылось желание получить сто фунтов стерлингов, заказанное волшебной обезьяньей лапе в известном рассказе Уильяма Джекобса. Как-то незаметно одно обстоятельство стало цепляться за другое, внутренние причины приняли вид внешних и «объективных», и вскоре оказалось, что все мы стоим, держась друг за друга, над обрывом; когда стало ясно, что отъезд нависает, уезжать расхотелось, но уже земля начала осыпаться, покатались камни... Наконец, обезьянья лапа, высунувшись из мундира, подала знак – и это произошло. И дивное, ласкающее слух слово: «апатрид», *бесподданный*, стоит в моих бумагах. Ибо вовсе без паспорта обойтись не удалось; но это уже не тот паспорт, который глупый поэт вытаскивал из широких штанин. Хорошо стать чужим. Восхитительно – быть ничьим.

Неизвестно, конечно, защитил бы меня такой документ в нашей бывшей стране, но, в конце концов, дело не в этом. В неот-

* Отвращение к отечеству (лат.)

вязном сне, который долго преследовал меня, была только одна абсолютно фантастическая деталь: возвращение. И в этом вся суть. В конце концов мало ли здесь, рядом с нами, людей, покинувших родину? В Тюбингене какой-то старик в автобусе спросил меня: откуда я? И, получив ответ, сочувственно вздохнул: «Мой сын тоже эмигрировал». – «Куда?» – «В Мюнхен, – сказал он, – туда же, куда и вы».

Быть может, субъективно разница была не так уж велика. В детстве, уехав из Москвы в Сокольники, я был несчастнее всех эмигрантов на свете. И всё же – надо ли говорить об этом? – разница между нами не сводилась к тому, что беженец из Вюртемберга, покинув родные пенаты, провёл в вагоне два часа, а вашему слуге предстояло покрыть расстояние в две тысячи километров. Разница была даже не в том, что ему не надо было переучиваться, привыкать к чужому языку, денежной системе, бюрократии, к другому климату, к новому образу жизни, тогда как я был похож на человека, который продал имение, с кулём денег приехал в другую страну – а там они стоят не больше, чем бумага для сортира, и это же относится ко всей поклаже; весь опыт жизни бесполезен, всё, что накоплено за пятьдесят лет, чем гордились и утешались, всё это, словно вышедшее из моды тряпье, надо сложить в сундук и обзаводиться, неизвестно на какие средства, новым гардеробом. Нет, главная разница всё-таки состояла не в этом, – а в том, что, в отличие от швабского изгнанника, я ни при каких обстоятельствах не мог вернуться.

* * *

Сегодня последнее воскресенье лета, тихий сияющий день. Должно быть, такая же погода стоит теперь и у вас. Даже число на календаре то же самое. Странно звучат эти слова: «у вас». «В ваших краях...» Смена местоимений – вот к чему свёлся опыт этих лет, итог смены мест и «имений». В здешних краях Россию могут напомнить лишь пожелтевшие поляны, с которых местные труженики полей уже успели – без помпы, без «битвы за урожай» – убрать злаки. Вот, думал я, если бы ничего не было, никого бегства, а просто ночью во сне джинн перенёс бы меня сюда, – догадался бы я, что кругом другая страна? По каким признакам? Опушка леса ничем не отличается от тамошних. Та же трава, такая же крапива у края дороги. Подорожник, кукушкины слёзки. Это напоминало игру в отгадывание языка, на котором написан текст. Многие буквы совпадают. Из букв складываются слова, вернее, то, что должно быть словами. Ибо смысла не получается. Это другая письменность. И как только начинаешь это понимать, как только

спохватываешься, всё меняется, и даже знакомые буквы становятся чужими. Ибо они принадлежат к другому алфавиту. Даже небо, если всмотреться, выглядит чуть-чуть иначе, словно количественный состав газов, входящих в воздух, здесь иной. Словно у старика, который бредёт навстречу, разговаривая с собакой, иначе устроено горло. Всё то же, и всё другое. И слава Богу.

Мы не уехали, как уезжают нормальные люди – пожав руку друзьям, обещая приезжать в гости, приглашая к себе. Нас выгнали. Или, что в данном случае одно и то же, выпустили. Выпустили! Вот слово, вошедшее я обиходный язык, обозначив нечто само собой разумеющееся, слово, которое не требует пояснений. Выпускают из клетки, из тюрьмы. В отличие от беглецов 1920 года, мы были счастливыми эмигрантами. В Европу, в Израиль, в Америку, в Австралию – какая разница? Мы уезжали не на чужбину, а на свободу. *Heimweh is beter dan Holland*, как сказал какой-то соотечественник Мультипули, лучше уж ностальгия, чем Голландия. Лучше подохнуть от тоски по родине, чем подохнуть на родине.

Родина и свобода – две вещи несовместные. Прыгнуть в лодку, оттолкнуться... и будьте здоровы. Однако эта метафора, как все метафоры, коварна. Она соблазняет возможностью обойтись без размышлений, а на самом деле узурпирует мысль, она навязывает говорящему собственную логику и договаривает до конца то, чего он вроде бы и не имел в виду. Метафора моря подразумевает берег, оставленный берег: отеческую сушу. «Ага, – скажете вы, – тут-то он и выдал себя». Что же, если угодно, считайте, что вы получили ещё одно письмо от Улисса, снедаемого тоской. В прошлом году он прислал открытку с видом на дворец царя Алкиноя. Потом со Сциллой и Харибдой. Только в отличие от настоящего Улисса он плывёт не домой, а в обратном направлении.

Ибо мы, политические эмигранты из страны победившего нас социализма, – мы не просто уехали. Уехав, мы перестали существовать. Нет никакой русской словесности за рубежом, мы – фантом. Нас сконструировали «спецслужбы». Нас выдумала буржуазная пропаганда. С нами случилось то же, что когда-то происходило с арестованными, увезёнными ночью в чёрных автомобилях, расстрелянными в подвалах, бесследно сгинувшими в лагерях: нас не только нет, но и *никогда не было*. Был такой случай: году в пятьдесят втором до нас дошёл номер московского партийно-просветительного журнала «Новое время». В разделе «Против дезинформации и клеветы» была напечатана статья, разоблачавшая очередную вылазку буржуазной пропаганды: какой-то журналист на Западе, выполняющая волю своих хозяев, тиснул сенсационное сообщение о том, что в

районе станции Сухобезводное будто бы расположен крупный концентрационный лагерь с населением в 70 тысяч человек.

Читая эту статью, мы, сидевшие в этом лагере, испытывали род патриотической гордости, напоминающей гордость провинциалов, узнавших о том, что их заплесневелый городишко помянула столичная печать; опровержение нас нисколько не удивило: ведь мы отлично знали, что все мы вместе с начальством и охраной попросту выдуманы, изобретены врагами мира и социализма. Мы знали, что наше существование, существование миллионов заключённых во всех концах огромной страны, и отнюдь не только на её глухих окраинах, — утка, пущенная продажными борзописцами из западных газет, что мы — призраки, что нас нет, не было и не может быть.

Теперь это повторилось. Кто такой Икс? Не было никакого икса, такой буквы в алфавите не существует. А значит, и все слова, все вывески, все фразы, где затесалась эта буква, подлежат исправлению. Меня не существовало, поэтому всё, что я, допустим, написал, изъято из библиотек, всё, что я сделал, никогда не делалось, больные, которых я лечил, вылечены не мною, люди, которых поселили в моей квартире, в той самой квартире, где мы с вами когда-то сидели и философствовали о жизни и смерти, — люди эти понятия не имеют о том, кто тут жил до них. Это даже не политика, это логика. Всякое упоминание о нас недопустимо по той простой причине, что нас не было. Мы, так сказать, ликвидированы дважды. Выбрав свободу, мы изменили родине — это логично, выбирай что-нибудь одно. Но наказывать нас за измену невозможно, так как нас не было. Невозможно и бессмысленно обсуждать вслух проблемы эмиграции: какие проблемы, если не было никакой эмиграции.

* * *

Но я-то знаю, что вы меня помните. Для вас я тот самый путешественник в страну, откуда не возвращаются, о котором говорит принц Гамлет. Тот, о котором ещё не забыли, но никогда уже не думают в настоящем времени. Пока что я обретаюсь в имперфекте, завтра отодвинусь ещё дальше — в плюсквамперфект. Но если в самом деле существует потусторонний мир, его обитатели, надо думать, считают потусторонней нашу земную жизнь. И я ловлю себя на том, что думаю о *вас* как о мёртвых. Нет, я не хочу сказать, что там, в России, всё кончено. Солдат, раненый в бою, думает, что проиграно всё сражение, эту фразу Толстого не мешало бы помнить оказавшимся по ту сторону холма, всем, кто успокаивает себя мыслью, что всё честное и талантливое в стране так или иначе элиминировано, задавлено, упрятано за решётку или — уже

не в стране. Однако что верно, то верно: *отсюда* отечество представляется загробным царством, в котором остановилось время. Или по крайней мере страной, где вязкость времени, величина, которую когда-нибудь научатся измерять с помощью приборов, во много раз выше, чем в Европе. Словно на какой-нибудь бесконечно далёкой, обледенелой планете, там тянется один бесконечный год, пока здесь, на тёплом и влажном Западе, несутся времена, сменяются годы и десятилетия. Это простое сравнение, может быть, и включает в себе разгадку того, почему гигантское допотопное государство, казалось бы, исчерпавшее возможности дальнейшего развития, государство с ампутированным будущим, — почему оно всё ещё существует, продолжает существовать, не желая меняться, почему его тупоумные властители изо всех сил делают вид, что ничего не случилось, уверенные, что впереди у них — тысячелетнее царство. Почему? Да потому что самые незначительные перемены для этого государства губительны. Огромная туша может позволить себе лишь медленные, тщательно рассчитанные движения. Упав, она не поднимется. Надо ли желать, чтобы она переставляла ноги быстрее? Никто, кажется, не даёт права на это надеяться. Ничто не заставляет этого опасаться.

Что же делать? Бесспорно, отъезд — это капитуляция. Толпа вольноотпущенников, разбежавшихся по свету, которую объединяют лишь чувство потери, да великий неповоротливый язык, привезённый с собою, как куль, с которым некуда деться, да ещё кошмар возвращения, — вот что представляет собой наше «мы», вот те, кто якобы не в изгнании, а в «послании». Представлять можно только самого себя, быть самим собой. Тогда и вы не умерли, и мы не побеждены. Обнимаю вас...

* * *

Если когда-нибудь голос свыше спросит меня, как он спрашивает каждого: «Где ты был, Адам?» — я отвечу: собирал малину. Вёл за рога по лесным тропинкам двухколёсного друга. Медленно крутил педали вдоль тихих опрятных городков, мимо церквей, похожих издали на остро заточенные карандаши, мимо бензokolонков с развевающимися флагами, мимо кукольной богородицы в золотой короне на крошечной головке, с ребёнком на руках, — и думал о странной судьбе, которая привела меня в эту страну.

«Как вам удалось?...» Вопрос, который предполагает как нечто само собой разумеющееся, что у каждого нормального человека найдётся достаточно причин мечтать о бегстве из Советского Союза; загвоздка лишь в том, как это осуществить. И в конце концов уже не имеет значения, что же всё-таки заставило челове-

ка уехать оттуда, где не только деревья, но и люди говорят на родном языке, не важно, какая метла вымела его прочь из города, чьи улицы, переулки, сумрачные дворы, тёмные лестницы суть не что иное, как густо исписанные страницы толстой растрёпанной книги, которая называется его жизнью.

Давным-давно, во времена моего детства, в нашем старом кинотеатре на Чистых Прудах шёл фильм «Граница на замке». Крылатое слово тех лет. Публика радостно хлопала доблестным пограничникам, — тогда было принято аплодировать в кино, — и никому из сидящих в зале под дымным лучом не приходило в голову, что собственно означает название картины. Никто не смел себе признаться, что это они, весь народ до последнего человека, сидят в своей стране взаперти. Вряд ли кто мог помыслить о том, что ключ когда-нибудь повернётся и врата приоткроются, пусть на самую малость, но так, чтобы в эту щёлочку сумела проскользнуть горстка людей. Плавающая река, ограждавшая наш потусторонний мир, была частью государственной мифологии, слово «граница» приобрело для людей нашего поколения мистический смысл.

И вот настал день, когда мне предстояло переправиться через эту реку, пересечь границу так же просто, как перешагивают через ручей. Или как шествуют через Красное море, с ужасом и восторгом взирая на расступившиеся воды. Внезапная катастрофа отъезда, несколько дней, оставшихся на сборы, выполнение почти невыполнимых формальностей, садизм чиновников фараона, делавших всё возможное, чтобы убить у изменника родины последние сожаления о том, что расстанется с ней, — всё вдруг отсеклось и отплыло, всё потеряло значение. Нас впустили за перегородку, на другой стороне провожающие, кучка друзей, плача, махали нам руками; началась проверка нашего скарба, перетряхивание рубашек, перелистывание книг, затем в камерке, где были только стол и два стула, произведён был обыск с раздеванием догола. Мой семнадцатилетний сын поднял руки, как я почти в этом же возрасте на Лубянке тридцать три года назад. «Ты что думаешь, — усмехнулся таможенник, — здесь гестапо?» В соседней комнате ту же процедуру проходила моя жена. Это было, конечно, не гестапо. Это был Советский Союз. Лишённые гражданства, имущества, документов и прав, мы всё ещё находились во власти рогатого Минотавра, всесильного государства, и оно могло поступать с нами как ему вздумается. И самолёт был всё ещё «наш», радио говорило по-русски, и на лацканах у служащих красовалась эмблема Аэрофлота; граница летела вместе с нами; и лишь приземлившись, пройдя по узкому проходу мимо бортпроводниц, последних сви-

детелей нашего бегства, лишь когда сошли по лесенке и вступили на разогретый солнцем асфальт венского аэродрома, — заметили вдруг, что пылающая река, Флегетон греков, оказалась позади.

* * *

Наше пребывание в австрийской столице было головокружительно-коротким, и речь не о ней. Речь идёт о Германии, которая уже втягивала в своё магнитное поле. Мы были беженцы. Мы были свободны. Выездная виза, клочок бумаги размером с почтовую карточку, сложенную вдвое, — единственное, что мы могли предъявить, — оставляла нам необозримо широкий выбор, или, что в данном случае то же самое, одинаково закрывала путь на все четыре стороны, как надпись на перекрёстке: направо пойдёшь, потеряешь коня, налево — голову сложишь; все страны были для нас чужбиной, все дали звали к себе. Мы были свободны, как никогда в жизни, родина ограбила нас дочиста, политическая свобода оказалась помноженной на свободу от всех привязанностей, от всех грехов и заслуг. Но на самом деле жребий был уже брошен. Говорили, что в Федеративной республике легче найти работу, что там есть закон, опекающий иностранцев. Всё это были доводы, придуманные, чтобы придать видимость разумного решения тому, что предшествовало всем доводам, и на самом деле я чувствовал себя так, как должна себя чувствовать металлическая пылинка вблизи магнитного полюса.

Parbleu, почему же Германия?

Ах, лучше всего было бы двинуть в Древнюю Грецию, в Афины V века. Но туда невозможно купить билет. Франция? Приют всех русских эмиграций, страна, о которой не зря было сказано: *chacun de nous a deux patries, la nôtre et la France* (у каждого из нас две родины: наша — и Франция). Времена, когда это государство без разговоров оказывало гостеприимство всем политическим изгнанникам, прошли. Значит, в Израиль? В этой стране меня ждали. Несомненно, это была единственная на всём свете страна, где нас не встретили бы как эмигрантов. Мы ещё не успели покинуть аэропорт, как в воздух поднялась и ушла на юго-восток белая птица с голубым щитом Давида. Улетела без нас. Почему? Я могу этому, как ни странно, дать лишь одно объяснение: потому что рядом находилась Германия. Потому что конь, на котором сидел чуть ли не в нижнем белье витязь, уже тянул голову в ту сторону, где, теоретически говоря, ему надлежало пропасть.

Никто не знал, как нас там встретят. После всего, к чему причащает жизнь в России, баварская пограничная полиция может показаться благотворительным обществом, и всё же никто не мог пред-

сказать, как мы там будем жить. Язык должен был облегчить первые шаги – Гёте и Шиллер, старые добрые руки, поддерживали меня, я озирался вокруг, мне чудилось, что на каждом шагу я узнаю вечную Германию духа, в которой я вырос. Кто бы подумал, что это узнавание обернётся другой стороной, что этот язык, покуда он будет восприниматься лишь как код великой культуры, здесь, именно здесь станет помехой, что понадобятся особые усилия, чтобы отучиться глядеть на страну и людей сквозь магический кристалл литературы. Впрочем, мне нетрудно представить себе какого-нибудь восторженного идиота, прикатившего издалека, который ходит по Москве, восклицая: «О, наконец-то! Святая Русь! Страна Толстого и Достоевского! Наконец-то я увидел тебя».

Страны подобны художественным или мифологическим образам: в них всегда остаётся нечто недоговорённое, к ним никогда нельзя относиться как к отражениям действительности; каждая страна присутствует в сознании в виде некоторого фантома, который возникает Бог знает из чего, из преданий и предрассудков, из школьного мусора, из каких-то клочьев тумана, плывущих из незапамятного детства, даже из звуков самого имени: ведь русское слово «Германия» воспринимается совсем по-другому, чем немецкое Deutschland. Иначе и волшебнее звучат названия земель и городов, в них слышится нечто неведомое немецкому уху, за ними скрывается то, чего, возможно, не видят и никогда не видели немецкие глаза. Тайна переживания чужой страны не менее интимна, чем тайна национализма. «Нам внятно всё – и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений». «Он из Германии туманной...». За этими эпитетами, не правда ли, стоит целый комплекс представлений.

Но было бы неправдой, если бы я сказал, что лунно-серебристая, призрачная, лесная, вся звенящая птичьими голосами родина европейского и русского романтизма, лунный лик и локоны Новалиса – были единственным мифом, который однажды и навсегда впечатался в сознание. Рядом с ним и почти из него вырос и заслонил его другой миф, другой образ Германии, наделённый такой же гипнотической силой. Бесполезно было бы швырять в него чернильницей. Прогнать его не так просто.

* * *

«Wirklich, ich lebe in finsternen Zeiten...»

«Право, я живу в мрачные времена! Беззаботное слово глупо. Гладкий лоб говорит о бесчувственности. Тот, кто смеётся, ещё не услышал страшную весть».

«Что это за времена, когда разговор о деревьях становится

почти преступлением, ибо он заключает в себе молчание о погибших...»

«Правда, я всё ещё зарабатываю на хлеб. Но верьте мне: это случайность. Ничто из того, что делаю, не даёт мне права есть досыта. Я уцелел случайно. Если мою удачу заметят, я пропал».

Когда-то в России казалось, что стихи Брехта написаны обо мне, о таких, как я, — их было много, — для которых недоверие к более или менее благополучной действительности было нормальным чувством, кто знал: если он жив и всё ещё ходит на воле, то лишь по чьему-то недосмотру. Теперь и эти стихи стали частью воспоминаний.

Здесь вообще многое напоминало Россию, например, музыка. И, конечно, литература. «Das Buch Le Grand» Гейне, упоительная вещь, которую я читал в вагоне метро, поздно вечером зимой сорок четвёртого года, катаясь из конца в конец по линии Сокольники — Парк Культуры, потому что дома не горел свет. Возле Тюбингена на зелёном холме стоит Вюрмлингская часовня, которая украшала толстый том сочинений Людвига Уланда, подаренный мне ко дню рождения, сто лет назад. «Наверху стоит часовня...» Внизу — долина. Я был уверен, что всё это поэтический вымысел. Этот вымысел оказался действительностью, чтобы в конце концов тоже напоминать о России.

Однако стихотворение Брехта приобрело другой смысл.

Всё, что мы можем сказать о волшебстве немецкой музыки и поэзии, о мощи немецкой мысли, о красоте ландшафтов, всё это будет ложью, если оно заключает в себе молчание о погибших.

Как же можно прикатить было сюда, получить политическое убежище, кров и хлеб из рук этой гостеприимной страны после того, что происходило с ней и в ней ещё на нашей памяти... Мы видели на экране ликующие толпы, руки, простёртые навстречу Вождю, мы видели фотографии, сделанные в концлагерях. Германию называют Протеем. Редко какой народ так круто поворачивал, до неузнаваемости менял свой облик, как немцы на протяжении последних полутора столетий. Германия в год смерти Гегеля — и Германия в 1871 году, через каких-нибудь сорок лет. Усы Вильгельма Второго и усики Шикльгрубера. За всеми переменами, однако, осталось нечто неколебимое: чинная жизнь небольших опрятных городков, пёстрые черепичные крыши церквей, музыка из окон, часовня на холме. Трудолюбие, добросовестность, серьёзность. Ах, об этом говорено уже тысячу раз... Вечный вопрос: оттого ли этот народ стал добычей тоталитаризма, что он был таким, или он стал *таким* оттого, что стал жертвой тоталитаризма?

Похожий вопрос мы задавали себе в России. Но в России значительное большинство народа лишено исторического сознания; людям не приходит в голову, что целое государство может стать преступным; а просвещённые немцы должны были это понять. Они поняли; но было уже поздно. Они поняли это, иначе демократия, хоть и насильственно внедрённая победителем на Западе, не пустила бы глубокие корни, какие она всё-таки здесь сумела пустить.

А всё же удивительно, как две страны, которых история века дважды столкнула лбами, повторяют одна другую, связаны тайной близостью, при том что трудно найти два других столь разных народа. Существует параллелизм политического, в обеих странах запоздалого, и параллелизм духовного развития. Эволюцию немецкого романтического национализма, сначала голубого, затем багрового, повторяет эволюция «русской идеи», сходство наркотически-чарующего почвенничества в обеих странах бросается в глаза — общая тяга назад, в лес и деревню, к Средним векам, эротическое влечение к народу, в женственно-тёмную глубь. Существует общее для обеих традиций открепление от эгалитарного прогресса, от соблазнов технической цивилизации, от торгашеской демократии, отталкивание от французского рационализма и англосаксонского прагматизма, — тоска по утопии — и там, и здесь. И, как некий убийственный итог, обрыв истории с её естественным завершением: общий опыт каннибализма. Да, конечно, Германия разделалась со своим прошлым, более или менее разделалась, — чего нельзя сказать о её бывшем тоталитарном двойнике. Сонм историков и публицистов, радио, телевидение, печать не устают бередить старые раны; всё упреки, какие нация могла бросить самой себе, брошены в Германии. Повторил бы теперь Томас Манн то, о чём он писал Вальтеру фон Моло, — что ему страшно возвращаться на родину? Как на безумца посмотрели бы на того, кто сказал бы тогда, на развалинах войны, что во второй половине века эта страна станет самой мощной демократией Европы.

* * *

Демократия и культура состоят в сложных отношениях. В культуре есть нечто сопротивляющееся демократии, почти презирующее её. Культура — если подразумевать под ней то, что традиционно обозначалось в Германии словом «дух», *der Geist*, — и демократия говорят на разных языках. Но, расставаясь с демократией, культура изменяет гуманизму. Этот немецкий комплекс, комплекс высокомерия, есть одновременно и великий урок немецкой культуры, преподанный в нашем веке с убийственной наглядностью.

Где-то между 16 и 17 годами я поднёс к губам запретную чашу

с наркотическим отваром и отхлебнул от неё со смешанным чувством дурноты, отвagi и наслаждения. Я говорю о философии Артура Шопенгауэра. Может быть, следовало назвать какое-нибудь другое имя, этот возраст – возраст чтения философов, – но, в конце концов, почему бы не это имя? Мне приятно вспомнить о нём. Во втором томе его трактата, в знаменитой главе о любви, есть место, где говорится, что взаимное влечение влюблённых есть не что иное, как воля к жизни ещё не зачатого существа. Какая странная, хоть и воспринятая от греков, но вместе с тем и чисто немецкая идея. Есть нечто стремящееся стать действительностью, ещё не существующее, но уже сущее. Существует текст, который ждёт, чтобы его написали на бумаге. И я помню, как очаровал и озадачил меня этот спиритуалистический романтизм философа, некогда популярного в России, но в советское время исчезнувшего с горизонта; осуждённый самим «Лукичом», он возглавил индекс особо зловредных авторов, куда входили, само собой, и Ницше, и Шпенглер, и множество других: самый интерес к этим авторам приравнивался к политическому преступлению. Запрет всегда повышает акции писателя. Напротив, очарование крамольной книги исчезает, лишь только она перестаёт быть крамольной.

Однако криминальный философ заключал в себе самом некоторое противоречие. Насколько гипнотизирующей, дурманящей была его проза, насколько поработал и затягивал волшебным ритмом старинный слог и манил мистической красотой благородный готический шрифт, – загадочное родство шрифта и текста есть факт, не подлежащий сомнению, – настолько непривлекательней выглядел сам автор. Прочсть его характер на дагерротипе не составляло труда. Два-три эпизода аттестовали его достаточно ярко. Могу представить себе, что было бы, если бы я поступал к нему в дверь, во Франкфурте, в доме на улочке под названием «Чудный вид» (Schöne Aussicht). Я так и слышу шаги на лестнице, лай пуделя и скрипучий голос: «Гоните его вон!». Капризный старец, мстительный и самовлюблённый; семидесятилетний Нарцисс, заглядевшийся в своё отражение в чернильнице. (Эта острота, по другому адресу, принадлежит Тютчеву). Разительное противоречие между человеком и его творчеством, контраст гениальности и мещанства постепенно перерастал в какой-то зловещий символ. Быть может, он был предчувствием великого антигуманистического искуса, который таила в себе немецкая мысль.

В Вене – я снова возвращаюсь к первым дням – мы брели по Рингу под пышными каштанами, это было на другой день после приземления, и здесь, как потом в Германии, казалось, что улица

выметена домашней щёткой, а не метлой. Сорок лет назад на этой улице кучка седебородых евреев, кто на корточках, кто на коленях, чистила мостовую зубными щётками. Между ними прохаживались полицейские, а на тротуаре стояла гогочущая толпа.

Нашему поколению не нужно было объяснять, что значит слово «немецкий». Все формы ненависти сошлись в одной: биологической, эндокринной. «Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз ты увидишь его, столько раз его и убей!» – «В Германии, в Германии, в проклятой стороне...»

День начала войны 22 июня 1941 года, самый длинный день в году, был счастливым днём моей жизни. С утра радио передавало бодрые марши, музыка гремела на улицах, солнце играло в стёклах домов, вся старая и скучная жизнь была разом отменена. Мне было 13 лет. В полдень передавалась речь Молотова. Меньше двух лет назад он подписал пакт о дружбе с Германской империей, он говорил тогда о справедливой борьбе немецкого народа против англо-американского империализма. Башмаков не успели стоптать. Теперь он сказал, что ответственность за развязанную войну несут германские фашистские правители, и я помню, как резануло слух это слово «фашистский», вот уже два года вычеркнутое из лексикона. Ожидали, что выступит Сам, но он куда-то делся, целых две недели о нём ничего не было слышно. В те дни трубный глас близкой победы с утра до вечера раздавался из репродукторов, разнёсся слух о том, что наши войска взяли Варшаву, Будапешт и Бухарест; потом вдруг поняли из невнятных и противоречивых военных сводок, из глухих и зловещих намёков, что немцы окружили Ленинград, подошли к Смоленску и, может быть, через неделю-другую будут в Москве.

Нужно было жить в те времена, много лет изо дня в день слышать песни и оды о непобедимости Красной армии, видеть фильмы о парадах на Красной площади, панно и плакаты с шеренгами марширующих сапог, с частоколом штыков, с эскадрильями и парашютистами, нужно было каждый день читать и слышать о том, что мы живём в самой справедливой стране и потому при малейшей угрозе, при первой попытке врага посягнуть на наши священные рубежи, народы мира, трудящиеся всех стран и прежде всего пролетариат Германии поднимутся на защиту первого в мире государства рабочих и крестьян, – нужно было это слышать, ведь и сейчас, через столько лет, стоит только закрыть глаза, музыка, и гром, и гомон начинают звучать в ушах: если завтра война... малой кровью, могучим ударом... ни одной пяди своей земли... артиллеристы, точней прицел... но если враг нашу радость живую... на его же территории... ведь от тайги до британских мо-

рей... не видать им красавицы Волги... ворошиловские пули, ворошиловские сабли... эй, вратарь, готовься к бою! Нужно было этим жить и всему этому верить, чтобы разделить изумление, смутнение, ужас, охватившие миллионы людей, когда они догадались, что происходит на самом деле. Невиданная по мощи и организованности армия не шла, а маршировала, не ехала, а катилась, не наступала, а неслась на нас, давя и сметая всё на своём пути, немецкий пролетариат и пальцем не подумал пошевелить ради нашего спасения, народы мира помалкивали, и единственным, да и то далёким и полуреальным нашим союзником, словно в насмешку над великим учением марксизма-ленинизма, оказались империалисты, тучный Черчилль и загадочный дядя Сэм.

Через неделю после начала войны мой отец вступил добровольцем в народное ополчение, некое подобие войска, в спешке и панике сформированное из мелких служащих, немолодых рабочих второстепенных предприятий, музыкантов, учителей, парикмахеров и других бесполезных людей. В начале июля ополчение выступило в поход в составе 32-й армии, вместе с ней попало в гигантский котёл между Смоленском и Вязмой и в короткий срок было истреблено почти до последнего человека. Время несло наперегонки с наступавшим вермахтом. Грянули необычайно ранние и жестокие морозы – русский Бог спохватился и, как мог, принялся вызволять свою несчастную страну. Кучки уцелевших полузамёрзших людей разбрелись по лесам; и, проблуждав в тылу противника два месяца, отец мой каким-то чудом вышел из окружения.

Перед этим он как-то заночевал в одной деревне. Поздно вечером в избу постучались немцы. Молоденький офицер спросил: «А это кто? Откуда? Партизан? Еврей?» Хозяйка ответила: «Он из нашей деревни».

Интересно было бы узнать, что стало потом с этим человеком. В какой-нибудь немецкой семье стоит, наверное, в углу на столике его фотография в чёрной рамке. Но если считать, что вероятность быть убитым на Восточном фронте равнялась одной пятой, вероятность умереть в русском плену – четырём пятым, вероятность вернуться калекой и окончить дни в разрушенной и голодной Германии – половине, то остаётся всё же некоторая возможность, слабая вероятность, что он жив до сих пор. В таком случае почему бы ему не оказаться в Федеративной Республике? В Мюнхене? Может быть, мы живём на соседних улицах, встречаемся каждый день в переулке. А если бы крестьянка сказала правду? Если бы я сам с мачехой и маленьким братом в сорок первом году оказался на оккупированной территории? В конце концов это было вполне воз-

можно. Я не воевал, но и у меня было не меньше шансов сыграть в ящик, чем у этого офицера, хотя бы потому, что я принадлежу к племени, сгоревшему в печах.

* * *

Оставив Вену, мы провели несколько дней на границе вблизи Берхтесгадена, где некогда находилась горная резиденция Гитлера, в местах изумительной красоты. С необычайной вежливостью полиция препроводила нас в деревенскую гостиницу. Посёлок казался безлюдным. В две шеренги вдоль главной дороги стояли плодовые деревья, в траве валялись яблоки, никто их не подбирал. Я увидел церковь, перед калиткой стоял велосипед, две женщины бродили по маленькому кладбищу. За рядами памятников из хорошего камня, с золотыми надписями, виднелся аляповатый гипсовый ангел, распростёрший крылья над столбцами имён. Это были местные жители, погибшие на войне. Проклятое прошлое преследовало меня. Но теперь я смотрел на него как бы через перевёрнутый бинокль. Со странным любопытством принялся я читать фамилии, даты, места смерти; то были по большей части совсем молодые люди, чуть ли не подростки, так, по крайней мере, мне казалось теперь. Один убит в Норвегии, другой над Францией – сбит в воздушном бою, ещё кто-то в Греции, на Крите, два или три человека не вернулись из-под Эль-Аламейна. Но и Греция, и Франция были исключениями. Я пробегал глазами надписи, как водят пальцем по строчкам сверху вниз, имя за именем, дату за датой, и почти везде стояло одно и то же слово: Russland, Россия. Итак, одной этой альпийской деревни было достаточно, чтобы заполнить лесную поляну где-нибудь невдалеке от тех мест, где бродил мой отец. Сколько таких деревень в Баварии, сколько таких полей в России? Наша страна так велика, что в ней хватило бы места для пятидесяти Германий. Отсюда СССР представлялся сплошным кладбищем – без ангелов и крестов. И только здесь, в такой благополучной, как казалось, Германии, сначала смутно, потом ясней начали вырисовываться масштабы апокалиптического возмездия, которое полвека назад разнесло вдребезги эту страну. Месть, принимавшая самые отвратительные формы, настигла этот народ, всех без исключения, устранив разницу между виноватыми и невиноватыми; виновны были все уже потому, что они были немцы. Месть затмила военные, государственные, идейные и моральные соображения. Военные действия шли своим чередом – месть стояла над ними. Она поднялась со дна океана, как цунами. Миллионы беженцев устремились на запад. Месть перекатилась через головы наступавших и обрушилась на бегущих.

Тех, кто спасся, ждало второе возмездие – уже состоявшееся. К концу войны бывший рейх представлял собой страшное зрелище. Не уцелело ни одного крупного города. Одна из последних сводок гласила: «Поле развалин, прежде именовавшееся городом Кёльном, оставлено нашими войсками». Среди этих развалин высился, словно гигантская двойная сосулька, выщербленный и повреждённый, семисотлетний Кёльнский собор. Берлин, Гамбург, Франкфурт, Майнц, Вюрцбург, Дортмунд, Эссен, Дюссельдорф, Кассель, Нюрнберг, Мюнхен, Аахен, Бремен, где возле собора стоит памятник славным бременским музыкантам, кстати сказать, так и не добравшимся до города, были разнесены в щепы. Дрезден был уничтожен в одну ночь. Кольцо огня окружило город, и шестьдесят тысяч жителей и беженцев, запертых в центральных районах, задохнулись в дыму или погибли под обломками. Тысяча двести гектаров руин остались от изумительной столицы Августа Сильного. Престарелый Гауптман видел зарево на небе с крыльца своего дома в Силезии. Вестфальский город Мюнстер, который вырос вокруг монастыря и епископства, основанного Карлом Великим в VIII веке, погиб на 98 процентов, каким образом был произведён такой точный подсчёт, не постигаю. Я побывал в городишке Цербст. В 1745 г. свадебный поезд с гайдуками, с форейторами повёз отсюда в Санкт-Петербург 16-летнюю принцессу Софи-Фридерiku-Августу Ангальт-Цербстскую, будущую русскую императрицу Екатерину II. Через много лет после войны Цербст, разбитый русской артиллерией, напоминал человека, чудом выжившего, но оставшегося без лица. Масштабы кары, поразившей Германию, можно было сравнить разве только с катастрофой Тридцатилетней войны, но в XVII веке не было бомбардировочной авиации. И в эту съёжившуюся, словно шагреновая кожа, проклинаемую всем миром и околевающую Германию хлынуло двенадцать миллионов беженцев из восточных областей. Одни бежали сами, другие были изгнаны после войны. Так окончилось «опьянение судьбой», *Schicksalsrausch*, двусмысленное словечко, брошенное Мартином Хайдеггером.

Современник свидетельствует: «Три года, с весны 1945 до лета 1948 года, немцы были одним из самых обнищавших народов на земле». Было подсчитано, что для того, чтобы разгрести развалины Франкфурта, понадобится тридцать лет. Каждый немец мог надеяться приобрести миску или тарелку в среднем один раз за пять лет, получить пару башмаков один раз в 12 лет, костюм – один раз в 15 лет. Лишь один из пяти новорождённых мог лежать в только ему одному принадлежащих пелёнках, и один из трёх

умерших мог надеяться, что его похоронят в гробу. В сорок восьмом году какой-то шутник из Карлсруэ писал, что каждый житель сможет приобрести каждые пятнадцать лет одну поварёшку, каждые 150 лет – умывальник и каждую вечность – одну зубную щётку. Наступил Час Нуль, когда многим казалось, что история кончилась или начинается заново на пустом месте.

* * *

Ничто так не врезалось в память, как первые впечатления реальной жизни: ни памятники старины, ни ландшафты, ни даже то, что повергало в ошолобление нашего брата: неслыханное изобилие продовольственных витрин. Западный уровень жизни задаёт свой собственный язык богатства и бедности, непередаваемый на язык российской неустроенности и нищеты, чем и объясняются крайности, между которыми мечется эмигрант: то он чувствует себя приобщённым к неправдоподобно благоустроенной жизни, точно бедный родственник, которому разрешили переночевать в богатом доме, то испытывает, как ему кажется, ещё больше лишений, живёт ещё скудней, чем на родине; ибо он попросту не умеет жить этой жизнью. Сытая жизнь для него, как и для всякого русского, – синоним лёгкой жизни, он поглядывает свысока на заевшихся немцев и не хочет понять, что ограниченность естественных ресурсов и умение максимально использовать то, что имеется в распоряжении, пресловутая немецкая бережливость, любовь к порядку, короче, всё то, что русскому человеку кажется непроходимым мещанством, – и есть один из секретов благосостояния. Обалделый чужеземец бредёт мимо ярко освещённых выставок изобилия, словно среди садов Семирамиды, забыв, что ещё совсем недавно на месте этих садов высились холмы щебня и обгорелых кирпичей.

И точно также раздваивается, колеблется между двумя крайностями ощущение самого себя в головокружительно новом мире. Кажется, смешно и думать о том, чтобы начать, с лысой головой, жизнь заново, смешно задавать вопрос, что изменилось в тебе с переселением на чужбину. На него давно ответил латинский поэт. *Coelum, non animus mutant qui trans mare currunt*. Небо меняет тот, кто бежит за море. Небо – а не душу.

А с другой стороны, переменить страну, по крайней мере для людей, как мы, никогда не бывавших за бугром и уехавших насовсем, навсегда, без надежды когда-либо вернуться, – не то же ли, что родиться заново? Никогда восприятие не бывает таким свежим, как в детстве; эти первые времена и были нашим немецким детством. Но видеть действительность такую, какова она есть, – вообще *видеть* – научаешься много позже. Ничто так не раздражает эмигран-

тов из России, как то, что немцы (американцы, французы) «неспособны нас понять». Стоило бы задуматься о том, что эта неспособность – не что иное, как зеркальное отражение собственной неспособности, а часто и нежелания понять живущих здесь. Довольно скоро после переселения вашему слуге посчастливилось увидеть в мюнхенском театре Kammerspiele (где позднее я стал завсегдатаем) «Вишнёвый сад» в постановке Эрнста Вендта. Три затянутых марлей, ярко освещённых окна должны были означать комнату, за которой находился сад. На тесной авансцене метались действующие лица в несуразных костюмах. Потом сели пить кофе, едва уместившись за крошечным столиком. Немного погодя Гаев обратился с приветственной речью к комоду или какому-то ларю: «Дорогой, многоуважаемый шкаф!». Старик Фирс, который по совместительству изображал смерть и был по этому случаю облачён в мундир служащего похоронного бюро, называл Гаева «господин Леонид». Во втором акте деликатный Лопухин ни с того ни с сего съездил прохожего по физиономии. В третьем акте Раневская оплакивала проданный сад, сидя на полу, и танцующие гости перешагивали через неё... Публика смотрела на всё это с чрезвычайным вниманием. Чувствовалось, что спектакль захватил зрителей. Итак, вся эта диковинная обстановка, старательно выговариваемые русские имена, ненатуральные жесты, вся эта гротескная, липовая Россия – воспринималась всерьёз! Но понемногу настроение зала передалось и мне. К концу пьесы я, можно сказать, примирился с ней. (Впоследствии я видел много чеховских пьес на этой сцене. Мне казалось, что они были сыграны лучше, чем в России).

Я шёл домой и думал, что сказал бы немецкий зритель, посмотрев, к примеру, «Перед заходом солнца» в московском Малом театре, увидев, как я в Мюнхене, битком набитый зал, зрителей, зачарованных странным спектаклем. Если существует русский Гауптман и то, что можно назвать русской Германией, почему не может быть немецкого Чехова? Я не знаю писателя, который ближе, интимней выражал бы моё чувство России; но в конце концов Чехов принадлежит всему миру. Почему не может быть немецкой России? Велика ли важность, если эта Россия не вполне совпадает с той, которую *мы* считаем единственно подлинной? Тем, кто видит её иначе, нет до нас никакого дела. Мы маркируем действительность при помощи символов, понятных только нам; сочетаясь друг с другом, они образуют модели; создав модель, мы полагаем, что усвоили действительность, постигли страну. В этой инсценированной нами действительности мы чувствуем себя уютно – до тех пор, пока внезапно не зашатаются фанерные декорации, не по-

валятся кулисы и актёры умолкнут в растерянности, не зная, продолжать ли пьесу или бежать с подмостков.

* * *

Должно быть, теперь мы и заняты тем, что кропаем новую пьесу, после того как действительность разнесла конструкции, с коими прожили мы целую жизнь. Об этом можно сказать лишь кратко, чересчур велика опасность впасть в новый схематизм, в умозрительность или сентиментальность. В конце концов выясняется, в пику Овидию, что не только душу, но и небо мы привезли с собой. Унести на подошвах землю, правда, не удалось. Но если можно, вопреки всему, говорить о «вживании», то оно состоит не в том, чтобы усвоить внешние формы чужеземной жизни, обрядиться в другую одежду, привыкнуть к местной кухне. Приобщение к новому заключается в том, чтобы почувствовать за благополучием Германии, за свежестью и чистотой её городов, за свистящими лентами идеально гладких дорог, за всем благообразием её цивилизации, — почувствовать, да, — чёрный провал, след травмы. Эта травма, о масштабах которой можно догадываться лишь проживая здесь, возможно, и является концентрированным выражением некоторого тайного смысла немецкой истории.

Каково бы ни было будущее Европы, оно зависит в первую очередь не от Америки и не от России, но от этой срединной страны. Загадка Германии — по крайней мере для нас — состоит уже в том, что этот Феникс восстал из пепла, хоть и без крыльев, что эта нация в поразительно короткий срок оправилась после такого разгрома, который навсегда низвёл бы любую другую страну на уровень третьеразрядного провинциального существования. Загадка Германии — это соединение книжного идиотизма, мечтательности, музыкальности, порывов к сверхреальному — с практическим разумом, волей и дисциплиной. Парадоксальным образом нация, чья склонность к иррационализму по сей день служит лейтмотивом всех рассуждений о Германии и немецкой судьбе, предстаёт глазам соседей как народ, ведущий чрезвычайно размеренный, почти геометрический образ жизни, а его страна — как образец разумного, подчас слишком разумного благоустройства.

Цивилизованный Запад, каким его представляют себе в России, «пригожая Европа», как назвал её Блок, в первом приближении оказывается Германией; и слово «немец» ещё три века назад означало западноевропейца вообще. Германия, поставлявшая невест для семи поколений русских монархов, обучившая властителей России государственному управлению, бюрократии и военному делу, оставившая так много слов в русском языке, страна-

педагог, страна-фельдфебель, трудолюбивая и мечтательная, холодная и чувствительная, втайне страдающая от своей холодности и неисцелимо одинокая, по сей день остаётся для нас заколдованным садом, где смеются феи, а в тёмном гроте спит грозное войско, где на каждом шагу видны следы работы неутомимых рук. Но садовника нет.

II

Миф Россия / Mythos Russland

Вот я сижу и в который раз перебираю свои безутешные мысли. Перелистываю свои старые тексты и вижу, что ничего не изменилось. Я думаю о моей стране и о том, что такое я сам перед лицом моей страны. Я знаю, что тут решается вопрос всей моей жизни, ведь если бы это было не так, я воспринял бы феномен этой страны лишь как более или менее возвышенную абстракцию; я сказал бы себе, что эта страна огромна, хаотична и разнотипна, что ее пространства не вмещаются в мое воображение, что ее история несоизмерима с моей жизнью, что она непостижима, что она для меня просто не существует. И что на самом деле я сопричастен лишь некоторой эмпирической реальности, более или менее неприглядной, и вопрос в том, чтобы определить свое отношение к этой реальности, избегая метафизических терминов, таких как Россия, русский народ и проч.

В действительности это не так, и я ощущаю эту страну, всю страну в целом, физически, как ощущают близость родного человека.

Da sitze ich nun und ordne meine trostlosen Gedanken. Versuche, aus ihnen irgendeinen endgültigen Schluss zu ziehen. Ich denke über mein Land nach und darüber, was ich angesichts meines Landes bin. Ich weiß, dass sich hier die Frage meines ganzen Lebens entscheidet, denn wäre es nicht so, so hätte ich das Phänomen dieses Landes nur als mehr oder weniger überhöhte Abstraktion begriffen; ich hätte mir gesagt, dass dieses Land riesig, chaotisch und vielgesichtig ist, dass meine Vorstellungskraft seine Weiträumigkeit nicht aufnehmen kann, dass sich seine Geschichte und mein Leben nicht mit derselben Elle messen lassen, dass es unfasslich ist, dass es für mich einfach nicht existiert. Dass ich tatsächlich nur an einer gewissen – mehr oder minder unschönen – empirischen Realität Anteil habe und es nun darum geht, mein Verhältnis zu dieser Realität zu bestimmen und dabei solche Termini wie Russland, russisches Volk und ähnliche zu vermeiden.

In Wirklichkeit stimmt das nicht, und ich spüre dieses Land, dieses ganze, große Land, wie man die Nä-

И оттого, что я сознаю, до какой степени запуталась, до какой невыносимой черты дошла моя жизнь с этим близким мне человеком, я не нахожу в себе решимости свести проблему к простому вопросу перемены квартиры, не могу спокойно обдумать, как мне устроить для себя новый очаг. Мысль о новом супружестве меня не увлекает. Для этого я слишком намутился в первом браке, да и слишком прирос к своей старой жене. Словом, я одновременно здесь и не здесь, там и не там, и в сущности говоря, ни здесь, ни там.

Вспоминая бегство из Австрии, события и людей, и вспоминая, как он пытался их описать, писатель-изгнанник Элиас Канетти говорит о том, что у него было чувство, будто любое понятие, которое он применял к этим вещам, меняло их, и они становились не такими, какими он пережил их когда-то. Можно ли, однако, освободить „вещи“ от понятий, приросших к ним, как кожа? И не верней ли будет сказать, что то, что подразумевается здесь под первоначальным переживанием, есть на самом деле вторичный процесс, который совершается в воспоминаниях, что только в воспоминаниях мы обретаем чистый и целостный, не замутненный сиюминутными пристрастиями, не опосредованный никакой философией образ действительности? Быть может, вытесненный в некоторое особое пространство памяти, истинный лик страны только тогда и открывается нам, когда мы покинули ее навсегда? Но как описать его?

he eines vertrauten Menschen spürt. Und weil ich mir bewusst bin, wie weit sich mein Leben mit diesem mir nahestehenden Menschen verwirrt hat, wie es an die Grenze des Erträglichen gestoßen ist, finde ich nicht die Entschlusskraft in mir, das Problem auf die einfache Frage eines Wohnungswechsels zu reduzieren, kann ich nicht ruhig darüber nachdenken, wie ich mir ein neues Heim schaffen könnte. Der Gedanke an eine neue Ehe behagt mir nicht. Dafür habe ich mich in der ersten zu sehr abgequält und bin mit meiner alten Frau zu sehr zusammengewachsen. Kurz, ich bin gleichzeitig *hier* und doch nicht *hier*, *dort* und doch nicht *dort*, im Grunde genommen bin ich weder *hier* noch *dort*.

„Ich hatte das Gefühl“, sagt Canetti, „dass jeder Begriff, den ich von außen an diese Dinge setze, sie irgendwie färbt und verändert und dass sie nicht mehr so betrachtet werden, wie ich sie selbst erlebt und bedacht habe.“ Kann man aber die „Dinge“ von den Begriffen befreien, die wie eine Haut mit ihnen verwachsen sind? Und wäre es nicht richtiger, zu sagen, dass das, was hier als ursprüngliches Erlebnis verstanden wird, in Wirklichkeit ein Wiederholungsprozess ist, der in der Erinnerung abläuft, dass wir nur in der Erinnerung ein reines und heiles, von augenblicklichen Emotionen ungetrübt und von keiner Philosophie relativiertes Bild der Wirklichkeit erhalten? Vielleicht offenbart sich uns das in einen besonderen Winkel des Gedächtnisses verdrängte, wahre Antlitz unseres Landes erst dann, wenn wir es für immer verlassen haben? Doch wie soll man es beschreiben? Es gibt ein paar berühmte Zeilen von Fjodor Tjut-

„Умом Россию не понять... В Россию можно только верить...” Твердишь про себя эти строчки, точно грызешь заусеницы. Стихи, в которых отчаяние соединено с неявной аналогией нации с Богом. Постигнуть божество рациональными средствами невозможно. Зато в него можно уверовать! Характерное для русского сознания сочетание приниженности и гордыни, почти религиозная вера в Россию, — или, может быть, желание верить?.. Подлинная вера не требует доказательств, не нуждается в подтверждении. Но на чем держится этот колосс? Не один я ломал себе голову над этим вопросом, и уже то, что его задает себе одно поколение за другим, представляет замечательную особенность страны. Почему она до сих пор существует? Все, что сказано выше о российской государственности, о политическом строе Советского Союза, о массовом образе жизни, должно быть отнесено, скорее к отрицательным ценностям коллективного сознания. Я не отрицаю их мощи как организующих и консервирующих факторов. Все же они составляют лишь поверхностный слой, доступный описанию сравнительно простым языком политической истории или социальной психологии. В глубине души дремлет иное — почти невыразимое чувство. Это чувство можно назвать истинной верой.

Существует чувство России. Назвать его патриотизмом или национализмом значило бы свести его к набору шаблонных понятий. Оно свойственно самым разным

schew; sie wurden vor über hundert Jahren geschrieben: „Mit dem Verstand ist Russland nicht zu verstehen ... An Russland kann man nur glauben ...“ Verse, in denen sich die Verzweiflung mit einer versteckten Gleichsetzung der Nation mit Gott paart. Das Göttliche mit rationalen Mitteln zu fassen ist unmöglich, dafür kann man daran glauben. Ist das die für das russische Bewusstsein charakteristische Verquickung von Unterwürfigkeit und Hochmut, ein religiöser Glaube an Russland oder eher der Wunsch, zu glauben? Wahrer Glaube verlangt keine Beweisgründe, braucht keine Bestätigungen. Doch worauf hält sich dieser Koloss? Nicht nur ich allein habe mir über diese Frage den Kopf zerbrochen; schon die Tatsache, dass eine Generation nach der anderen sie sich stellt, ist eine hervorstechende Besonderheit Russlands. Weshalb existiert es bis heute? Alles, was oben über die altrussische Staatsorganisation, über die politische Ordnung der Sowjetunion und über die Art und Weise, in der Masse zu leben, gesagt wurde, sollte eher den Negativposten des kollektiven Bewusstseins zugerechnet werden. Ich leugne ihre Kraft als organisatorische und konservierende Faktoren nicht. Dennoch bilden sie nur die Oberflächenschicht, die sich mit der verhältnismäßig einfachen Sprache der politischen Geschichte oder der Sozialpsychologie beschreiben lässt. Tief im Herzen schlummert ein anderes Gefühl, das man kaum ausdrücken kann. Dieses Gefühl kann man als echten Glauben bezeichnen.

Es gibt ein Gefühl für Russland. Es Patriotismus oder Nationalismus zu nennen hieße, es als Klischee abzustempeln. Es ist den unterschiedlich-

людям, принадлежащим ко всем этажам общества. Тому, кто не симпатизирует режиму, оно позволяет игнорировать режим; тому, кто кормится его подачками, оно служит оправданием: ибо он всегда может сказать себе, что изменить государству значит посягнуть на Россию.

Это чувство связано с огромностью страны. Если прав австрийский писатель Э. Канетти (автор книги „Масса и власть“), и каждый народ обладает своим массовым символом, концентратом его самосознания, то для России этот символ – даль. Бесконечная даль, рассеченная пополам дорогой. Можно ехать много дней подряд, и забыть, как забываются под действием чудного наркотика, и почувствовать, как гремющий на стыках, качающийся, словно колыбель, вагон стоит на месте и пространство медленно разворачивается навстречу длинному, в полкилометра поезду, и увидеть, как далеко впереди неустанно работает локомотив; и за окнами будет Россия, и на следующей станции будут снова надписи на кириллице, и в купе войдут люди, разговаривающие на русском языке, и расплакавшийся ребенок будет что-то лепетать порусски. Можно проехать полсвета, повидать два континента, оставить за собою одну за другой несколько великих рек, пересечь несколько климатических поясов, тундру, тайгу, степь, миновать сожженные солнцем солончаки и въехать в пустыню – и все это будет еще Россия. Существует переживание дали, чувство потерянности и вме-

ten Menschen eigen, durch alle Etagen der Gesellschaft hindurch. Es gestattet dem, der dem Regime nicht wohlgesonnen ist, dieses zu ignorieren; wer sich dagegen von dessen Almosen ernährt, dem dient es als Rechtfertigung, denn er kann sich immer sagen, dass eine Änderung des Staates einem Anschlag auf Russland gleichkäme. Dieses Gefühl hängt mit der gewaltigen Größe des Landes zusammen. Wenn der Autor von *Masse und Macht* recht hat und jedes Volk sein Massensymbol, das Konzentrat seines Selbstbewusstseins besitzt, dann hat Russland als Symbol die Weite. Die endlose, vom Schienenstrang in zwei Hälften zerschnittene Weite. Man kann viele Tage hintereinander unterwegs sein und dabei wie unter der Wirkung eines wunderschönen Narkotikums wegsacken; dann wird man das Gefühl haben, als bliebe der auf den Schienenstößen ratternde und wie eine Wiege schaukelnde Waggon immer auf demselben Fleck und als gleite der Raum langsam dem wohl einen halben Kilometer langen Zug entgegen, während die Lokomotive weit vorne unermüdlich arbeitet. Und vor den Abteilstern wird Russland sein, und auf der nächsten Station werden die Aufschriften wieder kyrillisch geschrieben sein, und ins Abteil werden Leute einsteigen, die sich russisch unterhalten, und das aufweinende Kind wird irgend etwas auf Russisch wimmern. Man kann die halbe Erde durchreisen, zwei Kontinente besichtigen, einige große Ströme nacheinander hinter sich lassen, einige Klimazonen – Tundra, Taiga, Steppe – durchqueren, die sonnenverbrannten Salzböden passieren und in die Wüste hineinfahren – und es wird immer noch Russland

сте с тем — безопасности, чувство, что за тобой — беспредельное пространство, где можно скрыться, пропасть, где тебя никто не настигнет. Такая большая страна не может погибнуть. Существует русский Бог, существо, мало похожее на христианского Бога, и, конечно, существо, в которое никто не верит; но он существует. Этот Бог ленив и беспечен. Он предпочитает махнуть рукой на все происходящее: авось разберутся без него. Вот отчего в этой стране все идет кривь и вкось. Но в последнюю минуту, на краю пропасти, перед самым концом, этот Бог вмешается. Он не допустит, чтобы Русь загремела в тартарары. В конце концов, бывало и хуже; а все как-то обходилось. Обойдется, Бог даст, и впредь.

Не революционное прошлое, не гражданская война, не успехи индустриализации служат источником гордости, нет, над всем этим прошлым стоит черная тень. Но подлинным источником утешения, тайного самолюбования, горделивой уверенности в том, что никакие испытания не могут сокрушить страну, самая огромность которой служит залогом ее устойчивости, — остается для миллионов людей война, память о войне, сама по себе переросшая в новый миф. Мотивы этого мифа вплетаются в предания, которые сохранились в каждой семье. Война — единственная область прошлого, где официальный словарь не вступает в противоречие с народным сознанием, и в контексте военных воспоминаний даже имя Сталина не вызывает у простых

sein. Es gibt das Erlebnis der Weite, das Gefühl der Verlorenheit und gleichzeitig der Sicherheit, das Gefühl, dass man einen unbegrenzten Raum hinter sich hat, wo man sich verstecken und untertauchen kann, wo einen keiner auffindet. Ein so großes Land kann nicht zugrundegehen. Es gibt einen russischen Gott, ein Wesen, das dem christlichen Gott kaum ähnelt, und natürlich eines, woran niemand glaubt; doch er existiert. Dieser Gott ist faul und leichtfertig. Er lässt lieber alles laufen, wie es will: Man wird schon ohne ihn auskommen. Deshalb geht in diesem Land alles drunter und drüber. Doch in allerletzter Minute, am Rande des Abgrunds, kurz vor dem Ende wird dieser Gott eingreifen. Er wird nicht zulassen, dass Russland krachend in den Tartarus stürzt. Schließlich war es auch schon schlechter und ging doch alles irgendwie glimpflich vorüber. Gebe Gott, dass es auch weiterhin irgendwie gut geht. Nicht die revolutionäre Vergangenheit, nicht der Bürgerkrieg, nicht die Erfolge der Industrialisierung geben Anlass zum Stolz, nein, über dieser Vergangenheit liegt ein schwarzer Schatten. Ein echter Quell des Trostes aber, der heimlichen Selbstverliebtheit, der stolzen Gewissheit, dass keine Heimsuchung Russland vernichten kann, dessen gewaltige Größe allein schon Unterpfand für seine Standfestigkeit ist, bleibt für Millionen Menschen der Krieg, die Erinnerung an den Krieg, die wiederum zu einem neuen Mythos herangereift ist. Motive dieses Mythos werden in die Geschichten von Kriegserlebnissen eingeflochten, die sich in jeder Familie erhalten haben. Der Zweite Weltkrieg ist der einzige Bereich in der Vergan-

людей ни насмешки, ни презрения. В конце концов, им безразлично, кто такой был Сталин на самом деле. Но то, что самая страшная катастрофа пронеслась мимо, а страна как была, так и осталась, то, что самая сильная армия мира сломала себе шею в России, служит до сих пор высшим и последним доказательством – чего? Конечной правоты, обоснованности веры в Россию. Быть может, впрочем, и эта гордость – всего лишь временная историческая оболочка веры, которая неподвластна времени и существует если не в пику истории, то как бы с ней наравне.

Веру эту можно определить как смирение паче гордыни. Ибо самая неустроенность нашей страны, неразумие, бедность, грязь, какая-то вековая невезуха – непонятным образом укрепляют веру. Трезвый анализ убеждает, что у этой страны нет будущего; а одна вера никого не убедит. Вера эта заключает в себе колоссальный потенциал терпения – и, по-видимому, ничего конструктивного. С такой верой невозможно стать предметом зависти и восхищения для других, невозможно остановить пораженного Божьим чудом созерцателя и заставить, по слову Гоголя, посторониться другие народы и государства. Но с ней можно жить.

„Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека вижу...” Для людей, оставивших Россию, все повернулось наоборот, и глухая, недобрая земля наша сама превратилась в прекрасную даль, которая уходит все дальше и дальше и раздвигается все шире и шире.

генheit, wo der offizielle Wortschatz nicht in Widerspruch zum Bewusstsein des Volkes tritt; im Zusammenhang mit Kriegserinnerungen löst nicht einmal der Name Stalin Spott oder Verachtung bei den einfachen Leuten aus. Es ist ihnen letzten Endes gleichgültig, was für ein Mensch Stalin in Wirklichkeit war. Doch dass die furchtbarste Katastrophe vorüberstürmte, das Land aber so blieb, wie es gewesen war, dass die stärkste Armee der Welt in Russland scheiterte, dient bis heute als höchster und letzter Beweis – wofür? Dafür, dass der Glaube an Russland letztlich berechtigt ist. Auch dieser Stolz mag im Übrigen lediglich eine vorübergehende, geschichtliche Hülle jenes Glaubens sein, der, unabhängig von der Zeit, einfach existiert, wenn auch nicht der Geschichte zum Trotz, so doch gewissermaßen auf gleicher Höhe mit ihr. Dieser Glaube lässt sich eher als Demut denn als Hochmut definieren. Denn die Ungeordnetheit des Landes, die Unvernunft, die Armut und der Schmutz, die ewige Verfolgung durch das Pech stärken ihn auf unbegreifliche Weise. Die nüchterne Analyse überzeugt davon, dass Russland keine Zukunft hat; dieser Glaube aber wird niemanden überzeugen. Er enthält ein kolossales Potential an Geduld, aber offenbar nichts Konstruktives. Mit diesem Glauben kann man kein Gegenstand des Entzückens für andere werden, keinen von einem göttlichen Wunder angerührten Beschauer zum Innehalten bewegen und, mit Gogol gesprochen, keine anderen Völker und Reiche dazu bringen, den Weg freizugeben. Doch man kann mit ihm leben.

Полуночное бракосочетание / Mitternächtliche Trauung

„Нет – это невозможно... Тысячелетние предчувствия не могут обманывать. Россия, страна верующая, не ощутит недостатка веры в решительную минуту. Она не устрасится величия своего призвания и не отступит перед своим назначением. И когда же это призвание могло быть более ясным и очевидным? Можно сказать, что Господь начертал его огненными буквами на этом небе, омраченном бурями... Запад исчезает, все гибнет, все рушится в этом общем воспламенении... И когда над этим громадным крушением мы видим всплывающую святым ковчегом эту империю еще более громадную, то кто дерзнет сомневаться в ее призвании, и нам ли, сынам ее, являть себя неверующими и малодушными?“

Читаешь и думаешь: можно ли было злей посмеяться над нашей страной... Что сказал бы он сейчас, этот оратор, если бы высунулся из гроба? Хлопнул бы крышкой, и больше бы мы его не видали. А ведь это был Тютчев. Была ли его фантастическая вера, подогретая зрелищем баррикад 1848 года, выражением подлинной любви к родине? Я бы хотел знать, что значит быть патриотом.

Иногда начинает казаться, что все слова потеряли смысл. Один из самых опасных и труднопреодолимых соблазнов – применить к жизни страны категории человеческой жизни. Трудно найти историка или философа, который не поддавался бы этому соблазну, оперируя

Eine der gefährlichsten Versuchungen, denen man nur schwer widerstehen kann, ist es, die Kategorien des menschlichen Lebens auf das Leben eines Volkes anzuwenden. Nur mit Mühe findet man einen Historiker oder Philosophen, der dieser Versuchung beim Operieren mit Begriffen wie „Land“, „Nation“ und „Volk“ nicht erlegen wäre. Angst und Hoffnung, Jugend und Welke, Freiheit, Notwendigkeit und Schicksal sind nicht nur deshalb keine leeren Worte, weil sie von uns als Komponenten unserer Person, als Facetten unseres „Ich“ begriffen werden. Über das Schicksal eines Landes und dessen Prädestination, über die Vergangenheit und Zukunft eines ganzen Volkes zu philosophieren, heißt das nicht, eine Metapher zu missbrauchen, die ohnehin schon so viel Schaden angerichtet hat, nämlich die Vorstellung von der Nation als einer Person mit eigener „Seele“ und eigenem „Schicksal“ wiederaufzugreifen? Anstatt sich zu sagen: Das ist die Wirklichkeit, das sind die Fakten, das ist das geographische Terrain, auf dem soundsoviele Millionen Menschen leben, die mehr oder weniger mit ihrem Leben zufrieden oder mehr oder weniger unglücklich sind, Menschen, die einem Staat angehören, in einer der in ihm gesprochenen Sprachen sprechen, in einem mehr oder weniger vereinheitlichten System von Begriffen, Werten und Vorurteilen

такими понятиями, как нация и народ. Страх и надежда, юность и увядание, свобода, необходимость, предназначение, судьба – потому лишь не пустые слова, что они осознаются как нечто неотделимое от личности, как лики нашего „я“, и все еще позволяют нам, говоря словами Хайдеггера, жить в истинне бытия. Философствовать о судьбе страны и ее предназначении, о прошлом и будущем целого народа – не значит ли злоупотребить метафорой, которая и без того уже принесла так много вреда: вернуться к представлению о нации как о личности со своей „душой“ и „судьбой“? Вместо того чтобы сказать себе: вот действительность, вот факты, вот географическая территория, на которой проживает столько-то миллионов человек, более или менее довольных жизнью, более или менее несчастных, людей, которые принадлежат единому государству, говорят на одном из существующих в нем языков, воспитаны в более или менее унифицированной системе понятий, ценностей, предрассудков, но в огромном большинстве своем вовсе не помышляют ни о прошлом, ни о будущем своей страны, ибо им хватает собственных повседневных забот, людей, чья историческая память едва ли выходит за пределы их личной жизни и жизни их родителей, – вместо трезвого взгляда на действительность является некий образ, рождается историософский фантом, запекает миф. Поэты, композиторы, словно сирены, подхватывают его один за другим, поколения мыслителей, которых правильней было бы назвать рапсода-

erzogen worden sind, in ihrer überwältigenden Mehrheit jedoch weder über die Vergangenheit noch die Zukunft ihres Landes nachdenken, da ihnen die eigenen Alltagsorgen reichen, Menschen, deren historisches Gedächtnis kaum über ihr eigenes Leben und das ihrer Eltern hinausreicht – anstatt des nüchternen Blicks auf die Wirklichkeit also stellt sich ein gewisses Bild ein, entsteht ein historisches Phantom, erklingt der Mythos. Dichter und Komponisten stimmen wie Sirenen einer nach dem anderen ein; Generationen von Denkern, die man besser Rhapsoden nennen sollte, sind in Trance, in heiligem Schrecken versunken, der die Seele im Vorgefühl der Wahrheit ergreift, die irgendwo ganz nah ist und doch unfassbar bleibt: Der bleiche, wie von einem giftigen Trank berauschte Berdjajew verkündet mit geschlossenen Augen und zuckender Wange „Gottes Idee vom russischen Volk“, Dostojewskij schreibt in Dresden zwischen zwei Anfällen der heiligen Krankheit, nachts, in der Totenstille des schlafenden Hotels, jenes Kapitel der *Dämonen*, das „Die Nacht“ heißt. Und wie im Theater senkt sich Dunkel über alles herab. Es versinken und verschwinden Europa, Sedan, der Deutsch-Französische Krieg, die Gefangennahme des französischen Kaisers. Im trüben Schein der Tischlampe zeichnet sich auf der Bühne das ärmliche, kleine Zimmer im Halbgeschoss des leeren Hauses in der Bogojawlenskaja-Straße ab, in dem das nächtliche Gespräch zwischen Schatow und Stawrogin stattfindet. Wer

ми, погружены в какой-то транс, священный ужас, охватывающий душу в предчувствии истины, которая где-то рядом, но остается неуловимой. Бледный, словной опоенный каким-то зельем Бердяев, закрыв глаза, с дергающейся щекой, вещает „Божий замысел о русском народе“, Достоевский в Дрездене, между двумя припадками священного недуга, ночью, в мертвой тишине уснувшей гостиницы пишет главу „Бесов“, которая так и называется: „Ночь“. И как будто в театре, все погружается в мрак. Тонет и исчезает Европа, Седан, франко-прусская война и пленение французского императора. В тусклом сиянии настольной лампы на сцене вырисовывается бедная комнатка в мезонине пустого дома на Богоявленской улице, где происходит ночной разговор между Шатовым и Ставрогиным. Тому, кто жил в провинциальных русских городах, легко представить себе и влажный, „темный, как погреб“ сад, куда вышел Николай Ставрогин, отправляясь к Шатову, и грязные неосвещенные переулки Заречной стороны, и эту Богоявленскую улицу; по крайней мере в Калининe, прежде называвшемся Тверью, где, по-видимому, происходит действие „Бесов“, многое выглядит точно так же и сто лет спустя. Есть нечто наркотическое в этих страницах, на которых, как на стенах комнаты, пляшут жестикулирующие тени. Это – ночной разговор о том, что народ есть тело Божье, а Бог – синтетическая личность русского народа. И невозможно понять, где кончается навajдение идей и начинается нава-

einmal in einer russischen Provinzstadt gelebt hat, kann sich leicht den feuchten Garten vorstellen, der „dunkel wie ein Keller“ ist, und in den Nikolaj Stawrogin hinausgeht, als er sich zu Schatow begibt, die schlammigen, unbeleuchteten Gassen am jenseitigen Ufer und auch diese Bogojawlenskaja-Straße; wenigstens sieht in Kalinin, dem früheren Twer, wo sich die Handlung der *Dämonen* offensichtlich abspielt, auch hundert Jahre später vieles ganz genauso aus. Diese Seiten, über die wie über die Zimmerwände gestikulierende Schatten tanzen, haben etwas Narkotisierendes. Es ist ein Nachtgespräch; man redet darüber, dass das Volk der Körper Gottes sei, Gott aber die synthetische Person des russischen Volkes. Und es bleibt unklar, wo die Berückung durch die Ideen aufhört und die Behexung durch diese ganze Szenerie anfängt: der Lampenschimmer, die gedämpften Stimmen, das Knarren der Dielen und der endlose Regen am Fenster, dumpfer Herbstregen, wie es ihn nur in Russland gibt. Dieses Licht auf dem Tisch ist die letzte Zuflucht, ist Haus und Anker. Wie ein Kuppler versucht Schatow Stawrogin mit der Idee der mystischen Vereinigung mit Russland zu ködern. Dort draußen herrschen Dunkelheit und Unwetter, dort streifen die Dämonen umher, dort treibt sich der aus Sibirien geflüchtete Mörder herum. Hier aber lockt der süße Krampf der Selbstaufgabe und Selbstvergessenheit. Russland ist ein riesiger Körper, er ist warm: der Körper einer Frau. Sich restlos in ihn versenken, sich in

ждение всей этой обстановки, блеск лампы, глухие голоса, скрип половиц и бесконечный дождь за окном, глухой осенний дождь, какой бывает только в России. Этот свет на столе – последнее пристанище, дом, якорь. Шагов, как сводня, соблазняет Ставрогина мистическим совокуплением с Русью. Там, снаружи – тьма и непогода, и рыщут бесы, и бродит убийца, сбежавший с каторги. А здесь сладкая судорога самоотдачи и забвение. Русь – огромное тело, теплое тело женщины. Погрузиться в него без остатка, раствориться в нем. Отказаться от суверенитета собственной личности. Вот условие спасения. Заплатить за него надо свободой. Ни один русский писатель ни до, ни после Достоевского не сделал так много для того, чтобы воссиял русский миф; ни один русский писатель так не скомпрометировал этот миф. Но система взаимоисключающих оппозиций, мышление в категориях „или – или“, – черта, присущая в этой стране не ему одному. Или эротика национализма, или аскеза одиночества. Или мистическая оцепенелость перед идиолом „почвы“, самоотожествление с народом, с его внеисторической, темной и безотчетной правдой, мистический брак с родиной, и тогда я уже никогда не буду свободен. Или свобода. Но тогда я навсегда один. Вот к чему, собственно, сводится представление о нации как о высшей экзистенции, вбирающей в себя все частные экзистенции, всех нас без остатка, и сегодняшний русский национализм ничего к этому представлению не прибавил.

Замечательно, однако, что он не

ihm auflösen, auf die Souveränität der eigenen Person verzichten, das ist die Bedingung der Rettung. Bezahlen muss man sie mit der Freiheit. Weder vor noch nach Dostojewskij tat ein russischer Schriftsteller soviel, um den russischen Mythos erstrahlen zu lassen; kein anderer russischer Schriftsteller brachte diesen Mythos auch so in Verruf. Doch das System der sich gegenseitig ausschließenden Oppositionen, das Denken in den Kategorien „entweder – oder“ ist ein Wesenszug, der in Russland nicht nur Dostojewskij eigen ist. Entweder die Erotik des Nationalismus oder die Askese der Einsamkeit. Entweder die mystische Erstarrung vor dem Idol der „Erde“, die Identifizierung der eigenen Person mit dem Volk, mit seiner außergeschichtlichen, dunklen, unbewussten Wahrheit und die mystische Ehe mit der Heimat, dann werde ich nie mehr frei sein. Oder die Freiheit. Doch dann bin ich für immer allein. Darin gipfelt im Grund die Vorstellung von der Nation als einer höheren Existenz, die sämtliche Teilexistenzen, uns alle eben, restlos in sich aufsaugt, und der heutige russische Nationalismus hat dieser Vorstellung nichts hinzugefügt.

Bemerkenswert ist jedoch, dass er sie nicht bloßzustellen vermochte. Dieser neue Nationalismus, der, schwül und stickig, in den letzten Jahrzehnten in den Künstlerkreisen und literarisch-philosophischen Zirkeln beider Hauptstädte als kränkliche Blüte teils an der Oberfläche, teils im Untergrund erblüht und in hundert Jahren eigentlich keinen Schritt vorwärts

сумел его скомпрометировать. Этот новый национализм, болезненным цветом расцветший в последние десятилетия в художественных и литературно-философских кружках обеих столиц частью на поверхности, частью в подполье, душный и затхлый, в сущности не сделавший за сто лет ни одного шага вперед, — при всем его очевидном эпигонстве не сумел окончательно лишить очарования „русскую идею“. Составившись, она нисколько не подурнела и кажется еще соблазнительней. Дело в том, что оспорить националистический миф невозможно: его *raison d'être** носит почти физиологический характер. Миф этот сросся с нерушимой догмой российской имперской государственности, облекающей русский народ, словно богатыря, в шлем и латы, но его внутренняя, скрытая в подполье разума и неистребимая основа находится по ту сторону каких бы то ни было политических, идеологических или философских соображений. В своем глубочайшем ядре он неуязвим. Архетип народа как единого живого тела, вневременный, неизменный в смене правительств, режимов, эпох, — возможно, выражает то, что внутренне очевидно для каждого, кому выпало счастье или несчастье родиться и жить в России: ощущение интимной связи между собственной жизнью и страной. Больше того: переживание страны как некоторого продолжения собственной личности. Если это так, то „Божий замысел о русском народе“ вновь обретает резон и смысл.

* оправдание (франц.)

gekommen ist, hat bei all seinem offensichtlichen Epigonentum die „russische Idee“ nicht endgültig ihres Zaubers berauben können. Gealtert, hat sie nicht das Mindeste von ihrer Schönheit verloren und wirkt sogar noch verführerischer. Der nationale Mythos lässt sich nämlich nicht anfechten: Seine *raison d'être* hat beinahe physiologischen Charakter. Dieser Mythos ist verwachsen mit dem unzerstörbaren Dogma der altrussischen, imperialistischen Staatlichkeit, die das russische Volk gleichsam wie einen Recken in Helm und Harnisch hüllt, doch seine innere, im Keller der Vernunft verborgene, unverwüstliche Basis befindet sich jenseits jeglicher politischer, ideologischer oder philosophischer Denkansätze. In seinem tiefsten Innern ist er unverwundbar. Der Archetyp des Volkes als eines ganzen, lebendigen Körpers, der außerzeitlich und unveränderlich ist im Wechsel der Regierungen, Regime und Epochen, drückt möglicherweise das aus, was jedem intuitiv klar ist, der das Glück oder Unglück hatte, in Russland geboren zu sein und zu leben, nämlich das Gefühl der engen Verbindung zwischen dem eigenen Leben und diesem Land. Mehr noch: das Erleben des Landes als eine Erweiterung der eigenen Person. Wenn dem so ist, dann erhält „Gottes Idee vom russischen Volk“ aufs neue Sinn und Kraft.

Клим НЕМОВ

МОСКВА И ОБЛАСТЬ

* * *

Не вино, а сжиженный закатный луч, подлинная кабардино-булькария. Не закуска, а рыбина, сухая и соленая, строгая, как старуха Изергиль. И не пошли потом мимо помоек, а полетели, крылаты, как ракеты. Дальше и вовсе неописуемо – стояли, сложившись шалашиком, смотрелись, сопрягались, склонялись на все лады, самодовольному мажору, впрочем, предпочитая сомнительную состоятельность минора:

C-moll

Россию – в кавычки.

Мы.

Живем.

В «России».

F#-moll

Дурные привычки:

От курения до депрессии

Тройной прыжок, на карачках

Через осенние месяцы.

A-moll

Левым коленом застыть в листопаде,
как в масляном янтаре,

Правую стопу царапать коростой
октябрьских луж во дворе,

И остывающим ртом выпуская
последний седеющий пар в ноябре.

C-moll

Затем до колен отрастают реснички:

Зима наступает. «Россия» – в кавычках.

Вот так, вся раскрасневшаяся из ложной скромности, подступает тихая осень.

На парковке тесно, дверь открылась на шелку, из которой выбирался бочком и на подошву зацепил шелковый обрывок бабочкиного крыла.

Потом еще увидел, как не по-летнему блекло небо, хотя сентябрьской прозрачности еще не достает.

Впрочем, это вопрос времени, скоро все засыреет так, что Ваша жаба будет довольна.

Шелестя галстуком, появляется латифундист и оглашает протокол о намерениях: буду резать, бить буду, проведу монетаризацию льгот – а разводить все придется твоему бастарду.

Тоже щенок, вырядился в черное, тренируется с деревянным мечом, но на север не торопится, бесконечные отговорки придумывает.

То понос какой-то с неба, то золотуха сыпью покрыла листву, то жаба сохнет, а то бабочка, видите ли, сбрасывает крылья.

Да и пускай себе ссылается на очередной Юрьев день, протокол о намерениях зачитан вслух, так что никуда не денется.

Скоро север сам придет к нему.

Таков закон, он даже был опубликован.

Это совершенно, и потому это секретно.

Кривясь и кривляясь, глотал мыльную кислоту, губами нежно обнимал соленые кольца ученых кальмаров, каленые перстни упругих кальмаров, к каждому встречному приценивался, пристально прогонял чрез кровавую баню мозга и по колено погружился в ночь, молодую и агрессивную, в лужицы, что собираются в складках плотной желтой клеенки кленовых листьев и ртутно блестят в свете фар – осеннее обострение, и машины «Скорой помощи» стоят едва ль не у каждого подъезда – кривляясь, кривясь, прямиком из бронхиальных ветвей, крикнул и отхаркнул мокротного Колобока на рваную мокрую клеенку кленовых палых листьев и, рукой опираясь на пачкающийся коричневыми чешуйками ствол, трагичностью композиции напоминал желтую пчелу, бюстик Ильича, распростертый белым агнцем на крови сукна, задышался, да засмотрелся на Колобока, покуда тот бодрячком катился к ближайшему подъезду, оставляя слизистый в свете фар «Скорой помощи» след, чтобы забраться и забиться в горло еще одному, кто обречен в это осеннее обострение.

* * *

Худой Бердыев не помнит, как и зачем он оказался здесь. Будто на пугале, болтается на нем широкий ярко-красный балахон с сияющими на нем полосами, буквами и символами. Их значение ему неизвестно, да и равнодушно вполне. Зато ночью, сказочно холодной, когда худой Бердыев плетется по обочине, со всех сторон осаждаемый свирепым – белым, желтым, малиновым – светом автомобилей и ревом, они, знаки и полосы, пламенеют жаркими лампами, и это нравится ему.

Худой Бердыев человек черненький, маленький: за ним закреплена краткая часть переулка – от перекрестка с «Крошкой-Картошкой» до уставленной пустыми коробами задней стены ларьков, – и он трет, трет асфальт жесткой щеткой.

Вот обитающие здесь: алкоголик Витя, который выпрашивает деньги у распивающих пиво и подбирает за ними бутылки, а рано поутру и вечером за пятак помогает лотошникам грузить товар в тощие «Газели» с ободранными боками. Андрей, постоянно раздраженный охранник подземного перехода в распухшей черной куртке, и безымянная бабка с вонючими пакетами. Есть и другие, но с ними худой Бердыев не знаком. И все они сумасшедшие – разумеется.

Худой Бердыев живет за границей города, в одном из метастазов, выпяченных им в пространство, в панельном доме с грубо – черным по белесому – просмоленными щелями, в однокомнатной на пятерых квартире. Один из соседей, армянин, торгует контрабандными фотопленками, в том числе и удивительной инфракрасной, которую родственник выносит ему с секретного склада ФСБ: говорит, если снимешь на нее «бабу», то на картинке она будет видна голая.

Худой Бердыев работает без выходных, в числе целой армии таких же худых, он ублажает жестокий город, беспрерывно поглаживая его чувствительные эрогенные места, уговаривая потерпеть еще немного, еще один – один – день.

* * *

Воскресным вечером аксиоматика этих месяцев была выведена окончательно:

А) К октябрю воздушный слой становится толще и жиже, а рожденные зимой младенцы покрываются зубами.

В) Тополя нахраписты, но в их истонченных осенью прожилках течет голубая кровь – это одна из немногих причин не ехать никуда.

С) В последний раз оглянулся на знакомый двор с леопардо-

вой расцветки каштаном, прошел мимо ржавых качелей.

D) Арка, белесый просвет, граффити, пронзительный свист дымчатых глаз.

E) Сон не запомнился, но из носу пошла кровь: отрицательное давление.

Так что пусть лучше я вот сейчас выплесну все накопившиеся в печенках листья, чем потом появится Человек-Молния и сожжет наши сердца. Итак, на днях.

В безымянном дворике на Пироговке громоздился тучный, масляный вечер. В углу, где сгустился фиолет особенно непроницаемый, покачивался Кипятков. Кипятков пИсал; как-то неумело, с некоторым как будто недоумением оглядывая чресла свои. В двух шагах от него я, присев на желтый капот разлагающегося «Москвича», молча дырявил иглой банку из-под пива. Мизинцем к ладони я прижимал сияющий комочек фольги. Кипятков посмотрел на свои электрические часы:

– Ну и?.. – произнес он влево.

Слева от него, опершись одной ногой на спинку пурпурной лавочки, стоял Человек-Человек, нордического типа тип.

– Ну, и, – продолжил Человек-Человек. – Можно сказать, что человек – подвижная система, набор химических и электрических компонентов. И всякий раз, вдыхая, съедая, трогая, наблюдая, мы движем, меняем ее. В некоторых пределах. С помощью специальных техник, или же веществ, мы можем подводить систему вплотную к той точке, где она оказывается в состоянии неустойчивого равновесия, близкого к полному не-существованию. По крайней мере, в качестве человеческого тела. Эти моменты неустойчивости несут высокую энергию, с вершины которой мы можем не только обозреть свое «обычное» состояние, но и заглянуть в Пропадь Иного.

– Это, конечно, прикольно... – протянул Кипятков, отряхиваясь. – Зато потом от вашего кетамина становишься, как Человек-Лед.

Человек-Человек пожал плечами:

– Причем тут кетамин?

Я выронил фольгового колобка и, подсвечивая зажигалкой, разыскивал его во влажном песке. Двое в синих комбинезонах внесли табуреты, на которых нарисовался Человек-Сатана. Погоны его униформы тускло поблескивали мириадами мелких лейтенантских звездочек. Быстро оглядев всю троицу, он озадаченно покрутил пальцем у виска, решив, что мы совершенно безнадежны.

При красоте такой не пьет, не матерится и предлагает любить такой, какая есть, либо убраться ко всем чертям, притом единственным своим серьезным недостатком считает взбалмошность характера. Впрочем, басня запутанней: все живое всеми своими лапками стремится окружить себя красотой, и потому льнет к ней само по себе; из закона тяготения к прекрасному вечно липнут чужие кошки, даже бессловесные не улыбочивые лялиусы просыпаются и начинают бодренько шевелить плавниками. То, ради чего мне, тебе, ему, им приходится стараться, само, замороженное, идет к ней в руки, она же привычно отпихивает ногой кошку, деланно дует губы, отворачивается от стеклянной стенки аквариума, и лялиусы с тоски и от обиды выбрасываются на ковролин. И была бы царь-девица, но как курица слепа, а это уже системный сбой, так что и красота лишена всякого смысла.

И вот, выйдя из конторы ровно в восемь, рассорившись с Е. и хлопнув дверью перед О., для успокоения запив три таблетки «Новопассита» негазированной Aqua Minerale, опаздывая почти на полтора оборота минутной стрелки, она с неудовольствием обнаруживает Л., терпеливо ждущего на углу толстой кишки проспекта. Снисходительно просит прощения, знала бы, что выстоит столько времени – не появилась бы, но теперь деваться некуда, взбрыкивает ажурными каблуками Prada, хватая Л. под руку, больно стискивая «нервную точку» возле локтя, бордовую с коричневыми замшевыми вставками сумочку Sonya Rykiel покрепче сжимает в тонкой ладони, и удаляются уже вдвоем.

В ресторане свет такой яркий, что первое время оба с трудом моргают, привыкая. Она постепенно отогревается и все сильнее чувствует глухое раздражение – на себя (что пошла на встречу), на Л. (за ненужность связи), на ресторан, на жизнь, на весь мир и эту ночь. Раз уж вечер не задался с самого начала, ей остается только подтолкнуть его в пропасть, и с этим настроением она входит в настоящий раж. В каждом жесте мужчины ей чудится лисья хитрость: изо всех сил напрягаясь, она старается удержать в зубах собственную вожденную неприступность, не понимая, что это – последнее, что от нее может быть нужно, и вот, четвертый подряд В-52 заставляет ее материться во все воронье горло. Не получив в ответ ни слова, забирает со стола мобильник Sagem, хватая сумочку и дефилирует в сторону гардероба. Откинувшись на стуле, Л. нервно закуривает, невольно прислушиваясь к цоканью ее туфель, краем глаза он видит трепетание мягкого, цвета ржавчины костюма (юбка и пиджак) от Laura Biagiotti, ви-

дит покачивающуюся ее походку, и думает: «Хоть бы ты наебнулась, жертва моды».

* * *

Кран не повернут, в четверть силы, а на скатерти разноцветные крошки.

Одни кой-какие соображения, и никакого воображения; хотя это все объясняет.

Рама перекошена, в щели сквозит; плиту на все конфорки, тепло пойдет.

Господи, кто там есть наверное, сделай так, чтоб им тоже житья не стало.

На вилке засохла пара пустяков, в ладони согревается прелой мелочи горстка.

Теперь по ложечке уксуса, чтоб умерли все-все-все микробы в животике.

В банке пусто, наклонясь сквозь стекляшку искаженным взглядом – да что такое?

Просто дела из рук вон.

Из рук вон.

ОСЕНЬ: ЗЕМЛЯ

Протестовавшие поначалу местные жители после нескольких приграничных стычек с нанятым заранее капитаном милиции и его сорока разбойниками рассеяны, устаревший, уже второе столетие догнивавший в тихом центре особняк купцов Шароваровых – снесен, и возведение нового офисного центра класса «А» (стиль «вампир», 8 этажей, трехуровневая подземная стоянка, внутренний дворик с зимним садиком и амурчиками) в самом разгаре. Строительство ведет СМУ-23 и в лице ответственного Тяглова Г.Л. надменно делает вид, будто просит пощады за причиняемые неудобства: за развороченный асфальт, за израненный колдобинами тротуар, отекающие глиной ямы с переброшенными осклизлыми дощечками, за барханы просыпавшегося и промокшего темного цемента, за грохот, лязг, за крики, за перегородившие весь переулок бетономешалки.

На стройке Петя пятый день, а все уже осточертело: по ненадежным деревянным лесам на четвертый этаж, по петляющим лестницам с бумажным мешком песка на заливке, сколько раз? Ровно столько, сколько требуется, чтобы в октябрьские сумерки, придя домой, съесть полпачки пельменей и поленом повалиться на продавленный диван, прислушиваясь к гудению мускулов, а утром пораньше опять в подземку, и опять тот же октябрь и те же мешки с

тем же песком. Ледяная осень сырыми комьями валится со страдальчески сморщенного неба, ботинки черпают грязь полными горстями, потому Петя обут в резиновые сапоги, которыми приятно давить зазевавшихся крыс, резиновые сапоги, как и все тут молдаване, украинцы, казахи, туркмены, осетины и прочие мелкие служители камня – настоящая мечта соцреалиста – без паспортов, без различий, без всякой мысли изможденно снующие по территории.

Заправляют всеми темнолицые турки, болтливые, сумбурные, суетливые, смешливые, жадные и безжалостные: в рабочее время и присесть не дадут на минутку. Скинувшая кандалы камня, обнаженная земля тут же выбросила пучки странных разномастных грибов, которыми не уставали травиться молдаване, несмотря на все предупреждения о том, что здесь все грибы ложные. И здесь одна на всех межнациональная радость – туркмен Бяшим, старший штукатурщик с неоскудевающим мешочком тамошней злой травы. По-турецки устроившись на свежем полу цокольного этажа, маркером он ведет на мясистом предплечье списки должников, черной латиницей: Petr. Здесь же народы дружно раскуриваются, торопливо, с оглядкой, судорожно затягивая в рот тугие, землистого цвета ленты дыма вместе с запахом непростывшего цемента. Кто-то повел рассказ про престарелого дядю из Щербинки – узнав, что СССР более не существует, тяжких предвидений полон, дядя вырыл себе землянку восьми метров глубины, и с тех пор там себе полеживает, выбираясь только изредка проветриться. С тех пор и до сих беды не знает: даже температура в землянке постоянная.

Выкурил Петя столько, сколько прежде и не видел, с трудом переставляя ноги поднялся на поверхность и пару раз безуспешно попытался поднять мешок с песком, но быстро на это дело плюнул. Спрятавшись от турецкого ига в укромном закутке между носатым краном и бетономешалкой, каменя под их недружное бормотание, Петя устроился возле грибного кустика и спрятал мерзнувшие грязные руки в рукава, не мигая, смотрел, как трепещет живая масса раствора, из широкого раструба разворачиваясь, заползая в укрытие деревянного, утыканного железными штырями кубического короба фундамента, принимая форму, в которую налита, очередным пирсингом уродуя округлое сырое тело засыпающей земли, глубокой и терпеливой.

* * *

Я – это я, или не я?

Отсюда, или придет мама, растолкает, скатает одеялко:

– Уходи, не наш ты сын, чужой мальчик.

Никого-де не слушаешь,

И нет у тебя на левом плече родинки!
У нашего мальчика поступь гордая,
В плечах косая сажень, или несколько,
Да зубки шиты частым крестиком.
Уходи-ка, подменыш нечаянный,
Нету на твоём плече заветной родинки!

...Это все не беда, перетерпится.
Да и что мне до тебя, женщина:
Как проснусь, то забуду родителей
Помимо Отца небесного.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Это что такое? – выпрямился милиционер.
- Лекарство, – ответил я. – бабушкино.
- А почему в носке носишь? – съехидничал сержант.
- Мне так удобней, – пожал я плечами.
- Ну ты и наглец, – лейтенант подмигнул присутствующим. – Так и запишем, бабушкино.
- Послушайте... – я попытался отвести его в сторонку.
- Двадцать таблеток розового цвета с изображением, – милиционер принял деловой вид. – Что там нарисовано?
- Лошадь. – Расстроено выдавил я.
- С изображением лошади. – подтвердили понятые.
- Хорошо-хорошо, – поднял я руки. – Сколько?
- Ну, – задумался милиционер, – четверо косых, не меньше.
- Я требую адвоката, – возмутился я.
- Вы сядете до трех лет, – подтвердил адвокат.
- Толку от тебя, как молока! – рассердился я.
- Спокойно, мальчик мой, – хохотнул помощник. – На суде мы тебя отмажем.
- Но мне не нужен никакой суд, – схватился я за голову.
- Но у вас нет никакой бабушки, – угрожающе надвинулся обвинитель.
- Как раз собирался взять шефство над одной. – обещал я. – Ветеранка труда, между прочим.
- Не пытайтесь нас обмануть, молодой человек, – прогрохотал судья.
- Помилуйте, только для себя, не на продажу же! – взмолился я.
- Ноги на ширину плеч, – потребовал конвоир.
- Эм-м... Здравствуйте, – осторожно произнес я.
- Лошарам одеяло по закону не положено, – сплюнул один.
- Курить здесь можно? – спросил я.

– Ненавижу наркоманов, – отрезал кто-то. – водку надо бухать, а не этой дурью закидываться... Убил бы всех.
– Эй, начальник! – закричал я. – Эй! Помогите же! Кто-нибудь!
– Дивен Бог во святых своих, – подытожил священник.

* * *

Черный мост и яркие огни на нем: веришь ли, моя нежная, но мы с братом умеем превращаться в менеджеров.

И способны останавливать время – ненадолго, минут на семь, – особенно в такую ночь, ледяную и ломкую.

Квадратная, сдавленная тучами луна грохочет над рекой: – Никогда! – и вправду гаркнул ворон, отрываясь от набережной.

Нежность и неизбежность рифмуются, а уж такое не случается напрасно, неизбежная моя, веришь ли, потому мы не будем вместе.

Оттого страшно раскачивается мост, и заклепки, щелкая, вылетают из пазух.

Да, мы добрались – пальцы вытянуть – до главного нерва. – Никогда! Никогда!

Но оттого-то мне и страшно.

* * *

Раз уж мы тут так собрались, расскажу еще кое-что для чувствительной кожи. История эта известна повсеместно от Митино до Марьино, и даже в просвещеннейших домах Черемушек она передается из уст в уста, от отца к сыну, как поэзия древних скальдов. Вот она, эта история.

Был у меня пес некоторой московской породы. Говоря более определенно, бульвар-терьер, сердечный друг, и каждое влажное утро гуляли мы под ручку в районе Петровских ворот, заглядывали в черные, непрозрачные нефтяные зрачки кавказцев и рассуждали, разумеется, о России, болезнью нашей гиперродине, любезном свехотечестве нашем. Высказывались мнения самые неожиданные: и о том, что русский народ – рогоносец, ему родина изменяет. И о том, что можно ехать вдоль России, а поперек можно только спускаться или подниматься – совсем не так, как у обычных людей. И много еще иных парадоксов упоминалось, и так мило было нам с бульвар-терьером бродить под ручку в ранний час, когда каждый звук прозрачен, плотен и отделен, будто бусина, и ощущать себя жителями мистической столицы мистической страны, что обнял я бульвар-терьера своего, подхватил под мышки и радостно подбросил в воздух. Пес благодарно лизнул меня в щеку, а затем заговорил человеческим голосом, по-русски: «Хорошо мне с тобой, друг сердечнейший мой, но – пойми – мы все врём. И нет никакой Мо-

сквы, и России нет, а есть одни только Сибирь и свобода». Сказал – и уехал в Томск, город, в котором, как всем известно, все граждане сивые пьяницы либо наркоманы, либо черные шаманы.

Свободу нельзя отнять или ограничить, таково ее имплицитное свойство; ее нельзя лишить, но ее можно лишиться. Свобода зазеркальна: чтоб оставаться на месте, надо быстро бегать; так что я его понимаю, этого пса.

МОМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Повторения повторения рассыпаются там и сям, будто игла по пластинке скачет. И – никто друг друга сразу не узнает, путаются: Привет, Матвей! – Привет, Сергей! – Я Антон, а не Сергей. – А я Андрей Андрей. – все похожи друг на друга, все кажутся знакомыми. Постоянно кровь кровь из носу, и нигде ни единого прилагательного. Внезапные приступы сонливости ниотчего – окружающие валятся с ног, сползают с кресел на пол. Горячую воду отключают то включают, вся уже постель в бурых пятнах. Сцена вторая. – Ты дура ебанутая. – Да-да, а потом она пришла в такой кофточке бежевой. – Не слышит... Если бы я мог выбирать, то, конечно, глаза. Глаза твои, драгоценную сотню карат, я поместил бы в драгоценную оправу и носил на тонкой цепочке. С потолка льется кровь, но это нестрашно страшно, я сегодня сегодня – быстрый наезд камеры – в кедах. Дверь, – думаю я. – Дверь. Мобильный телефон, – думаю. Окно. Ноги. Дождь. Но никакого, ни на йоту, разочарования нет, потому что никогда не было и никаких ровным счетом ожиданий. Утаренье на люпой слок.

ВЕСНА: ВОДА

Загогулина закоулка на задворках генеральского района оканчивается хитрым аппендиксом грязного двора, в центре которого разноцветными сифилитичными пятнами проступает опадающая, темнеющая гора слежавшегося за зиму снега. Жители двора и разноцветные гости столицы высыпают мусор где попало, но снег припомнит все, всякую мелочь старательно сохранив до распутицы, чтобы пред черными распутными зрачками весны предъявить вещественные доказательства того, что и зимой между этих уныло теплящихся окон, под этим бессердечным небом теплилась стремительно остывающая жизнь. В мутной талой водиче взвесить морщинистые пакеты, догнивающие трупы трехцветных кошек, картавые обрезки картофеля, лохмотья сигаретных пачек, останки давно вымерших бананов, твердые кости бутылок и неисчислимое, тропически обильное разнообразие собачьего говна.

В углу неровного двора в бледно-желтую плоть приземистого дома грубо врезана ржавая стальная дверь с табличкой и с логотипом на ней – горельефное изображение икосаэдра, плотно, всеми двадцатью гранями усаженное в блестящую металлическую поверхность смотрится тем последним гвоздем порядка, на котором еще только и держится весь двор, медленно тая, сползая в весеннюю сумятицу и водянистое сумасшествие. Небольшую, полную расплывающихся в стороны окурков площадку перед дверью по-пьяному развезло, снеговая жижа разлилась широко и глубоко. Проверив по карманам, на месте ли удостоверение курьера и проездной, медленно передвигаясь то по колено, то по горло в этой грязи, Сева выгреб в закоулок, подгребая руками и локтями прижимая к мокрой кожаной куртке пакеты с отпечатанными на них икосаэдрами болезненного синюшного цвета.

Путь до метро тянулся через арку, через закоулок, под обложным ангинным небом, под серыми однообразными облаками, через открытый вещевой рынок, и Сева пошел к нему, пересекая уличный лунный ландшафт, затоптанный бесчисленными космическими туристами: каких только отпечатков не осталось в этой тающей мягкости. Рынок наполнился толкотней и молчаливой давкой, пересекался потяжелевшими от нездоровой влаги взглядами слезящихся глаз. Оплывающие, изможденные лица продавцов нависли над замызганными прилавками, в слабые уши впивался стоглавый громкоговоритель, пытку антитеррористическими объявлениями чередуя с сумрачной музыкой. Старательно сберегая пакеты, Сева вяло продвигался мимо лотков, перемешивая весеннюю подножную мягкость, и от неожиданности притормозил, когда весь сырой воздух рынка растекся хриплым бормотанием Леонарда Козна.

Лужи досадливо поморщились – But I was waiting for the miracle, for the miracle to come, – повторил Сева, и сердце вздохнуло и затихло, когда под эти звуки через загаженный обрезками, запруженный людьми, засиженный нечистью обувной ряд зашуршали двое невесть откуда взявшихся монаха. Темные от влаги ботинки на белых металлических стеллажах морщили носы, сморщенные покупатели застыли, поворачивая оседающие талой испариной лица вослед их черным фигурам и прислушивались к сердцебиению песни, а монахи шли, и только снеговые лужи под ногами хватали своими ледяными губами полы их длинных одеяний.

* * *

Болезнь дня – синдром Корсакова; правда, был, помню, один человек, да и тот в отпуске.

Никакой ловкости рук, чистое мошенничество: как Господь

наш, четырьмя кубами накачал все людское собрание и сел ждать в центре зала.

Тогда со всех краев приходили к нему плотники с каменщиками, приносили извинения за причиненные неудобства, но также и за те, кои остались не причиненными.

Руки им не протягивал, брезгливо кедом подвигал этот отстой, кривился на советника: «Ну-с, и где твое обещанное жало?». Советник подал знак, пошли болевые слоны, трубы возопили.

Отсветы поезда помчались по бикфордову шнуру рельс в самую гущу толпы. Милиция краснолицая, а больше никого кругом знакомой расы. Был, правда, один, да и тот в отпуске.

МОМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Глаза б мои не видали этих коленок.

Вот уже и на шаг позади: молодежь все наглей, проворней, зла на них никакого не хватает.

Такая уж игра эти шахматы: не родись фигурой, а родись с фигурой.

А если ни того, ни другого Бог не дал, то и приходится в пешках выслуживаться; шаг вперед.

Ничего, еще есть надежда, миттельшпиль, хотя из дебюта вышла с потерями.

Зато угрожаю здоровенному коню – мало ли чей бывший, зато – настоящий огонь.

Кроме этой надежды больше ничего и не остается – они еще не знают, – уже и задница обвисает.

Ведь были и не такие коленки, и плечи глаже; шаг назад.

Есть надежда, что кульминация партии еще впереди: дежурный по станции объявляет шах.

Поезд следует до эндшпиля; а там посмотрим, сучки, кто кого.

* * *

Засандалил ей ребенка и уехал на Гоа, и сигналов более не подавал.

На предплечье вытатуировал «604», хоть это к делу не относится.

Она – родители в Америке – четыре из пяти комнат сдала, сама сидела с малюткой дома.

По дороге в молочную кухню лабрадор-ретривер хватанул ее за бок.

У него шерсть медовой окраски, у него бездонный взгляд.

Чуть не месяц кололась, подвывала от боли, питание приносить просила постояльцев.

Постепенно отпустило, да и вернулся этот, с татуировкой, прощения удостоен не был.

Как-то ночью прокралась во двор и оставила на газоне сверток.

В газете – куски мяса вперемежку с битым стеклом.

Целую ночь выглядывала в форточку, а во дворе собаки металась и стонали.

Но ведь скоро все равно завела себе суку плотного сложения, обучила охране и нападению.

Ребенок тем временем подрастал, деревенел, менял запахи.

Иногда звонил этот, на предплечье татуировка «604» миленько болтали, стал появляться в доме.

Приносил, конечно, сюрпризы, эзотерику с экзотикой.

Хотя лучше бы деньгами отдавал, ну да она не в обиде.

Суку приходилось привязывать: на него бросалась особенно яростно.

К осени сговорились съехаться, постояльцев прогнали, сделали мелкий ремонт.

Суку предлагал по-тихому усыпить, житья от нее не стало, но не решились.

Однажды – кажется, случайно, – забыла запереть ее в комнате.

И сомнамбулически смотрела, как она терзает этого, с «604» на предплечье.

* * *

Перед отъездом накурился так, что ничего не соображал, впрочем, и она тоже.

Наутро в самолет – и покедова, улетел в иные, благословенные края.

Жил жизнью, зарабатывал мало, тратил ровно столько же.

На предплечье вытатуировал «604», хоть это к делу и не относится.

Через полтора года встретил знакомого, оказалось, она залетела после того раза.

С трудом скопил на билет, домой разлетелся с пахучим букетиком.

В недоразумение не поверила, не пустила на порог и даже малютку увидеть не позволила.

Выпивал, пытался представить себя отцом, ощущал странное.

Иногда тайком подглядывал за обеими девочками, гадал, какая она – маленькая.

Завел пса, лабрадор-ретривер, красавец с породистым носом.

У него шерсть медовой окраски, у него бездонный взгляд.

Как-то утром к молочной кухне шел в отдалении за ней, и пес

играючи хватанул ее за бок.

Сам сбежал от горя и стыда, а она, кажется, сильно напугалась.

Но не оставлял свои звонки, пока наконец не почувствовал, что – подалась.

Завела себе суку плотного сложения, звериной масти.

Стал заглядывать в гости, приносил обеим девочкам подарки, эзотерику с экзотикой.

Суку приходилось держать взаперти – на него она бросалась с особенной яростью.

К осени сговорились съехаться, постояльцев прогнали, сделали мелкий ремонт.

Суку предлагал по-тихому усыпить, житья от нее не стало, но не решились.

Однажды – кажется, случайно, – она суку забыла привязать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Варфалай, – сказал он. – Меня зовут Варфалай.

Не знаю никакого Варфалая.

– Все про тебя знаю, – сказал он.

Бросил трубку, дрожу.

– Я сделаю с тобой, что захочу, – сказал он.

Такое подряд несколько раз.

– Ты мой раб, – сказал он. – Я выиграл тебя в казино.

И так до утра.

– Ты будешь делать, что тебе прикажут, – сказал он.

Выключил телефон, тогда он стал говорить прямо в голову.

– Что прикажут – все сделаешь, – сказал он.

Секретные психотронные технологии.

– Иди купи шпроты, – велел он. – И молоко купи.

Не хочу я шпрот, ненавижу шпроты, жирные.

– Ты должен купить жирных шпрот и молока, и поехать в Измайловский парк.

На работу не пошел, не могу, каждый раз белею весь.

– Ты должен поехать в Измайловский парк, ты не серди нас лучше.

Взял шпроты, молоко, отправился в Измайловский парк.

– Меня зовут Варфалай, – сказал он.

Заставили съесть шпроты и запить их молоком.

– Спрячься теперь.

Спрятался, полдня блевал, температура.

– Ты должен слушаться, слушаться.

Приплелся домой, всю дорогу угрожали в уши.

– Задуши что-нибудь, – велели они.

Я сразу понял, только не понял, зачем.

– Вырви ей струны.

Порвал струны, накинул на гитарный гриф, стянул, ладони в кровь изрезал.

– Ты должен поехать в Измайловский парк.

Смотал струны, поехал.

– Смотри, вон та, в красных кедах.

Подхожу к ней – действительно, в красных кедах.

– Его зовут Варфалай, – оправдываюсь.

МОМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Перед ней, чуть сбоку, искривлялось дерево, а за ним подрагивали окна. Летняя вечерняя духота влажной пленкой облепляла облегающее платье, которое ей не шло и в котором она сама себе казалась тугой сосиской, тускло белеющей в полумраке. Хотелось обтереть лицо, но пошевелиться не было сил. Человек пять подростков, поплеывая и матерясь, устроились поблизости. Наливаясь бутылочным пивом, они говорили все громче и все агрессивней двигались. Лучше всего было бы взять и уйти, но вялость стянула все тело. Мужчина в майке, в трико со штрипками и сетчатой шляпе курил у подъезда. Она представляла себе, что нет ничего этого, совсем ничего. Пыталась закрыть глаза, но веки не слушались. Глядя на угловатые пыльные листья клена, она воображала себя за занавеской, за столом. Отодвигая штору рукой, она видит совсем другое место. Там течет вода и нет никакого пива. Заплакать не удавалось. На небе ни облачка, но желтая жирная луна. Подростки повставали с мест и пошли прочь, швырнув в нее бутылкой. Плеснули осколки. Мужчина в майке безучастно смотрел на ее облупившуюся фигуру с давно отломанным горном и торчащей вместо него арматурой.

* * *

У мальчика трисомия по 21-й хромосоме и все, что с этим связано: плоское лицо, больной румянец, пятна Брушфильда на радужках косящих глаз, толстые губы, круглая голова с уплощенным затылком и узким скошенным лбом. Ушные раковины с приросшей мочкой, акромикия.

Бабушка водит его к Белорусскому вокзалу и просит милостыни. Реже они садятся в электричку, просеивают дачников и «областных». Бабушка не понимает, что происходит у него в голове, и не собирается понимать – ей надо выжить. У мальчика трисомия по 21-й хромосоме – мышечная гипотония, «лягуша-

чий» животик, «куриная» грудь и разболтанные суставы. Однажды он толкает бабушку под колеса электрички.

Мальчик не идет – вихляется – по пригородам. Прибивается то здесь, то там. У шлагбаума встречает Безумного Воина и обманывает его. Тайком ночует в саду среди яблонь Душистой Наместницы. Не разговаривает – мычит – на шумном застолье в Бессменной Лужайке. У мальчика трисомия по 21-й хромосоме: асимметрично расположенные соски и выпяченный пупок. Липовая Осинушка задает ему три загадки, которые он – случайно – разгадывает. Бродит кругами, попадает в Деревню Светиков, видит Посильный Храм. Не мытарствуется – не осознает. Волосы у него мягкие, редкие, прямые. В конце концов он находит Зеркального Сивку и укрощает его, спасая от разорения всю эту местность.

* * *

Стерегающий платную автостоянку лютоволк укрылся под навесом и пустыми большими глазами глядит на пухнувшие лужи. Запахи сдобы и арбузов вменяются в отчаянный мокрый запах дождя, увлажняют пачку прайс-листов в руках: крепкие алкогольные напитки, слабоалкогольные напитки, коктейли и миксы, безалкогольные напитки, газированные напитки, минеральные воды и квасы, технические жидкости, автоочистители, растворители, бытовые очистители, кинжал валирийской стали продырявил пакет и с приятным звуком царапает асфальт, пока я бегу под козырек подземного перехода, на влажной стене которого теснятся небрежно наклеенные объявления, зычно выкрикивают, перебивая друг друга: «ицца с дост», «анны», «вери». Красный замок Моссовета восстает над глыбой пышнотелого камня. Из боковой его двери, озираясь, вахтерша выносит незаконнорожденного сына заместителя главы. Оставаясь в седле боевого служебного «Форда» ее встречает полковник милиции, взявшийся воспитать ублюдка. «“Арти”, “ота для актив”», – заклинают полуоторванные объявления: «“Дам”, “иму”, “рочн”». Что-то шумно сдвигается под сверкающим в дождевых плетях панцирем асфальта. Вице-мэр протягивает руку и хватает с переговорного круглого стола бутылку «Аква минерале», не замечая белесоватую взвесь яда у донышка. Покорные голосу заряженных серебром пушек тучи рассеиваются. Из монстра с восьмицилиндровым двигателем по пояс вылезает человек с вышитым золотым львом на гербе и раздраженно кричит в сторону группы, одетой в пурпурные цвета дома Харконненов: «На чей счет Выковыряетесь в носу, сир?!» Фоном звучит темное многоголосие бумажек: «“бель”, “идки”». Скрывая лицо плащом, инвалид на коляске срывает одни объявления и, сверяясь со сложной схемой, лепит

другие: «“дажа”, “азин”, “страция”, “страция”».

* * *

– Я нежный домашний цветок, – говорит она, выдавливая прыщ, – Я очень ранимая.

Между тем ночь прочно утверждается на улицах города.

– Меня все обижают, – жалуется она, обнимая ногами его плечи, – Люди так злы.

В это мгновение вязкая тина туч подсвечивается снизу блеклыми огнями.

– Он заставил меня, – вздыхает она, меняя позу, – Он проделывал со мной ужасные, гадкие вещи.

Через минуту бессмысленное черное небо проливается дробным дождем.

– Больше ни за что, – твердит она, поворачиваясь в фарфоровом гробу своих иллюзий.

Солнце не восходит никогда.

* * *

Полновесная тоска хлещет по щекам до слез

До первой крови немоготу, потом становится проще

Щекотно? – удивилась, – Конечно, нет, ведь я тебя не люблю

И все ради крохотной горстки воображаемых предметов

Измазанного в черной земле весомого яблока

Вихляющейся за окном ярмарочной вывески

Ароматных спичек, от которых прикуривать «совсем другое дело»

Бывают еще, по счастью, – скажем, Герман, режиссер памятливого, мим Полунин и, положим, Конохов, путешественник дивно отважный

Так вот я и говорю, был такой, Иван Игоревичем, кажись, звали

Кратче Иван-Горевич, то есть почти что уже и царь

Зобастое, лобастое чудище, к тому ж и сам себе как-то не мил

По зодиакальному гороскопу некая нежить, по восточному – безделица, по друидам – невидаль

Гофмейстера позовет и наорет, наложниц видеть не может, виднейшего советника отметелил

А тот раз устроил дипломатический прием, и на ем собрались послы да консулы всех стран, какие только ни на есть, сам же, передумавши, в кабаке с антиглобалистами надрался

Войну хотя б с тоски не объявил – и то благодарствуйте

Отменил прогресс и всяческие поползновения, запретил силу тяжести, на силу же трения наложил подати такие несуразные, что она некоторым образом сама собою сошла на нет

Высочайшее дозволение с грамотою выдал только на медицину, земледелие и искусство составления фейерверков

Вот разве что ради него

Ради него согласен и по мордасам

* * *

«Городок наш небольшой» – начало почти идеальное. Есть в нем и краткость, и тихий голос автора. Сразу вводятся и местные обстоятельства: наляпанные вдоль кривой улочки косые двухэтажки, неровный спуск к прокисшей речке, царапанная надпись на придорожном камне: «Прямо пойдешь – разум потеряешь. 0,5 км». По откосам шатаются горожане, всякое фуфло и шелупонь, всякие «стрючие», никогда не говорящие в настоящем времени и о нем: «Ну я пошел». Пойдем и мы.

Следы изнурительной борьбы кругом: заборы в чирьях, листья гниют на подоконниках, мужчины пьяны, как четыреста кроликов, – такова тягость их сражения с финно-угорским прошлым. Устав от этой неизбытности, они засыпают по склонам. Трусцой к ним приближается чудная собака и, прокашлявшись, заводит песни обо всем бескрайнем: о степи, о небе, о скуке и тоске, и об изгибах широкой спины. Многожды перекрашенный памятник отряхивает прах и, скрипя чугунными костями, сползает с постамента. Сползем следом.

Земля то пахнет сразу всем, а то совсем ничем не пахнет; ею и живут эти женщины, всё копя и собирая, и никак не накапливая. Как древнейшие крестьяне, всё проедают и продают, ничего не оставляя: всё, из почвы взятое, в нее же и возвращается. Всё, некогда пугавшее до судорог, умасливается и помещается в красный уголок, но мягче от этого не становится, и оттуда сверкая недобрыми глазками. Страшно, страшно по ночам, когда мужчины напиваются, чтоб только не замечать и не оглядываться, а женщины, зарывшись в жаркие перины, стучат зубами и трясутся. В беззвездной крошечности над квелою речкой помахивает и плачет царица-мать: «Кабы я была девица. Кабы я была девица!».

ЛЕТО: ОГОНЬ

Десятки градусов Цельсия сухой ртутной грудой валяются через город. Облака попрятались, пылающий купол атмосферы душит улицы неподвижной подушкой огня. В нестерпимом его сиянии и в блеске помрачения раскаленными джаггернаутом катят автомобили, едко тлея покрывками. Одни только перегревшиеся кондиционеры и способны, прокачав сквозь мычащие свои потроха бездны безжизненного воздуха, нацедить из него несколько

морщинистых капель; тряся трубку над потрескавшимся языком, светлый от пыли бомж безуспешно пытается их выловить, но капли испаряются в полете. Мысли плавятся, едва появившись, и прохожий, путаясь, застывает, припоминая нужный поворот, а у подошв его десятки ботинок тихо погибают, по шею погруженные в сочащийся потной патокой асфальт.

Неверный воздух искажает всякую перспективу, и не получается заранее понять, в какую сторону продолжать идти: каждая картинка готова предать, обернуться миражом, полыхающим фантиком – пожалуй, и этот пейзаж только чудится, и только мерещится, как, угрожающе вращая пальцами пламени, дыбится октаэдр нового торгового комплекса (стиль «вампир», восемь этажей, трехуровневая подземная стоянка, внутренний дворик с засыхающим садом), и прибывшие пожарные, притихнув, даже не пытаются его потушить. Скрываясь на теневой стороне улицы, пешеходы осторожно переступают через развалившихся осоловелых собак, сбивают кружащихся повсюду радужных мух – плутая в этой толчее, Олег пытается нагнать знакомую фигуру, бежит вперед, распахивая окружающих локтями и повиливая по-женски полными бедрами, пригибается на открытых солнечным мукам участках.

– Оля, стой, – задыхаясь, повторяет Олег про себя. – Погоди, – она, размытая призмой поднимающегося от асфальта воздуха, то исчезает, то снова показывается, уже поближе, и Олег все переставляет ноги, шурша подошвами мимо безжизненной пустыни автостоянки, под облепленными гарью тополями, извивающимися под жалами лучевой болезни – Олег бешено трет чешущиеся от пота конечности и бежит, от жара едва не падая в обморок, и вот уже пальцами схватил Олины пальцы, и та обернулась – и обернулась чужой женщиной со странно пустым внутри лифчиком. «Простите,» – пробормотал Олег. Сухо чихая, мягкотелый автомобиль объехал его и пристроился под поникшими усиками троллейбуса, уныло притихнув в хвосте бесконечной гудящей пробки. Олег остановился посреди общего движения, с трудом переводя дыхание и болезненно сглатывая горячие комки кислорода.

Толпа бурунами запахов обтекает оба его плеча, неприятно тревожа горячую соленую рубашку. Превозмогая резь в глазах, он выглядывает в дымной пелене строения, силуэты, лица, пятки, подмышки – пот медленной лавой разъедает кожу, мерцающий кипящим маслом город покрывался волдырями пожарищ, смягченные провода, растягиваются под собственным весом и касаются почвы, сухо треща электричеством, трупы пенсионеров медленно дымились, опадая под солнечными ударами, и полчища

подышающих крыс штурмовали прохладную полость метрополитена – прикоснись к поручню – получишь ожог, и ожог разрастется, пожирая каждую клеточку, каждый переулок рассыпая в прах. Этот город в огне, в огне он и сгинет. И прочее, и прочее.

* * *

Упруго, бесшумно, внимательно, непредсказуемо... alertно, как сейчас говорят. Сторожко – говорили раньше. Это что касается походки.

В остальном – молитва и гантели. Потеть, как мышь, и в душ.

И благородство иностранных языков – три раза в неделю в полупустой аудитории 1-го гуманитарного. Каждый день рабочий, бодрячком, будто «Дюраселл» проглотил.

Обязательно трахаться, хотя чего проще, она ж ясно какая, одна нога здесь, другая там, ну вы понимаете.

Сперва, правда, предлагает все по полочкам, как на эскалаторе: самовары в Тулу, инжир в Алжир, сахар из Сахары, шары из хрустала. Вы прекрасны, дорогая.

«Был букет, остался веник» – в мусоропровод, где гниют, кряхтя, ничейные кошки.

А снаружи как раз такая шальная погода, что черви выбрасываются на асфальтовый берег.

Раздавить, пнуть забор со злости – троллейбус стеснительно развел рогами – а в комнате повесить детальную карту мира, и на ней отмечать передвижения бывших любовниц. Замуж за португальца, ужасно смешно.

Но всего верней другое – дослужиться до главного в МИДе, и тогда уж на официальном уровне выразить недоумение. «Восемнадцатой подругой вы мне станете едва ль.»

А умерев, превратиться в пошаговую стратегию с фэнтезийным геймплеем. Что-то вроде НОМАМ, пока они не скусились.

Или Warlords, но – лучше, лучше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подруга подкинула проблем.

Сука.

Вечером звонит, короче, так и так, Юрок, приезжай.

Дороги все обледенели, так она на третьем кольце, возле Кузцовского и въехала в кого-то.

Приезжаю, зареванная стоит, сопли во весь снег.

Типа, ехала себе, ехала, а тут раз, не знаю, откуда эти взялись, еще и метель метет, не видно нихера.

Ну, подхожу к ним, мол, че-как, проблемы какие.

– Будут тебе проблемы, – обещают.

Смотрю на них, на тачку ихнюю, и думаю, ну блин, точно, будут.

– Ну а че, – спрашиваю, – сколько вообще?

Называют цену.

– Ну, – говорю, – пацаны, вы даете. Мне стока и за год не найти.

Они, типа, мол, сам смотри. Хоть рылом рой, но чтоб через неделю было.

Ну вот ведь, сука, подкинула проблем – так подкинула.

Я, короче, туда-сюда, ну, нашел, тут занял, там прибрал, набрал, в общем.

Через неделю – подругу тоже взял, пускай рулит, но под приглядом, а то лед кругом, ну и дура, реально же, – через неделю поехали.

Приезжаем, как договорено, в Гончарный, ждем, а никого никак нету.

Ждали-ждали, замерзли, как Маугли, нет их и нет.

Ну, думаю, ну, нет – так и зашибись, ну и приехали домой.

Звонят, типа, охерел, чувак, тебе башню отвинтим, ты где был?

– Так приехал же, никого же не было! – удивляюсь.

Оказалось, короче, перепутали: они в Первый Гончарный приехали, а мы в соседнем, во Втором стояли.

Тут всегда так с этими переулками.

Я и говорю, какие проблемы, айда теперь точно, в Первом, хоть сегодня.

Нет уж, типа, злятся, теперь ты больше должен.

– Вы че, пацаны, – говорю, а сам уже эту суку убить думаю, что ли.

– Где я вам еще доставать буду? – хоть плачь, честное слово. – Хотите, типа, бабу забирайте, я-то что, сама въехала, сама пускай разбирается.

Ты за кого, говорят, нас держишь, чтоб мы с бабой разбирались, че нам делать с ней.

– Да уж че захотите там, то и делайте, – и подмигиваю, хоть по телефону и не видно.

Заржали, мол, на хуя сдалась нам твоя баба.

Застрелковались, в общем, по новой.

Устроил ей тоже, конечно, реально, куда рулила, когда смотрела, дура?! Не тот переулок!

Она, типа, в истерику, куда сказал – туда и рулила, и пепельницей вон засветила, на холоде ноет, а так терпимо.

В долги еще пришлось, побегал тоже, собрал кое-как, и то не все.

Ну вот, типа, стрела, встретились, то да се, передаю, только немного не хватает, говорю.

– Как так? – и в репу сразу. – Да ты точно охерел, чертило.

Встаю, говорю, че мне теперь, с протянутой рукой стоять?

– Хочешь, стой, – говорят, – или укради, нам-то хуя. А на той неделе остаток чтоб был. И с добавкой.

Вот уж, сука, подкинула проблем, по горло, конкретно.

Ну и вот, а я тогда уже с неделю как бомбить начал, по вечерам, после работы подвожу всяких, какие-никакие, а деньги.

И везу как раз каких-то пьяных, просто пиздец, а сам думаю, где вообще еще денег брать, и как отдавать потом.

Снег засыпает, еле тащимся, но приехали, в общем, куда собирались, Новокосино, вроде, остановились.

Смотрю, а один из них, из пьяных, ножичек показывает, вылезай, говорит.

Тут уж я ржать начинаю.

– Хули ты ржешь, – и в рыло опять.

Вылезаю, конечно, что делать-то, даже барсетку в бардачке оставил, а сам все ржу.

Потому что вспомнил, прикинь, собирались с ней поехать в отпуск.

В Африку, в Марокко.

Какое уж теперь Марокко, одна морока.

И целый час ржу, короче, прямо посреди дороги – снег, мороз, Новокосино это, а мне смешно, не могу с этим Марокко.

А вообще ты к нам лучше летом приезжай. У нас летом хорошо.

* * *

С самого октября, когда бедную Ксюшу из четвертого подъезда нашли задушенную скакалкой, во дворе оставалось спокойно, все передвигались едва не на цыпочках и говорили траурно, вполголоса. Он был тихо и безмятежно доволен этим. Всякий городской звук, любой человеческий крик невыносимо болезненно сотрясал – а дети слишком шумны, слишком визгливы, особенно девочки. В серых сумерках его тень черной простыней падала на автомобиль, который чересчур долго громыхал у окон, и через миг двигатель медленно замирал, остывая. Изгваздавшийся в солидоле хозяин проводил бессмысленные месяцы у навеки затихшего капота, ставил мужикам бесполезные поллитры – безрезультатно. Крупные кобели громко собачились и редко протягивали даже неделю, скулили и загибались на кухне, отказываясь выйти за дверь, и прижились во дворе одни только старушечьи карликовые шавки, вечно запуганные, едва слышно кашляющие, будто обглоданные

неведомой молью, и притом омерзительно телесные.

У него же тела нету, но стягиваясь, злоба полнит его и пробирается змеей, дымом, ремнями стягивая сердце шумной вещи: в пыль разносит дребезжащие от трамвая стекла, мнёт стальную дугу скрипучих качелей на площадке. А с октября, когда нашли Ксюшу, затих, подолгу заглядывался в холодеющее над крышами небо, замирал вместе с безмолвными деревьями, они утомленно роняли листья, он зарывался ко дну, сырому и грелкому, в закутке между гаражами, где месяц назад нашли Ксюшу из четвертого подъезда, и первый снег не таял на яблоках ее глаз.

Антонов застегнул верхнюю пуговицу пальто и натянул вязаные перчатки. – Нет, сперва к твоим, потом к моим, у них как раз Костика оставим – и к ребятам, чтобы к десяти хотя бы успеть... Не к самой же полуночи приезжать прямо, – Схватив в охапку сваленные на стуле покрывала, он подцепил скрученный коврик и повернулся к жене.

– Слушай, давай позже решим, – она сунула ему куда-то в пыльную кучу палку и открыла входную дверь. – Только смотри, тщательно выбей, а то еще раз пойдешь.

– Ладно, – кипа тряпок заслоняла, и Антонов спускался, нащупывая ступеньки при каждом шаге.

Дверь подъезда звякнула, по-зимнему ясный свет ударил в глаза. Приветствовав и поздравив смутно знакомую старушку – «И вас, как говорится, с праздником», – Антонов прошел к закутке между гаражей, тихому, ненужному, где чистый снег изумительно искрился и манил. Грудой свалив с плеча тряпье, он взял покрывало за углы и накинул на белый сугроб. Набросав ботинком, припорошил серые клетки, присел на корточки и стал выколачивать пыль. Он с наслаждением взмахивал палкой, следя, как вмятины возникают и замирают, и снова рассыпаются под следующим ударом. Частые веселые хлопки бились между стенами гаражей, мячиками резво вырывались вверх и разносились по всему двору, обрушивая крошечные шапочки с дрожащих тонких веток. Впиваясь в ткань, палка сминала, пачкала, портила снег, нестерпимо звучала, вторгаясь в кисельную дремоту, пока злоба снова не забилась под сугробом, не стала быстро копиться во всеильный густой комок силы.

Покрывало судорожно задергалось, и Антонов замер, встряхивая головой. Ничего не происходило, и он снова принялся колошматить, когда оно стало вздыматься, будто, накрытая им, тянулась из земли огромная поганка. Споро поднявшись во весь рост, она, оно, он навис над Антоновым и вдруг резко скрутился в жгут и кинулся, стягивая горло, ломая хрящи гортани. Сделав

несколько глотков крови, тот упал, биясь и выворачиваясь на снегу. Ткань все сильнее, все яростнее сдавливала шею, и через полминуты Антонов затих. Мелко семеня, к нему подбежала ко-
стлявая старушечья собачка. Молча она обнюхала лицо и с опа-
ской впиалась в его быстро синеющие губы.

* * *

В здоровом теле здоровый дух и свежие полупрозрачные легкие
Прилежные почки, крепкие ягодицы
На здоровом теле внушительный йук
Под здоровым телом и дева здоровая: Юрок, у меня нет осен-
него пальто
Мозг не находит ни единого здорового варианта
Незаметно сдавливает чистый язык зубами
Я тоже не видела этого фильма
Юрок, нам надо разобраться в нас самих
У здорового тела закатываются темные глаза
И оба одновременно: Я хочу, чтобы ты понял, Юрок, Юрок,
Юрок
Тело содрогается, теряя сперму безвозвратно
Безвозвратно

* * *

Состав поезда известен – одна компания агрессивно пьющая и
две пьющие тайком, скрывающая ребенка женщина, запах кури-
цы с апельсинами, звяканье чайных ложек, гибельный смрад не-
рабочего тамбура, полупрозрачные топазные окна. Телефон едва
нащупывает ненадежный пульс сети: абонент не отвечает или
временно, или навсегда.

Если прямо от Казанского, через Выхино и Люберцы, до 49-го
километра не доезжая налево, то лучше приготовить респиратор:
сюда сливается говно из толстых труб огромного, небывалого го-
рода. Окрестных пара деревень затоплена по крыши, лишь одна
на холме спаслась. Нет электричества и путей к Большой Земле,
только мост железной дороги проносится над фекальными зали-
вами. Третье поколение островитян другую жизнь уже высмеи-
вают, плавают на подгнивших плотках, растят репу в ведрах, жа-
рят одуревших мух, изредка обирают электрички, нападают вне-
запно и жестоко. Молятся понятно кому, в ритуальных целях ис-
пользуя хризолитовую вышку сотовой связи.

Состав поезда известен, а проводница попалась ведьма: кол-
тун волос, рыжих и редких, неряшливая форма, квадратная обувь
и веник в пыльных привидениях. Уж и зыркала, и ворчала, и
кашляла, и материлась. И – то ли в чай чего подсыпала, но и от

пива к полуночи какая-то чертовщина вышла. Телефон совсем замаялся, голова разбухла, налилась харя полукозла, непонятно кого, надулся фаллос: я так ее хотел, колдунью злую! Но ведьма насела, велела нести в вагон-ресторан, через белое безмолвие простыней в плацкарте, через залитые полной луной коридоры и сцепки, в сердцевину, вглубь, туда, где ревизоры с комендантом сойдутся в пляске бешеной и злой. Тогда из-под кинжала с адамантом прольется кровь и станет вновь золой.

Чуть доковыляв до верхней полки, чудом прозвонился, замигал:

– Алло, ты пропадаешь! – еле разборчивый голос. – Где ты? Ты пропадаешь!

Да, я пропадаю, пропадаю.

* * *

Много дней провел прикованным к постели, и свирепая моль с дальних антресолей еженощно терзала печень и все внутренности. Натужно желтевший фонарь вертелся на проводе, плевками света отгонял дурную тень в душный, пропахший лавандой угол. Ссыпавшиеся молочные зубы припрятывал от феи в кулачке, но к утру их выкрадывали.

Тогда мать в изнеможении опускалась в голову, долго распутывала вспотевшую гриву и пересказывала сон. Видела собственную бабушку: будто та в спешке развешивает мох, указывая дорогу, по которой ушли взрослые, но они с покойным братом этого не замечают и теряются. Вычесывала из головы следы мелких ночных гостей, а под окаменелым брюхом шкафа переругивались, деля припрятанные разноцветные таблетки: по пяти желтых за одну бурую и по три желтых за тонкую капсулу.

На последние сутки жар спал, нашелся зуб, и почти все таблетки выкатил шваброй. Шевелюру остригли, и мать ушла к другому: только уличные фонари и некоторые старые бабушки живут не для себя.

* * *

Машенька не спит – нет, уже спит, и уже снятся ей три одноглазые старухи, жарящие собаку на рябиновом вертеле. «Довольно этой Москвы», – думает Машенька и отправляется к бабушке: вдох – метро – электричка – автобус – выдох – и новый вдох, теперь уже обжигающе снежной, настоящей заМКАДовской погоды. Машенька проходит под лестницей, стучится в окошко. Прежде чем пропустить ее внутрь, бабушка спрашивает, не течет ли из нее грязная кровь. Нет, не течет.

У бабушки живет серенький козлик, злобная скотина с тупым сомнамбулическим взглядом. Бабушка козлика очень не любит,

собирается казнить, а Машенька боится, потому что не знает, какая дурь придет в его твердую голову в следующий момент. Еще у бабушки живут два гуся, один серый, а другой белый, хотя от грязи и от старости скорей желто-сизый.

Наутро гуся куда-то исчезают, как сквозь землю. Бабушка берет палку, берет Машеньку и отправляется на поиски. По пути они встречают соседку, с пустыми ведрами идущую к колодезю. «Чур меня», – крестит бабушка рот. – «Не чересчур ли?» – мысленно крутит Машенька пальцем у виска. Чернолицые местные мужики толпятся у магазина. Они божатся, что гусей не видали и что вообще неясно, куда те могли деться по снегу. Они косятся в сторону соседней деревни, где обосновался нечистый цыганский табор.

У бабушки есть дела поважнее, и она сурово отправляет Машеньку к цыганам, напоследок оградительно прикоснувшись к ней и косо перекрестив спину. К вечеру Машенька не спеша доходит до соседней деревни, повсюду выглядывая двух гусей, одного серого, а другого – белого. По улице ее преследуют грязные до тошноты дети, они визгливо кричат ей вслед нечто неразличимо гадкое и швыряют снежки. Взрослые снисходительно наблюдают за травлей. Сердце у Машеньки бешено колотится, она чихает от страха и ни с чем отправляется восвояси.

Уже стемнело, замело; дорога темна и неясна. Машенька бредет, еле волоча ноги. Она всматривается вперед, но никак не может различить ни дыма, ни огня жилья. Ночью бабушка встречает ее на дороге, полуживую от холода, и едва не несет домой. Раздев донага и растерев Машеньку спиртом, бабушка дает ей выпить кружку горячего и горчайшего отвара: в ее деревне чем горше лекарство, тем оно действенней. Она запрещает Машеньке рассказывать о своих злоключениях, пока не наступит утро.

У бабушки строго различается то, что можно, и то, чего нельзя. Машенька считает, что можно все, если хочется, лишь бы не убивать, не воровать и всякое такое. Может, поэтому бабушке мир предстает чередой гармоничных двойственных отношений, какими бы они ни были, а Машеньке все кажется набором разобщенных одиноких случайностей. Машенька смотрит на оконное стекло, все белое от налипшего снега, и бормочет: «Куда-куда-куда? Куда нам дальше плыть?». Ее тотем – курица.

БЛЮЗ

Рубаха черная х/б, кофта спортивная синего цвета на пластмассовой молнии, с надписью «Adidas», носки шерстяные светлые, обувь отсутствует. Увечья, несовместимые с жизнью: вся

душа нараспашку всем своим многоцветным фаршем. Кто ты, братец, опередивший меня на сколько-то лет? Впрочем, знаю, братец, тебя звали Сережей, или Федором, братец, или Андреем, или даже как меня. В декабре Москва особенно нетерпима, братец, но ведь это был Питер, глухая ночь, и все мосты в разводе.

Смерть без причины, братец, — признак дурачины, так что вот и он идет Сатан-Клаус. На нем «аляска» с кровавым подбоем, братец, на нем огненная накладная борода. В одной руке он держит череп оленя, братец, с горящими глазами, а в другой сжимает подарочки. Поодаль от него стоит старшая внучка Азора, братец, и на левом бедре ее вытатуирована роза, окутанная грубым шарфом лагерной колючей проволоки. Сатан-Клаус подошел, братец, и, никуда не глядя, погрузил рукавицу под ребра, и вырвал, братец, всю в ошметках плоти, жизненно важную железку внутренней секреции.

Рубаха черная х/б, кофта спортивная синего цвета на пластмассовой молнии, с надписью «Adidas», носки шерстяные светлые, обувь отсутствует. Такие увечья несовместимы с жизнью, братец: вся душа нараспашку всем своим многоцветным фаршем. Кто ты, опередивший меня на сколько-то лет?

* * *

Как, помнишь, зимой ты в больнице лежала,
Тебе приносил апельсины, разные куриные корочки в фольге,
и почитать тоже:

Оконные рамы заклеили желтой бумагой, но все равно сквозило, и ты уронила курицу на раскрытую книжку,

Страница стала прозрачной, через пятно можно запросто следующую читать,

Ты тогда сказала губами, — Прости,

Ну а вчера случайно раскрыл

Ту же самую книжку

На той же странице

Прямо,

Вот как это — тебя уже нет ни в больнице, ни вообще здесь, а жирное пятно вот, и книжка,

И что было бы, если б я ее вовремя потерял, или что-то другое с ней случилось,

Может, все по-другому,

Господи, надо было сразу ее выбросить

* * *

«Несомной»; декабрьской ночью в подземном переходе на Чкаловской свет судорожно извивается и подмаргивает на измощенных прыщами лицах тинэйджеров, те же горланят бессмыс-

леннейшие из песен.

Ты вчера ходила на «Агату Кристи» –

Я пинал по скверу золотые листья!

Впрочем, факт гол и зол ослепительно: ты не. Со. Мной. Какие, в жопу, листья золотые, когда такой мороз задувает. Я поеду в гости к другу, я утешусь кетамином. Кетаминовых вселенных стану я Вениамином.

Под леденящим взглядом метели пересекаю мост, на котором по отдельности помирают двое, человек и собака. Он изогнут эмбрионом, она воем баритоном. В асфальта глядя грязную дыру, мычит луне свое «лу-лу».

Ты. Несомной. Если бы не запах этот, лег бы рядом с человеком. Spoon-like: изо всех сил прижался к нему, и утром пускай крюками отволакивают куда там в таких случаях.

Труп собаки всю зиму пролежал на льду, не тронут ни людьми, ни гниением. Душа вмерзла в шерсть, и только в марте она исчезла – быстрее, чем растаял снег, – раздулось пузырем тело, и дух отлетел.

МОМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Колебания сознания: кажется, здесь я уже был, то ли просто все жестяные коробки похожи друг на друга. Атомы конденсирующейся влаги, податливые атомы дерматина, ледяные атомы поручней складываются в молекулы наземного общественного транспорта с рогами. Молекулы крошек на сиденье, молекулы сухих ладоней. Науки питают юношей, зрелому же мужу пристали занятия более достойные – может, и не герметические знания, но миф. Элементали троллейбуса поработают духов асфальта, те протестующе бугрятся, но в сумерках их пожирают одичавшие собаки. Призрак кондуктора с отсутствующим видом просачивается между закутанными пассажирами. Тут, как и во всем, во всем, важно идти до самого конца, до края и за край, как и во всем, пускай миф станет чем-то большим, нежели просто голова. Только тогда, только тогда его единство и полиморфизм, его нерасчлененность и символичность станут не только верным, но единственно верным взглядом на вещи. В два часа пополудни, а то и ранее, подземный переход превращается в ловушку. Под мечущимся светом люминесцентных ламп на крапленном инеем мраморе извивается бомж-минотавр: каждую ночь в новом лабиринте.

Эйтан ФИНКЕЛЬШТЕЙН

ОПЕРАЦИЯ «ЖЕНИТЬБА»*

Из романа «Пастухи Фараона»

Из газет. "Вечерний Ленинград", 15 июня 1970 года. Хроника.

15 июня с.г. в аэропорту «Смольное» задержана группа преступников, пытавшихся захватить рейсовый самолет. Ведется следствие.

Из оперативных донесений.

Начальнику УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области генерал-лейтенанту И.П. Носыреву

12 мая 1968 г. Ленинград

8 мая с.г. секретный сотрудник «Фаина» сообщила, что ее знакомая гр-ка А. Кац рассказывала, будто ее приятель по имени Гарик предложил ей бежать в Израиль на самолете, который он собирается угнать. Проверкой установлено, что «Гариком» является гр-н Лившиц Гавриил Юльевич, 1928 г. рождения, еврей, член КПСС, разведен, работает инженером в тресте «Птицепром». В прошлом военный штурман.

Начальнику УКГБ при СМ УССР по Одесской области тов. Куварзину

18 августа 1968 г. Одесса

Сек. сот. «Инженер» сообщает, что 17 августа с.г. на проводах гр-на Шифлина Авраама Куселевича молодой парень по имени Толя пожаловался, что не может подать документы на выезд, так как у него нет родственников в Израиле. На это Шифлин ответил: «У настоящего патриота Израиля всегда есть выход – бежать через границу. При этом лучше всего угнать подводную лодку, что-

* Роман будет опубликован в издательстве «Новое литературное обозрение» Москва

бы одновременно принести пользу родине». Проверкой установлено, что «Толя» – это гр-н Апельман Анатолий Львович, 1941 г. рождения, без определенных занятий. Шифлин дал Апельману рекомендательное письмо в Ригу. Внешнее наблюдение сообщает, что сегодня в 8.05 Апельман отбыл поездом в Ригу.

Оперуполномоченному ст. лейтенанту Прохорову
6 ноября 1968 г. Потьма

Вчера вечером после отбоя з/к з/к Федотов, Каненко и Жлобкин залезли на нары и долго шептались о том, что будут делать после освобождения. Каненко сказал, что уедет на Украину и будет поступать в институт иностранных языков. Федотов сказал, что будет продолжать борьбу, несмотря на то, что начал ее глупо. Жлобкин сказал: «Не верю, что смогу чего-то добиться в Советском Союзе, но я не хочу хоронить свой талант писателя и поэтому после освобождения подамся на Запад». На это Федотов заметил, что бежать через границу еще труднее, чем стать писателем.

«Студент»

Председателю КГБ при СМ Лат. ССР
генерал-майору В.Я. Авдюкевичу
4 июля 1968 г. Рига

Подборка по бегству за границу

1. Сек. сот. «Рыбак» сообщает, что 26 июня подслушал разговор в парке «Шмерли» трех молодых парней еврейской наружности. Первый сказал: «Оставаться в СССР равносильно тому, что жить в тюрьме». Второй сказал: «Но ведь тебе уже отказали и, может быть, никогда не разрешат». – «Тогда я уеду без разрешения». – «Как это, перейдешь границу?». – «Нет, я с друзьями построю воздушный шар, и мы улетим в Швецию». С/с «Рыбак» проводил первого парня до дома. Проверкой установлено, что им является гр-н Клоп Ноах Мордухович, 1944 г. рождения, техник. Подал документы на выезд в Израиль. Двое других приезжие. Личности устанавливаются.

2. 5 июля с. г. в приемную поступило письмо от гр-на Чернова Юрия Петровича, работающего на Хлебокомбинате № 3. Чернов сообщает, что однажды в заводской столовой рассказал, как служил пограничником на советско-норвежской границе и ловил там перебежчиков. К нему подошел человек, которого все звали «Кися», и стал расспрашивать, как ловят перебежчиков. 2 июля с.г. «Кися» принес Чернову крупномасштабную карту Карелии, сказал, что едет туда отдыхать и просил показать такие маршруты,

чтобы не попасть на глаза пограничникам. Все это показалось Чернову подозрительным, и он решил сообщить в КГБ. Проверкой установлено, что «Кися» – гр-н Кисельман Лазарь Шмулевич, 1938 г. рождения, женат, не судим, с 1966 года подает на выезд в Израиль, где у него проживает мать.

Из докладной записки

Совершенно секретно

Председателю КГБ при СМ СССР тов. Ю.В. Андропову
23 ноября 1968 г.

В связи с решением Политбюро ЦК КПСС о проведении судебных процессов над сионистски настроенными лицами в гг. Риге, Вильнюсе, Кишиневе, Одессе, Киеве и Ленинграде представляю вам наши проработки по этому вопросу.

1. Подготовка и проведение судов на идеологической основе представляются нам затруднительными, так как большинство сионистски настроенных лиц имеют в Израиле родственников и прикрываются правом на воссоединение семей.
2. Большие сроки наказания по соответствующим статьям не предусмотрены, а маленькие – сведут эффект от судов к минимуму.
3. Суды над лицами, пытающимися законно выехать из СССР/воссоединиться с родственниками, могут произвести неблагоприятное впечатление за рубежом.

Учитывая вышеперечисленное, нам представляется, что с целью более эффективной реализации решений Политбюро ЦК КПСС необходимо найти другую основу для проведения процессов над сионистами. Такой основой, по нашему мнению, может стать разбойное нападение группы сионистов на советский самолет/корабль с целью бегства за границу.

По нашему мнению, процесс над угонщиками самолета/корабля позволит:

1. Развернуть осуждение/преследование сионистов повсеместно по стране, начиная от заводских коллективов, кончая Академией наук и Союзом писателей.
2. Судить сионистов по статье «Измена Родине» и назначить им максимальные сроки наказания.
3. Суд над лицами, пытавшимися незаконно бежать за рубеж с захватом самолета/корабля, ограничит возможности разведслужб Запада и сионистских центров по развертыванию антисоветской пропагандистской кампании.

В связи с вышесказанным прошу вашего согласия на разработку операции по захвату сионистами самолета/корабля с целью

угона его за границу. При этом сообщаю, что неплохие наработки в этом направлении имеются в УКГБ по Ленинградской области, которое предлагаю сделать головным в разработке и проведении предлагаемой операции.

Начальник Пятого Главного Управления КГБ при СМ СССР
Бобков

Из разговора по вертушке

– Бобков, ты?

– Я, товарищ председатель. Слушаю вас внимательно.

– Ну вот, говорил я о твоей записке. Разные мнения есть, разные. Да...

– Имеются конкретные возражения?

– Конкретные – не конкретные, но Устинов-то носом крутил: «Специалисты они хорошие, не обойтись без них!». И Громыко не так чтобы очень. Суслов, конечно – «за». Черненко «не против», только, говорит, одновременно и по диссидентам ударить надо.

– Ну, а как Сам?

– Добро дал, только дров, говорит, не наломайте.

– Так как будем, товарищ председатель?

– А так и будем, Филипп Денисович, – начинай, но смотри в оба. И два тебе условия. Самолет там надумаешь или корабль – дело твое. Только чтоб стопроцентная гарантия в смысле угона. Окажется на Западе – головы тебе не сносить.

– Понял, товарищ председатель. Что еще?

– Еще вот что. Нехорошо, когда одни евреи. Ты давай туда русских, так один к четырем. Поженим диссидентов с сионистами, сыграем свадьбу, а потом дадим им квартиру. Казенную и на-долго. Давай, действуй. Да...

Из докладных записок

Совершенно секретно

Начальнику Пятого Главного Управления КГБ при СМ СССР
т. Бобкову Ф.Д.

21 мая 1969 г.

Настоящим прошу утвердить кандидатуру гр-на Лифшица в качестве «пилота» и гр-на Путмана в качестве «руководителя» операции «Женитьба».

Лифшиц Г.Ю. окончил Саранское летное училище по специальности «штурман бомбардировщика». Уволен из ВВС в 1961 г. ввиду конфликтного характера, выразившегося в правдоискательстве и несговорчивости с начальниками и сослуживцами. После Шестидневной войны 1967 г. загорелся желанием уехать в

Израиль и начал склонять к отъезду жену Анастасию Ивановну, русскую. После отказа последней развелся с ней, оставив двух дочерей. Одержим идеей прилететь в Израиль на самолете. Рассматривал возможность построить самолет или воздушный шар, но остановился на угоне. Часто летает по разным маршрутам и заходит «поболтать» в кабину пилотов. В настоящее время пришел к выводу, что в одиночку угнать самолет не сможет. Ищет сообщников.

Путман П.И. окончил Ленинградский юридический институт в 1954 году, работал следователем в милиции. Выведен за кадры в звании лейтенанта за превышение полномочий, разглашение служебных сведений и грубое отношение к подчиненным. В настоящее время работает инженером. Под наблюдением с ноября 1966 г., когда в сговоре с другими лицами создал нелегальную антисоветскую сионистскую организацию. Членом ее руководящего органа, «Комиссариата», является с весны 1968 г. Амбициозен, болтлив, тяготеет к прожектерству.

В случае вашего согласия с указанными кандидатурами, с/с «Веня» немедленно сведет Лифшица с Путманом.

Начальник УКГБ при СМ СССР по ЛО генерал-лейтенант Носырев

Секретно

Начальнику Пятого Главного Управления КГБ при СМ СССР
т. Бобкову Ф.Д.
6 сентября 1969 г.

5 октября с.г. из лагеря № 37 в Потье освобождается з/к Жлобкин Арманд, отбывающий семь лет заключения по статьям 70, ч. I, и 72 УК РСФСР. Согласно сводкам оперуполномоченного ст. лейтенанта КГБ Прохорова, з/к Жлобкин после освобождения будет пытаться попасть за рубеж, где рассчитывает «развернуть свой талант философа и писателя». В связи с этим мы запросили экспертную оценку на Жлобкина. Эксперт, профессор А. З-в, считает, что Жлобкин является недоучкой и дилетантом; максимум, на что он может рассчитывать на Западе, это работа в какой-нибудь эмигрантской газете или на радиостанции «Освобождение».

В связи с этим предлагаю оказать Жлобкину негласное содействие в выезде за границу. В случае вашего согласия я проинструктирую оперуполномоченного ст. лейтенанта Прохорова, с тем, чтобы перед освобождением он разъяснил Жлобкину, что в СССР мы ему жить не дадим, но препятствовать его отъезду за границу не будем. Оперуполномоченный Прохоров порекомендует Жлоб-

кину поехать в Прибалтику, жениться на еврейской женщине, которая собирается выезжать в Израиль, и вместе с ней убраться, куда ему вздумается. Он также даст Жлобкину адрес в Риге с/с «Доктора», который получит соответствующие инструкции от своего ведущего.

Старший следователь по особо важным делам УКГБ по МО п/п Пугин

Совершенно секретно

Начальнику Пятого Главного Управления КГБ при СМ СССР

т. Бобкову Ф.Д.

20 сентября 1969 г.

Настоящим сообщая, что 16 сентября с.г. сек. сот. «Веня» свел Лифшица с Путманом. Путман сразу же загорелся идеей угнать самолет и принялся обсуждать с Лифшицем разные варианты. В настоящий момент они сошлись на плане угнать рейсовый самолет Ту-124 Ленинград – Мурманск. Операция «Женитьба» назначена на 1-2 мая следующего года.

24 декабря 1969 г.

Сообщая, что Лифшиц отказался от планов угона маршрутного самолета Ленинград-Мурманск, так как убедился, что не справится с управлением. Кроме того, Путман познакомил Лифшица с членами возглавляемой им сионистской группы. Согласно оперативному наблюдению, Лифшиц произвел на них плохое впечатление. В «Комиссариате» возникли разногласия между его членами, с одной стороны, и Путманом и Лифшицем, – с другой. В результате решили обратиться с запросом в Израиль через первого же члена группы, который получит разрешение.

В связи с этим мы срочно выдали разрешение с/с «Малышу», который будет действовать в Израиле в соответствии с указаниями резидента «Попа».

Начальник УКГБ при СМ СССР по ЛО генерал-лейтенант Носырев

Из распоряжений Совершенно секретно 7 января 1970 г.

Начальнику УКГБ при СМ СССР по ЛО генерал-лейтенанту Носыреву И.П.

Копия: Председателю КГБ при СМ Лат. ССР
генерал-майору Авдюкевичу В. Я.

Относительно операции «Женитьба»

В связи с тем, что «пилот» вызвал недоверие членов «Комиссариата», сексот «Веня» должен немедленно связать Лифшица и Путмана с гр-м Жлобкиным А., проживающим по адресу: г. Рига,

улица Стучки, дом № 85, кв. 12., женатым на гр-ке Рабинович О.И. и вместе с ней подавшим документы на выезд в Израиль.

Во изменение нашего прежнего распоряжения КГБ при СМ Латв. ССР должен немедленно отменить разрешение семье Жлобкин-Рабинович и дать им знать (официально и через сек. сотрудников), что они никогда из Союза не уедут.

В дополнение сообщаю, что проработки аналитического отдела показали: Жлобкин начнет вербовать угонщиков из числа сионистов в Риге, Одессе и Кишиневе /через О. Рабинович/, а так же из числа своих подельников и сосидельцев в Москве и других городах.

Начальник Пятого Главного Управления КГБ при СМ СССР Бобков

Из докладных записок

Начальнику Пятого Главного Управления КГБ при СМ СССР
т. Бобкову Ф.Д.

2 апреля 1970 г.

Настоящим сообщаю, что 29 марта с. г. на конспиративной квартире на Витебском проспекте состоялась встреча членов «Комиссариата» с Лифшицем, на которой неожиданно для нас появилось новое лицо, которое представилось «из Москвы от Гельфонда». Путман протянул ему открытку от «Малыша», в которой содержится согласие Шин Бет на проведение операции «Женитьба». Московский посланец эту открытку разорвал и бросил в лицо Путману. Начались горячие споры. В конце концов, Путман и Лифшиц поклялись, что отказываются от угона и сообщат Жлобкину, что операции «Женитьба» отменяется.

1 июня 1970 г.

Настоящим сообщаю, что 22 мая с.г. Лифшиц вызвал в Ленинград Жлобкина, чтобы обсудить новый вариант угона. 25 мая они поехали в аэропорт Смольное с целью проверить возможность захвата 12-местного самолета АН-2 на летном поле. К сожалению, местная милиция, получившая от нас сигнал, поняла так, что угон должен состояться в тот же день, и выставила дежурных с собаками. В результате, Лифшиц и Жлобкин пришли к выводу, что подобраться ночью к самолету не удастся.

Однако уже 5 июня с.г. Лифшиц снова звонил Жлобкину, попросил его приехать, обсудить третий вариант «Женитьбы». 8 июня в Ленинград прилетели из Риги Жлобкин и человек из Москвы по имени Юра. В тот же день они втроем летали из Смольного в Приозерск на АН-2. Вернувшись в Ленинград, решили остановиться на следующем варианте: Лифшиц закупает все биле-

ты на рейс Ленинград – Приозерск, мужчины садятся в аэропорту Смольное, женщины и дети выезжают в Приозерск поездом и ждут на аэродроме. Во время полета мужчины нападают на пилотов, связывают/убивают пилотов, приземляются в Приозерске, подбирают женщин и летят в шведский город Боден. Операция намечена на 15 июня с. г.

Начальник УКГБ при СМ СССР по ЛО генерал-лейтенант Носырев

Из разговоров по вертушке

– Ты что ли, Бобков?

– Я, товарищ председатель. Докладываю, завтра будем играть свадьбу. В 8.35 поднимем бокалы.

– Неожиданностей не будет?

– Расписано по нотам, стопроцентная гарантия.

– Оружие есть?

– Палки, кастеты, веревки...

– Я спрашиваю, обрез или, там, пистолеты?

– Нет... не установлено.

– Не установлено, говоришь. Значит, как договорились: взять на поле, к самолету не подпускать. В случае чего, стрельбу не открывать, брать вручную. Убьют кого из наших, дадим вышку.

– Само собой.

– Ну давай, действуй. Да...

– Але, Логинов, ты?

– Я, товарищ Андропов. Слушаю вас.

– Просьба у меня к тебе, маршал. Отмени-ка ты рейс 179 из Ленинградского Смольного в Петрозаводск. На 15 число. Там АН-2 летит. Только так отмени, чтобы посадку объявили, всех пропустили, а там дело за моими ребятами. И обязательно лично все сделай. Тихо так, спокойно.

– О чем речь, Юрий Владимирович! Прямо сейчас сделаю. Рейс 179, говорите? Из Смольного? Все записал, можете не беспокоиться.

– Ну всего тебе, Логинов. Да...

Из письма

Потьма, июнь 1974 г.

Папа, мама, здравствуйте!

В прошлом письме, которое у меня конфисковали, я писал вам о моей жизни здесь. Коль скоро я не имею права писать о своем теперешнем положении, я решил рассказать в этом письме о событиях четырехлетней давности.

15 июня мы встали спозаранку, вышли к летному полю. Еще

была ночь. Вытащил сломанную спичку из рук Толика, а это значит – спальник мешок мне не достался и, подстелив плащ, лег на землю. Вова с Ильей подогрели перловую кашу в банке и немного съели. Толик на проволоке поджаривал кусочки свиной колбасы. Естественно, что никто не подумал о водке или вине – еврейская компания!

Временами казалось, что вокруг нас за деревьями расположились другие люди: еще с вечера, прямо по колхозному полю подъехала к леску «Волга» с четырьмя мужчинами, один вышел и внимательно смотрел в сторону леса; иногда где-то, на расстоянии метров ста звучали вроде приглушенные голоса, шуршали листья. Сон был короткий, и уже в пять часов подъем. Толик сказал: «Последняя ночь на воле».

Для меня такая реплика была неожиданной: ни о чем подобном я не думал; в пределах ближайших часов мой путь был мне ясен, а дальше – как повернется. Уже через несколько месяцев на допросе я сказал следователю: я сделал все, чтобы попасть на Родину. Надо было подать документы – собрал и подал их в МВД. Отказали – жаловался в ЦК; подал еще раз, снова отказали, и снова жаловался, и только когда мне заявили в ОВИРе, чтобы на официальный выезд я не надеялся, решил добиваться любым путем. Ну, а если не получилось, что ж, я сделал все, что мне казалось возможным. Именно с таким настроением я и встал рано утром с мокрой травы, перекинулся парой слов с товарищами, и мы пошли.

Было солнечное, ласковое утро, леса и поля вокруг были зелеными и свежими, но они были чужими, и совсем ни к чему было мне это ласковое утро. Хотя ясное небо – летная погода.

Стали прибывать автобусы из города. Я был удивлен, что они шли очень часто и из них выходило много молодых мужчин.

Вот приехали из Ленинграда все остальные. Прошли регистрацию багажа. 8.35. Объявляют посадку на самолет Смольное – Приозерск. Поодиночке, по два подходим к забору и там – уже все вместе. Билеты проверяет солидный мужчина в форме ГВФ. Странно. Обычно такими делами занимаются молодые девушки. Ну, а впрочем – какая разница.

Один за другим выходим на летное поле и идем цепочкой к желто-оранжевому кукурузнику, стоящему в 50-ти метрах от входа. Я иду последним. Я бы сказал, что со стороны наша процессия должна выглядеть очень подозрительной. Мы проходим несколько шагов, и вдруг все ребята начинают поворачивать голову в мою сторону. В чем дело? Ах, да ведь нашего «пилота»

нет среди нас. Ну, это дело поправимое, он устроился чуть вдалеке от аэрокассы. Поскольку я последний, я должен его позвать — решаю я про себя. Почти бегом, но без паники, поворачиваю к выходу. Мужчина у выхода не хочет меня пропустить. Я ему говорю: «Мой товарищ задерживается, хочу его позвать». «Вы на Бокситогорск?» — спрашивает он меня. Но я не отвечаю, проталкиваюсь сквозь толпу и бегу к месту, где он сидел. Ну да! Он что-то ест. «Что же ты? Ведь уже объявлена посадка!». — "Разве? Не может быть, по расписанию еще десять минут до посадки. Странно». — «Все ребята уже садятся в самолет», — говорю я.

Он быстро собирается, идет за мной. По дороге к выходу встречаю «билетера» и весело ему кричу: «Я же говорил, что товарищ задержался, а вы не верили». На его лице удивление: «Вы на Бокситогорск?». Дался ему этот Бокситогорск. Я спешу к летному полю. У входа большая толпа. Слышу удивленные возгласы: «Дерутся?». Слышу, но не понимаю, о чем это они. Пересекаю калитку. Вдруг кто-то крепко хватается меня с двух сторон, дают подножку и кидают на землю. Голову прижали к земле, руки завели за спину и вяжут веревкой. Ах, вот в чем дело — нас выследили и арестовали: ну что же, к этому я был внутренне готов и поэтому сейчас вполне спокоен и регистрирую в памяти все, что вижу вокруг.

А вижу я — меня подняли с земли, — что на аэродроме много здоровых молодых людей. Тут же вооруженные офицеры, пограничники с собаками и автоматами, военные автобусы — подготовились старательно. Мимо меня проводят Гарика. Глаз у него начинает заплывать, по лицу сочится кровь. Все ребята в наручниках или со связанными руками стоят дальше от меня, почти у самого самолета. Внешне спокойны. Их поодиночке уводят в машины.

Меня приводят в дощатый барак диспетчерской. Сажу на стуле, рядом охрана. Чего-то ждут. Руки начинают отекать, но это ерунда. Входит старший лейтенант КГБ, двое понятых, молодые парни. Тщательно меня обыскивают. Жалкая сумма наличных — 5 р. 60 к. вызывает изумление. Наверное, думали найти тысячи. Предъявляют ордер на задержание — измена и пр. Отказываюсь подписать. Вся процедура происходит без шума, спокойно. Вдруг через окошко замечаю, что в соседней комнате сидит Арманд, курит и с кем-то бодро говорит.

Входит старший офицер. Удивлен, что я связан. Развязывает мне руки, выводит к «Волге». Никаких существенных мыслей в голове. Сажусь. По обе стороны от меня — двое; руки велят поло-

жить на колени. Едем...

Ну, вот мы и приехали, ворота захлопываются. Из передней машины выводят Илью. Высокий, в коричневом свитере, он держится непринужденно, вертит головой, что-то говорит. Иду вверх по лестнице. Длинный коридор. Двери, двери...

Наконец ввели меня в кабинет, там был следователь. Давать показаний я не захотел, и он мне сказал, что меня ждет высшая мера...

Из газет «Правда», 25 декабря 1970 г. Хроника

На днях коллегия по уголовным делам Ленинградского городского суда в открытом судебном заседании рассмотрела уголовное дело одиннадцати лиц, обвиняемых по попытке угона советского гражданского самолета.

В результате тщательного расследования дела полностью установлено, что организаторы преступления А. Жлобкин и Г. Лифшиц с конца 1969 г. активно занимались созданием преступной группы и подготовкой к разбойному захвату самолета, чтобы перелететь на нем с целью измены Родине за границу. Преступники планировали нападение на экипаж, убийство пилотов и хищение самолета. Замышлявшееся преступление пресечено советскими органами государственной безопасности.

Коллегия по уголовным делам Ленинградского городского суда, признав доказанной вину подсудимых, приговорила организаторов особо опасного государственного преступления Лифшица и Жлобкина к смертной казни. Остальные подсудимые приговорены к различным срокам лишения свободы. /ТАСС/

ЛЕВ АБРАМОВИЧ ПЛАЧЕТ*

Лето 1922 года провел я в Берлине, где завязались у меня переговоры с Соломоном Каплуном. Каплун был выходцем из России, в раннем возрасте попал в Нью-Йорк, начал там разносчиком газет, но к моменту нашего знакомства числился среди самых знаменитых нью-йоркских антрепренёров. Я рассказал Каплуну о гастролях, которые готовлю Художественному театру здесь, в Европе, он загорелся и пригласил нас к себе в Нью-Йорк. Я написал в дирекцию театра, там подумали и решили – быть европейско-американскому турне!

* Из сборника рассказов «Спектакль на всю жизнь». Издательство «О. Krylova», Прага, 2004 г.

Каплун, правда, к тому времени вернулся в Нью-Йорк, но я снесся с ним по телефону и договорился, что гастроли начнутся в январе. Пока же выписал театр в Берлин. Сажу, жду.

И вот труппа прибывает. Открываем сезон величественным "Царем Федором". "Царя Федора" сменяет элегантный "Вишневый сад", "Вишневый сад" уступает место горьковскому "На дне". И что ж? Сумасшедший успех, восторженные рецензии, полные сборы!

Из Берлина везу театр в Белград, из Белграда – в Париж. Конечно, в Белграде большая русская колония, она нас великолепно приветствовала, но Париж другое – это столица мира, покорить её дано не всем.

И ведь покорили мы Париж, честное слово, покорили!

Покорили, и, окрыленные успехом, отправляемся в Нью-Йорк. Понятно, на пароходе, понятно, попадаем в невероятную по ярости бурю, понятно, всех шатает и выворачивает. Однако ж, проходит Рождество, и вот он, долгожданный Нью-Йорк. Стоим на палубе и размышляем – что-то нас здесь ждет?

Европа, она – своя. Европейские восприятия с нашими мало различаются. А если и различаются, то мы это знаем и учитываем. Новый же Свет нам неизвестен и непонятен. Знаем разве, что вкусы его – смесь всего и вся. Вот и пойдешь, найдешь равнодействующую, если в зале и итальянцы, и славяне, и тевтонцы, и иерусалимские дворяне!

А пока с биением в сердце ждем разгрузки. Глаза ищут, ищут – неужели никто не встретит? Тут появляется Каплун. Маленький, энергичный, он первым делом предупреждает, что звать его надо Сол Кап, потом быстро все устраивает, усаживает нас в огромный блестящий автомобиль, и мы отправляемся на завоевание Нового Света.

Первым даем "Царя Федора". С трепетом поднимаю занавес, с надеждой гляжу в зал. Он полон, но речь чужая, а дума в голове мучительная – что ждет нас: облака равнодушия или лучи атлантического солнца?

Солнце! Играли мы так, что успех превзошел все ожидания. Когда занавес опустился, Каплун бросился ко мне: "Успех, успех, успех!" После громоподобных статей в газетах – это у них и есть сенсация – публика валом повалила и на "Вишневый сад", и на "Дядю Ваню", и на "Три сестры".

Но что это была за публика!

Во-первых, славянские братушки, когда-то бежавшие от российских тягот. Во-вторых, американские снобы – актеры, режис-

серы, критики – люди привередливые и опасные, от них всего жди! И верно: прошло немного времени, новизна спала, и народ в зале начал убывать. Снобы отошли, русские дань отдали и к своим делам вернулись. И только третья категория – русские евреи остались верными и неизменными нашими клиентами.

Боже мой, как эти люди любили Россию! Уж вышли все сроки – божеские и человеческие, уж давно лежали в карманах американские паспорта, уже дети изъяснялись только по-английски, но для этих людей память о России была свята. Верные русскому языку, русским обычаям, широте русской, они знакомство с русскими актерами считали за честь. Не только посещением театра поддерживали нас, но и оказывали нам тысячи всяких услуг, без которых жизнь наша была бы во сто крат сложнее. К примеру, в один день кто-то из актеров объявляет: "Господа! Такой-то магазин на такой-то улице бесплатно чистит нам платье по новейшему американскому способу". На следующий день кто-то вывешивает записку: "Нашел пошивочную, где с удовольствием согласны дать нам скидку на восемьдесят процентов". И так – каждый день!

Только Александр Степанович К. ни с кем не делился своею находкою, которая заключалась в следующем. Американцы в ту пору сидели на сухом режиме, спиртные напитки были строго запрещены. Меж тем, изрядный выпивоха, Александр Степанович от отсутствия выпивки не страдал – что ни день был подшафе. Скрывал он от нас свою тайну, скрывал, но однажды выложил все начистоту.

Оказалось, владельцем аптеки вблизи нашего отеля был русский еврей по имени Лев Абрамович. Спирт держать ему разрешалось, но выдавать его он обязан был строго по врачебным рецептом. Однако ж, узнав, что Александр Степанович – русский актер, аптекарь пошел на риск – налил змеиной жидкости "дорогому земляку". При том без всякого для себя вознаграждения. После этого Александр Степанович в аптеку зачастил и неизменно получал свое.

Продолжалось это до тех пор, пока однажды Лев Абрамович возьми и скажи:

– А ведь я, Александр Степанович, тоже хочу выпить с вами рюмочку. Захватите как-нибудь друзей, я устрою стол, мы покушаем и выпьем за Россию.

Тут-то Александр Степанович нам открылся, собрал человек пять-шесть, и отправились мы в гости к аптекарю.

Лев Абрамович оказался человеком крупным, мясистым, с лы-

синой чуть ли не во всю голову и бородой, изрядно уже поседевшей. Примечательны были и его глаза. Маленькие, глубоко посаженные, они постоянно улыбались и излучали какую-то простодушную доброту. Аптекарь был счастлив, принял нас сердечно, усадил за стол, полный русских закусок, и предупредил полупешотом, что основным блюдом будет фаршированная щука – "шедевр русской кухни".

Только он это сказал, как откуда-то выплыла его супруга, держа в руках огромную кастрюлю с этим самым "шедевром". Причесанная, накрашенная, одетая в парадное шелковое платье, она низко гостям поклонилась и поставила на стол кастрюлю.

– Как я рада, господа, что сегодня собрались все свои...

Аптекарь разлил спиртное в чайные чашки – так было положено для конспирации – и поднял первый тост: "За русское небо!" Второй был за русские леса, третий – за русских птиц, "пенье которых, – заявил аптекарь, – я люблю до слез, до сжимания сердца". Тут он стряхнул слезу и пустился вспоминать родное местечко Пуховичи, затерянное где-то в белорусской глуши.

– Ах, какие замечательные актеры к нам приезжали, какие прекрасные пьесы ставили! Помню спектакль "Фишка дер кример". Заглавную роль играл в нем сам Мориц Шлиппентох. И как играл! Я, например-таки, поверил, будто он и в самом деле кривой!

Тут встал довольно уже выпивший Александр Степанович, стукнул кулаком по столу и глубокомысленно произнес:

– Цыц! Фармацевтам и евреям разговор воссс...прешен!

Сцена открылась, что тебе в последнем акте "Ревизора". Гробовое молчание, все застыли в позах. Наконец, бедный еврей встал, закрыл лицо руками, выскочил в соседнюю комнату и уж там горько заплакал.

Мы к нему бросились, стали утешать, что, мол, это была шутка, что среди актеров такое водится и вообще – всякое в жизни бывает. Лев Абрамович плакать не перестал, и вечер окончился в глубокой печали.

По окончании гастролей театр возвращался в Европу. Грузились мы на той же пристани, под наблюдением того же расторопного Каплуна. Толпа провожающих была велика. Пришли проводить нас и горячие поклонники, и фотокорреспонденты, и другие люди, но дольше всех махал нам шляпою аптекарь Лев Абрамович.

Роман ПЕРЕЛЬШТЕЙН

ПОД ПРОСТЫНЁЙ

(азбука сновидений)

А

аэропорт

Петров стоит в аэропорту.

– Ну что, – говорю, – решил лететь?

– Да, решил.

Я ухожу домой.

Вечером я снова в аэропорту. Смотрю – Петров.

– Ты что, – спрашиваю, – еще не улетел?

– Уже улетаю.

И тут часы Петрова разбиваются. Петров смотрит сквозь очки. Он притянут к земле чемоданами. Ему и на самолет надо, и часы жалко.

– Сейчас соберу, – говорю, и некоторые детали, которые подбираю с пола, ощупываю довольно хорошо. Подношу детали к лицу и думаю об их назначении.

Смотрю – Петров уже далеко.

Я сгребая остатки часов и иду домой.

Потом смотрю, я снова в аэропорту. На чемоданах Петров.

– Ты что, – спрашиваю, – так и не улетел?

– Почему? Улетел. Разве не видишь, что я улетел?

Я оглядываюсь. Опа! Город-то уже другой.

Б

бордовые

Меня ведут через старый кирпич тюрьмы. Начальник тюрьмы говорит: «Выбирай обои себе в камеру». Передо мной какие-то мрачные засиженные тараканами рулоны.

– Вот эти хочу, – показываю на лиловые.

– А почему не эти?

Начальник показывает на бордовые. Я понимаю, что издеваться надо мной входит в его работу. Он и делает это лениво.

– Бордовые, по-моему, лучше, – так он говорит.

Когда я совершал преступление, я не знал, что надо мной будут издеваться еще и так. Если бы знал, был бы паинькой. Правда, что я совершил, я не помню. Да и какая разница. Важно, что я хочу сейчас лиловые. В них, где-то внутри цвета есть немножко надежды. А в бордовых – крысы.

В

врасплох

Это обычная пещера, но как только я туда захожу, на меня обрушивается туча стрел и топоров. Их так много, что свет только изредка взблескивает. И все эти стрелы застают врасплох какого-то человека, который и шага не успел сделать, и задуматься даже не успел, как весь оказался с ног до головы пронзен. Как будто кто-то сказал ему: «Замри»! И он замер, качнувшись вперед и немного улынувшись. Каждая из стрел что-то в нем остановила, какой-то из его порывов. И все эти порывы стали мухами в янтаре. И не было такого порыва, на который не отыскалось бы стрелы.

Г

гений

Сегодня я узнал, как умер Пастернак. Он принимал душ в ванной, и напором выбило распределительное ситечко. Пастернак растерялся – его залило водой. Он протягивал вперед руки, но ничего не видел – везде была вода. Это рассказал мне один видный литературовед. Еще он спросил, что я подарю ему, литературоведу, на день рождения? Сказал, что можно и пива. Еще сказал, у Пастернака остались две дочки – Маша и Даша, и что весь мир об этом знает. Когда струя шла через лейку, было чем дышать – струя-воздух, струя-воздух, а когда вода выбила ситечко – пошла сплошная струя, и Пастернак захлебнулся. Я немедленно это представил. То есть я представил себя Пастернаком, но так и не захлебнулся. Я пробовал по-разному, но мне все время удавалось выжить. Хотя, ведь это Пастернак. Он мог и не такое. Гений.

Д

друзья

Советский спортивный на первый взгляд магазин. Я иду за Петровым и Петровой, потому что я не к ним тогда приехал, но у них остановился. Вот они хорошие беззаботные молодожены, и мне легко с ними и пусто от чужого счастья. И я на коробке пишу поганую записку, якобы Петрову от любовницы и бросаю на мат-

рас в этом магазине спорттоваров. Отхожу. Я думаю: «Зачем?». Я возвращаюсь, чтобы уничтожить донос. Но Петров, идиот, вдруг первый подходит к матрасу, берет записку и несет жене.

– Смотри, чего я нашел.

Петрова читает, но я этого не вижу. Я уже в лыжи отвернулся. Петровы все это прочитали и дальше непонятно. По крайней мере, мы выходим из магазина.

Петров отличный парень, веселый человек и на меня он как-то дружески косится, и все думает и думает. А Петрова немного надулась и окончательно замолчала.

По дороге Петров встречает друзей. Их очень много и все они такие же веселые, правильные парни. И все что-то где-то купили, и все это несут по ужасной дороге. Я знакомлюсь с этими парнями, но мне мешает записка почувствовать радость и вообще дышать.

Е

еще бы

Я иду по Вишневого и вижу разгрызенный теннисный мяч. Небывалая удача – эти мячи разгрызает собака режиссера Германа. Я хватаю мяч, чтобы найти Германа. А вот и он со свитой. Похож на доброго бульдога. Я как бы между прочим передаю Герману мяч. Какое-то время мы идем вместе.

– Вы читали мой сценарий? – спрашиваю.

Герман останавливается. Вдруг с проворством кошки забирается на фасад особняка, и, приняв позу и форму ангела, говорит:

– Еще бы! Вы у нас где-то лежите. Да, я читал вас. Читал. Это неточно по интонации и по деталям. Вы у нас ну, где-то в накипи.

Я убит, но вида не подаю. Герман долго смотрит на меня, то ли запоминая мою реакцию, то ли давая мне отдышаться нравственно.

Ё

ёлки

Я иду по краю крутого склона. Лето, все зеленое. И вдруг из-за ёлок рядами выходят звери. Шеренга тигров, шеренга слонов, шеренга зайцев, шеренга павлинов и еще черт-те кого. Я стою в изумлении на пути этого парада. Осталось шагов десять, и тут выпадает снег. Осталось два шага – и на мне лыжи. Один – несусь по склону. Спасен!

Ж

жуть

Это дом с верандой. Одно неприятно – в дом залетает огромная ворона и садится на сервант. А пусть живет. Ворона мохнатая, как зверь, и умная. Она спрыгивает на пол, всем интересуется, но тут

откуда-то берется кот. И они с вороной выясняют у кого шире пасть. Ворона со здоровенными клыками, и кот не спешит ее загрызать. Они жуткую тишину создали перед этим то ли боем, то ли дружбой. Сверкают глазами и раскрывают пасти, показывая, сколько внутри них накоплено жестокости. И тогда я протягиваю руку и начинаю их гладить. Главное, чтобы рука поровну отдавала ласку. Как только вороне больше – кот шипит, как только коту больше – ворона шипит. Я балансирую между их умных шерстяных голов и сам всем рискую, потому что в драке этих чудовищ меня случайно разорвет на восемьдесят частей. Я стараюсь дышать ровно и гладить симметрично, но тут под моей ладонью возникает еще один кот. Белый. И мне уже нужно делить все это на троих. Ворона, кстати, не возражает, но она последняя в цепочке и на ней нельзя халтурить. Я как-то утихомирил стихии, и хорошо бы это все сфотографировать, но кто это будет делать?

З

завод

Сквозь клубы пара пробираюсь через мертвый завод. Где-то еще пышут печи, стонет железо, станок в середине завода еще бешено что-то производит, но никому это не нужно. Все живое, кривое пустилось в разврат. Рабочие водят хороводы, орут песни и гибнут в пустотах завода. Рыщут стаи революционно настроенных женщин, если ловят рабочего, сразу насилуют. Можно откупиться водкой, но где ее взять? Половину территории затопило горячей водой, тут же на станинах рожают. Огромные шары катаются по переулкам. Пьяные драки, свалки тут и там. Все ищут мало-мальски руководящее лицо, чтобы налить ему в карман горячей стали. Начались необратимые процессы: с конвейера сходят бомбы, валенки, линейки. Где все это хранить, неизвестно.

И

исход

Мы отчаянно переходим пустыню и с нами кошка. Я иду на обгон старухи. Кошка прыгает в телегу. Возница гладит кошку. Кошка млеет. Измена! Это наша кошка, а не его. Но кошка млеет. Ладно. А потом кошка отбрасывает нам туловище, а голову оставляет себе. И голова, по глазам видно, умнеет и уезжает. Умнеет, значит, кошка, а туловище... а если потеряется? Я верчу туловище и зову:

– Кис-кис!

А народ идет. Я так и отстать могу.

И тут телега голову привозит. Мы давай голову присобачивать. Но с какого же конца? А кошка умье! ну умье! без врача, вопервых, а, во-вторых, с какой стороны знает. Притиснулась голо-

вой к телу, зажмурилась, повозилась. И одним глазом думает на медицинскую тему, а другим мне радуется.

А народ идет. И я иду.

Смотрю, под ногами портфель. Кругом жара, а в портфеле холод. Когда я из него все вынул, — бумаги, камни, портфель стал еще тяжелее. Разве так бывает? И мне пришла мысль, что это мертвый портфель, и что я Моисей. И я сказал:

— Евреи, мы пришли. Мне нужен был знак, мертвый портфель.

Й

йоги

Человеку на пляже плохо, я вызываю скорую, а ее нет. Наконец, приносится, а где же человек? Я хожу, ищу его. На краю пляжа мне говорят:

— А он все погрузил в тележку, съел все свои евро и, наверное, вон туда, уехал.

От пляжа в неизвестность ведет дорога. Немного каменистая. Как же он мог уйти, он умирал! И тут не было этих скульптур. Женщин, которые занимаются то ли йогой, то ли любовью из камня. Какие-то индийские произведения неизвестно чего. Я украдкой заглядываю одной женщине между ее индийских ног, и вижу главное, и оно напоминает броню. Оно из камня, граненое, с четкими как панцирь краями. Эта ясность меня поражает и радует. Вот пример ясной формы! И, несмотря на то, что скульптура жутко изгибается и вся она змея почти, цитадель — ясна. Такими должны быть ворота храма — много дверей, ясно и четко. Я очень остаюсь доволен этой женщиной, а возлежит она перед входом в пещеру.

К

касабланка

На афише написано «Касабланка».

— Сколько стоит билет?

— Тридцать рублей и три перчатки.

Протягиваю деньги и перчатки: пару вязаных и одну кожаную. Трясу оставшейся кожаной перчаткой.

— А что мне с ней делать?

— Не мое дело, — говорит кассирша.

— Какой болван это придумал? А если бы я вообще пришел без перчаток? Хорошо, что у меня с собой две пары.

— Это не мое дело. Вы берете билет?

— Что же я зря отдал перчатки?

— Кино интересное, не переживайте.

— А у меня уже такое ощущение, что я его смотрю.

– Нет, – говорит кассирша, – оно так сразу не начинается. Сначала нужно зайти в кинозал.

Л

любовь

Петрова кричит:

– Подай патроны!

– В каком пакете? – спрашиваю.

– В печенье.

– Я залезаю в пакет с печеньем и достаю большие патроны.

– Эти?

Петрова пальцем заталкивает патроны в пулемет, улыбается и палит.

– У тебя интересная работа, – кричу я.

– Когда самолеты есть, конечно, интересная. Послушай, не самолет летит?

Я прислушиваюсь.

– Что-то гудит.

– Патроны! – кричит Петрова.

– А вот эти подойдут?

Я вынимаю из пакета газовые зажигалки. Петрова палит. Ощущение, что мы попали.

– У тебя тут уютно, – говорю, – много стекла, чистенько.

– Люблю порядок. Патроны!

– Остались только конфеты.

– Давай.

Еще что-то сбили.

– У тебя хороший пулемет, только грустный.

– Патроны!

– Авторучка подойдет?

– Давай!

– Сбили?

– Горит!

Мы ведем непонятную войну с самолетами.

– А ты любишь Тургенева?

– Спрашиваешь. Но на работе читать не могу. Патроны!

– Кончилась, Петрова.

– Позвони Сталину. Я не знаю, что делать.

Я смотрю на телефон.

– Давай подождем. Может, сам позвонит.

– Давай, – кивает Петрова. – Только слушай хорошо. Не пропусти звонок.

Я вставляю в уши фонендоскоп и прикладываю мембрану к

телефону. Прослушиваю корпус. В телефоне тихо.

– Патроны, – торопит Петрова.

– Не мешай... О! Вот здесь что-то звонит.

Откладываю фонендоскоп, снимаю трубку и слышу в трубке чье-то дыхание.

– Не дышите. Дышите. Странно, звонит, а говорить не хочет.

– Да ты ранен, – смеется Петрова.

М

мамонт

Мамонт медленно встает на ноги. Мы бежим из пещеры, но снимаем, снимаем, исследуем. Мамонт отряхивается и спрашивает:

– Че это вы тут делаете?

Кто-то кричит:

– Где мясо? Мясо! А то он съест нас!

У меня в руках миска с мясом, но я и снимаю для науки. Мамонт не такой высокий, он вроде баскетболиста, со сливами вместо глаз. Я ему по полу миску толкаю, поешь, мол, остынь. А он – пять шагов на меня доисторических. Я бегу с кинокамерой по лестнице и думаю: «Все, конец!» А мамонт спускается и насвистывает. Я тем временем задаю ему вопросы как журналист, и он отвечает.

Потом над головой в пещере телевизор, а в нем футбол. Мамонт спрыгивает в пролет и перекрывает выход. И совсем уже долговязый баскетболист. Я тогда смело к нему спускаюсь, потому что, а что же делать?

– Ну, как живешь, мамонт?

Он хлопает меня по плечу:

– В домино играешь?

И мы уже в доску свои спускаемся во двор. А там белье стирают, мелюзга на велосипедах. И все орут:

– Привет, Мамонт!

– Здорово, Мамонт!

– Как дела, Мамонт?

И мы отвечаем:

– Нормально.

Н

ноль

Я пытаюсь позвонить по тарелке с кукурузой. Нажимаю на зерна, как на кнопки телефона, и сначала все нормально. Я знаю, где семь и где три, это просто. Каждое зерно обозначает какую-то обязательно цифру. Остается нажать ноль. И вот ноль-то я найти не могу. А без него не позвонишь. Я почему-то точно знаю, что все эти зерна, и даже косточка лимона – не ноль. Мне становится

одинок. Я совершаю неприятное открытие – нельзя позвонить по тарелке с кукурузой. Нужно об этом всем рассказать. Ведь этого никто не знает!

О

они

Я лежу под простыней. К моей ноге подключены провода. Делают анализ – насколько мне плохо. Крутом ходят медсестры, но не решаются заглянуть под простыню. Я готов к этому, ведь они врачи. В палате какие-то мужики с такой же раной или болезнью. Некоторые уже танцуют. Потом приходит пожилая врач и говорит мне:

– Вообще-то у вас неправильная разбежка зубов. Мы вам будем лечить зубы и заодно косоглазие.

– А у меня косоглазие?

– Разбежка глаз неправильная. Все это связано с вашей ногой.

– Хорошо, – говорю. – Только выписывайте поскорее.

П

Петров

Открывается лифт. Стоит Петров с чемоданами.

– Петров! Где это я? За что мне это?

И все ему рассказываю про себя.

Петров с интересом начинает разделять мой ужас, и рассказывает подобные дикие истории, впрочем, мало касающиеся меня. Петров говорит, что постоянно слушает какое-то суперрадио немецкое, в котором самые последние странные происшествия и случаи. Слушал он и сегодня утром, и моего случая среди них не было. Я поражен.

– Не было? Что же, я все придумал? А может быть, мой случай еще в радио не попал?

Петров снисходительно допускает и такое.

Я рад, что снова встретился с Петровым.

– Вот я раньше писал стихи обличительные против мафии, – говорит Петров, – и не одну, кстати, мафию разоблачил. И о красоте писал просто. Был у меня такой период, понимаешь.

Я киваю. И так мы полусидим на его чемоданах. Мне даже это все нравится.

Р

разоблачение

Я играю с Петровым в шахматы и делаю неправильный ход. Вместо коня у меня кастрюлька. Кастрюлька занимает сразу несколько клеток.

Звонят в дверь. Петров идет открывать. Я залезаю под про-

стыню с головой.

Это пришла *она*. Петровы смеются в прихожей как заговорщики. Петрова заходит в комнату, а там я – под простынею. Похоже, что Петрова пьяна, потому что очень ее забавляет, что я здесь, у них под простыней. И она хлопает меня по голой ноге. Хлопает и приговаривает:

– Ух, какой ты стал толстенький!

Из-под простыни я вижу голую грудь Петровой. Потом заходит Петров.

– Ага, так вот ты где! А мы тебя везде ищем. Спишь что ли?

Я молчу. Я не хочу всего этого.

И вот Петрова открывает бельевого шкафа. Она достает оттуда письма. Мои жалкие письма. И Петровы кладут друг другу руки на плечи и громко смеются.

Одно за другим мелькают письма, и я через ее плечо пытаюсь успеть узнать то или иное письмо. Конечно, меня интересует последнее. Над ним, над ним она тоже позабавилась? Его она тоже давала читать Петрову? Но последнее письмо не попадает, и я думаю, там, под простыней, что, может быть, Петрова обманывает себя? Она любит, она уже давно любит меня, так зачем же ломать комедию?

И что здесь делает Петров?

И что здесь делаю я?

Затекла нога, чешется лоб, хочется повернуться, но тогда я выдам себя. Скорей бы они, что ли, ушли. Не могу, не могу понять, почему они так громко смеются? Ведь они прекрасно знают, что я сплю.

С

с

...и вот мы с С., и она тащит меня в кино, и там-то все и должно случиться, но что? В кино пьяные ковбои, но мы лезем в первый ряд, причем через нору, и можем вывалиться на сцену, а на сцене мужики в красных рубашках, бородатые распутинцы. В общем, грех, наверное, но не точно, может и искусство, но вряд ли, что-то стыдно. А нам с С. дозарезу нужно остаться одним. С. очень проста.

Нас хотят ковбои застрелить, особенно один, но мы не боимся, мы слишком ничего не боимся. Нас должны на счет три пристрелить, но мы вообще отчаянные. И вдруг С. тащит меня прямо к этим распутинцам на сцену, но до сцены еще далеко. Перед нами и сценой есть улица, а на улице дом.

И мы в этот дом зимний бежим, и сразу на второй этаж, и там

совершенно должны уже остаться одни, но тут к дому, я это вижу в окно, подъезжает, сначала я думаю, мусоровоз, но нет, скорая. И к нам на кровать начинают сгружать трупы. И это нас не так уж волнует, меня, но у трупов одинаковые лица, и вот это отвратительно. И какая уже любовь теперь. А С. лежит на спине, смотрит мне в глаза и вся – призыв. Но только медики уезжают, как трупы приходят в себя, и начинается откровенный пентхауз. И они нам опять мешают. А один трупик, не занятый делом, постоянно лезет ко мне с вопросом типа прикурить. Я его беру за грудки и далеко зашвыриваю, но он снова упорно мелкий лезет, и я уже замучился швырять его как плюшевое что-то. Мелкий вредоносец, он меня отвлекает. А С. уже готова на все, но тут у С. начинает вспыхивать синим трупным огнем лицо, и она сатанеет и как-то мне очень тягостно. И я давай ее почему-то хлестать по щекам, а еще этот маленький болван все время лезет, и я его готов уже не то что убить, а даже нет такой меры наказания, такой неотвязный. Я луплю по щекам С. и уже боль в ладонях, и конечно, жутко, а С. хоть бы хны! Только мертвая краска на щеках играет, пламя лижет лицо, как бы из него вырываясь, но боком, и глаз от меня ни на миг не отводит. И мои глаза тогда опускаются к ее лону. И я вижу, что это не лоно, а две дощечки холодные. И, конечно, это не похоже на гроб, но все равно совершенно не по себе. Я показываю пальцем на лоно и кричу: «Смерть!» И тут это словно отгадка всему. С. рассыпается, трупы вон исчезают, маленький тоже наконец-то отстает, а ведь именно он меня и спас, он мне все мешал с С. слиться и погибнуть... С. не выдержала того, что она смерть и выдала себя этим пламенем из лица.

Т

тревога

Ветер с соседнего дома срывает кирпичи. Кирпичи не дают мне уйти от Петровых. Мы сидим за столом и пьем компот. Река беспокойна и пароход не присылают. Ветер такой, что пароход и не пришлют. Мы все когда-то дружили, смеялись, купались, но теперь река беспокойна, ветер срывает кирпичи.

Я выбегаю от Петровых и под обстрелом кирпичей и серой пыли бегу узнать о нашей судьбе. Река беспокойна, дачники хладнокровно собирают урожай. Синоптики по телеграфу передают бурю: провода на столбах крутятся как скакалки.

И меня чуть не сбивает самосвал.

– Ты что, кретин? Смотри куда едешь!

– Это ты кретин! Мне униительно тебя объезжать, когда я резко умею тормозить и пугать тебя.

– И все же ты кретин, – говорю. – Ты видишь какая осень тревожная? И ты меня пугаешь. Нашел время.

Водитель молчит. Осень чудесно надвигается. Кирпичи летят, только успевай прищуриваться, отмахиваться и говорить себе: «Невероятно!»

У

урок

Вода прозрачна и невесома. Видно все, что творится на дне. Стебли, мусор, скамейка. Вода не то чтобы прозрачна, ее вообще нет. Ее нет, но я плыву. Я даже лечу, но руками развожу, как если бы плыл.

Я раскидываю руки в стороны, словно я орел или самолет, пробую парить, но тогда захлебываюсь, тону и снова начинаю грести. Я не пойму, почему же нужно плыть, если вода прозрачна и суха, как воздух. Нужно лететь, а не плыть. Это, наверное, все только притворяются, что надо вот так летать – подражая птице, а надо вот так – подражая пловцу.

Ф

фикция

Оглядываюсь. Вдали река бурная, а там где я иду, река только мешает. Висит туман. Я смотрю на волны и вижу что-то непонятное. Оно начинает двигаться и вдруг – довольно гигантская рыба. И я так думаю, за колено сейчас укусит. Я топаю ногой. Не пугается. Тогда я хватаю рыбу за горло и начинаю душить. Рыба вяло отбивается. Она и задыхаться не хочет и к воде интереса не проявляет. В конце концов, я доканываю ее. Кладу на песок и смотрю – не с кем радостью поделиться. Либо все на грузовиках едут, либо люди какие-то все в тумане.

И я решаю рыбу утопить. Беру, а рыба-то ненастоящая. Тюфяк какой-то. Солома. Фикция. Прямо в руках на обидные куски рвется. Не видно уже, что это большая-то рыба, непокорная.

Так, не белуга.

Х

хроника

Беженцы в тряпках. Каждый рассказывает свою историю. Я – репортер. Кругом танки и вдруг по бездорожью проезжает легковой автомобиль с открытым верхом. Я бы назвал его кабриолетом. Автомобиль заполнен водой. Вода доходит водителю до груди. А на месте заднего сиденья из воды, которая плещется и пенится, растет дерево. Небольшое, но ветвистое дерево. Карликовая сосна в кабриолете, и невозмутимый по грудь в волне во-

дитель. Все это куда-то уносится, и я думаю, надо бы запомнить. Ведь такое можно увидеть только на войне.

Ц

цифры

Смотрю – я в гостинице. Все в коврах. Смотрю – телефон.

Путаю всего одну цифру и попадаю к Петровым. Мало ли цифр на свете, а Петровы всего одни. Петрова говорит:

– Алле?

Я молчу. А Петрова говорит:

– Это ты?

Я кладу трубку на плечо. Петрова молчит в трубке...

Последнюю цифру я не ту набрал. Надо было пять, а я набрал – не пять. Я вообще не им звонил. Но Петрова затесалась в цифры. Прежде она вошла в мою жизнь, а теперь – в цифры.

Ч

ча-ча-ча

Кружу по заводу – ищу рубильник. На меня подозрительно смотрят сварщики. Одна искра отскакивает мне в прическу. Начинаются лестницы. Лестницы затоплены кислотой. Нужно бежать по широким перилам. Я сочиняю музыку. Ну, такую: «Та-та-та, та-та-та, ча-ча-ча». И чтобы ее не забыть, еще раз бегу по перилам. «Та-та-та, та-та-та, ча-ча-ча». Запомнил.

Врываюсь в кабинет. Отдел кадров дает мне перевоспитать проститутку. Мы идем с проституткой через пар, и я понимаю, что лекцией тут не отделаться. Можно открыть вечернюю школу, но где идеалы, учебники? Тем временем проститутка подсыпает яд рабочим.

– Прекрати, – говорю. – Мне неудобно, а теперь еще и страшно.

– Я не могу иначе, – отвечает. – У меня очень много яда.

За нами из цеха в цех тянутся трупы.

Ш

шнурки

В гостиницу приходит Петров. Он пьет чай, потом начинает взнуздывать ботинки. Наматывает на руку по шнурку, вбивает ногу в ботинок и изо всех сил натягивает шнурки. Он их на-смерть хочет надеть, чтобы уже никогда не надевать, никогда не снимать. Он ставит ботинки на дыбы. Черные остроносые ботинки и черные носки, при его-то белых ногах. Он что-то хочет доказать. Взнуздывает ботинки. Может быть, хочет доказать, что мы с ним уже не друзья?

Потом начинает чистить ботинки. И все становится в гуталине. Он отчаянно работает щетками. Я хожу, затираю гуталин. Этим он хочет доказать, что мы никогда и не были друзьями. Его взнузданные ботинки горят. И в этих ботинках он хочет уйти. Я открываю дверь, а там его ждет женщина. Сухая, страстная, некрасивая. Она его быстро целует. Он смущается. Он быстро смотрит на меня, и они уходят. И все становится ясно. Это его новая Петрова.

Щебень

Я пришел на поминки, а мне говорят:

– Выпей блюдце водки, разгонись на велосипеде и брось нож в кружку. Если попадешь – молодец.

И одна уже, смотрю, женщина, разгоняется бешено на велосипеде и бросает нож в кружку, и нож точно в кружке встает, как ложка, а впереди стена, и женщина еще чудом тормозит перед этой стеной – такой трюк, за который приз. Но я захожу в очень тесную квартиру. И какой там велосипед, какие ножи, но водку мне наливают в блюдце, как коту, и я думаю: «А зачем, что за дикость, и кому это надо разгоняться на велосипеде? А вдруг я кого-нибудь зарезу или убьюсь»? И водку я отказываюсь пить как-то бесповоротно. И тогда появляется Уткин. Не тот Уткин, который иногда не всегда Уткин, а тот, который Уткин совсем – от начала вот этого коридора с водкой и до конца – усатый и на велосипеде. И Уткин настаивает, чтобы я пил, а иначе, а иначе он говорит, что я его знаю. А я его уже давно не видел, Уткина, но я его, правда, знаю. Мы вместе учились, строили что-то. И вот он говорит:

– Пей, а иначе ты знаешь!

Уткин маленький, но настырный, и на этих поминках его все боятся и уважают. А некоторые хотят давно убить. И вот Уткин пристаёт к одному, чтобы тот вспомнил нашу молодость. А тот опускает голову и не помнит. Тогда Уткин высыпает ему на голову ведро щебня.

– Вспомнил?

– Нет.

Тогда Уткин берет цемент, мастерок, кирпичи и начинает замуровывать комнату. Мы из нее выходим, а он замуровывает. Уменьшает квартиру. Этот акт бессмыслен, но всем уже страшно. И я думаю: «Зачем он так живет? Чего ему не хватает?» И тогда я прячу в рот какие-то главные мелкие камни, на которых все и держится. И хочу уже их выплюнуть, но не могу.

Ъ

ять

Я приехал в деревню читать лекцию про царя. А там – Лев Толстой.

– Обычно царь носит прямые черные брюки и рясу.

Сказав это, я с опаской посмотрел на Толстого. Он закивал: «Все верно». Я продолжил:

– А царские ботинки называются, на-зы-ва-ют-ся...

– Боже царя храни! – запел Толстой.

Он спас меня. Я забыл, как называются царские ботинки, а он спас меня. Как-то на ять, а как? Затем Толстой подал знак крестьянам, чтобы они затихли, и сказал:

– Отменная лекция! Какой богатый материал и духовная подоплека!

Потом Толстой лег на сено и спросил:

– Может быть, у вас есть какая-нибудь просьба? Сами-то не пишете?

– Нет, что вы, никаких просьб!

– Жаль. Я бы помог. Могли бы вас в «Современнике» напечатать.

Ы

выход

Мы плывем на корабле. Он железный и пустой. Река широкая и посреди реки огромный ангар. Почему-то мы должны проплыть через ангар. Такое условие. Двери расходятся, и мы вливаемся внутрь, но вода тут же кончается. И мы должны издать такой скрежет! но я его не слышу. Мы уменьшаемся, потому что это какой-то не ангар, а уже подсобка магазина. Наша громада умудряется протискиваться через ящики. Мы ищем себе выход, но обрастаем переулками магазина. Я выпрыгиваю, и с одной кладовщицей, и отцом ищу дверь. Дверь есть, но она закрыта. И отец посылает меня на улицу. Я обхожу ангар снаружи, и эту дверь нахожу, и даже могу открыть ее, но зачем? Как мы поплывем по улице? Тут же машины, ларьки. Что же, наше путешествие закончилось? Вода слишком быстро куда-то исчезла. Выходит отец, смотрит на меня и отдает строгое распоряжение. Мы здорово завязли в ангаре, и отец прав, нужна строгость. Хотя, конечно, лучше бы была вода.

Ъ

местность

Я забираюсь на вершину горы, с которой должно быть видно Петрову.

Камни уходят из-под ног, я тону в них. Иду по колено в ост-

рых камнях. Я ставлю на камни чемоданы, чтобы опереться, но чемоданы тоже тонут. Черт возьми! В зубах у меня блокнот и ключи. Вдруг ветром срывает голову. Мою голову! Я почти на вершине, а голова внизу. Неужели спускаться? И Петрову уже видно. Правда, вижу я Петрову не глазами. Я и сам стою в камнях уже по пояс. Гора высока. Эта местность как-то продуманно меня обворовала, бросила здесь.

Я смотрю на Петрову, на ее домик. Кажется, Петрова машет мне.

Э

экзамен

Я – экзаменатор. Меня жутко боятся. Один поступающий растерялся, сидит и смотрит в одну точку.

– Ты че не рисуешь?

– А я потом.

– Когда потом? Пять минут осталось. Давай я тебе нарисую.

Быстро рисую ему Аполлона. Он говорит:

– У вас вот здесь неправильно.

Еще кто-то говорит:

– Не похож.

Ю

проворачиваЮ

Набираю номер, а последнего отверстия нет. Примерно упираю палец, проворачиваю. Все ту же идет, ту же, ту же, дырки-то нет, и диск выскальзывает. При этом я хорошо слышу Маргариту, которой звоню, Константиновну. Она говорит:

– Кто-то не может дозвониться. Бедный мальчик!

Я

я

Идем с матерью через новостройку и ругаемся. Мы столько обидного говорим друг другу, что это конец. Это все из-за Уткина, который стал танкистом. Уткин как-то незаметно умеет с трепетом относиться к жизни, а я нет. И мать ставит мне в вину мою черствость. А я иду через новостройку, и знаю, что я черств. И тогда я решаю уйти совсем, навсегда. Буду отшельником, буду ходить по кинотеатрам и смотреть фильмы. И пока я не помирюсь с матерью, но я никогда с ней не помирюсь, я ни с кем в мире не заговорю!

И я прихожу в тоске в большую квартиру, где много родных. Там мой отец с плоскогубцами, там братья, и какие-то маленькие дети, вероятно, мои. С отцом я тоже страшно незримо ругаюсь. Но мы не кричим. Это борьба взглядами и дыханьем. Борьба

принципов и маек.

Братья вовлекают меня в футбол. Матч идет прямо в квартире, и братья прячут куда-то ворота. Я не знаю куда забивать, они завалили ворота вещами, а сами повзрослели, и теперь я их не узнаю.

Я тогда запираюсь в ванную и начинаю плакать в живот своим детям. Это почему-то два мальчика, которых я знаю, что люблю. Они еще маленькие и я не успел с ними разругаться. Все родные едят в зале, а я плачу в ванной, я не выйду к столу. Может быть, я и есть эти мальчики. Какой-нибудь один из них. Тот, что похудее. Но это неважно, важно, что мать и отец никогда не простят меня, и я, и я никогда ...

И вот я просыпаюсь. Мне бы обрадоваться, но у меня вся душа сгорела. Мне нечем радоваться. В груди ужас тупой. Мне плохо, плохо, и плохо. Во сне мне открылась правда, и эта правда теперь не закроется. Она будет всюду...

Чтобы правды стало меньше, я сел и записал свой сон. Сзади ко мне подошел сын – поцеловал меня. Потом подошла тихо жена – поцеловала меня. Я это тоже занес в тетрадь.

Потом я прочитал им свой сон, и то, как они подошли и поцеловали меня. Они снова подошли. И сын сказал:

– И «обняли», напиши.

От редакции

Представление о творчестве гениального русского художника Василия Кандинского было бы неполным без его драматургических опытов. Предлагаемые вниманию читателей две короткие композиции для театра Василия Кандинского, лишь малая часть его интереснейшего драматургического наследия.

Василий КАНДИНСКИЙ

ВЕЧЕР.

(Я пишу. Минетка и Васька лежат тесно рядом друг с другом на стуле у печки.)

- В. По правде говоря, чем я становлюсь старше, тем противнее становятся мне люди. Какая глупая манера – лизать рукой! Когда этот тип лижет меня таким образом, я всегда чувствую себя странно.
- М. Я просто этого не позволяю.
- В. Ну, конечно! Тебя он ужасно боится, но со мной он, знаешь ли, слишком мало церемонится. И он глуп, глуп, этот тип!.. Трудно поверить. Слушай: он до сих пор думает, что когда я мурлыкаю, это означает, что я доволен!!!!..
- М. Чудная штука – люди! При этом они иногда очень хорошо понимают, что мурлыкать — значит просить.
- В. Самое противное, что у него такие сухие руки. И он хочет ими лизать. Тьфу! К лешему! Меня пробирает до мозга костей, когда я об этом думаю.
- М. Ну-ка ты! Не учись у людей этим дурацким и к тому же немецким выражениям. Безвкусица какая!
- В. Хорошо, мама... Но разреши мне немножко пососать! Хорошо? Ну, пожалуйста, пожалуйста!..
- М. Опять он ругается.

- В. Чтоб его затравил самый большой пес!
- М. Мне хотелось бы знать, в чем это его касается: но ведь ты его грудь не сосешь. Знаешь, в последний раз, когда он опять так ругался (он думает, я что-то понимаю, когда он несет свою китайщину), я тогда действительно разозлилась, а когда он начал сосать свою вонючую трубку, то я села рядом и пристально уставилась на него. Я думала, он поймет. Ничего подобного. Он только лизал и говорил, что это, однако, для меня ничего не значит.
- В. Ну и глуп же он. Однако этот тип может драться!
- М. Да-а, тут люди опасны, прямо как собаки. Тогда лучше всего — сразу на дерево. А они так же и зубы показывают. Но ты не должен бояться людей: ведь они не кусаются.
- В. Однако меня он несколько раз кусал. Честное слово, мама.
- М. (задумчиво) Нет, ведь он не собака. Во-первых, у него нет хвоста и только две лапы.
- В. Люди чудно устроены. Глаз у них почти не найти, и ночью они снимают свою шкуру. И как им это не больно!?
- М. Самое удивительное, что они не могут сидеть без стула.
- В. Мамочка, пожалуйста, скажи мне наконец, кто, собственно, мой отец? Всё-таки не этот самый человек?
- М. Фу, как тебе не стыдно! Что ты себе позволяешь говорить своей матери. Фу! Бить тебя мало! Фу! Фу! Фу!
- В. (нежно лижет М.) Прости меня, дорогая моя мамуля! Не злись! Ты никогда не хочешь мне ответить на этот вопрос, и я думал, что у тебя в прошлом...
- М. Да ничего подобного! И вообще оставь меня в покое с этими вопросами. Просто я нашла тебя в погребке.
- В. (робко) А этот красивый сосед в доме, наверху? Фриммс мне сказал однажды...
- М. Фриммс — грубый тип. Я часто плачу, когда думаю о том, что он наказание за мои грехи.
- В. А этот сосед?..
- М. Ах, оставь. Ты ведь еще не отличаешь мужчины от женщины.
- В. Да еще как!
- М. Ну?
- В. (смущенный) У кошек, пожалуй, еще нет, но у людей...
- М. (Смеется и давится от смеха) Ну... и что это...
- В. (гордо) У человека-мужчины две ноги, а у человека-женщины

только одна. Но зато очень толстая. Вот!!

M. (продолжая смеяться) Поэтому я постоянно читаю в наших романах о падении женщин. (Тихо) Странно: у нас четыре ноги и однако...

[На этом обрывается рукопись, на последней странице которой написано карандашом рукой Габриэле Мюнтер.] «Кошки Минетка и Васька в Севре / История Ка[ндинского]».

ABEND.

(Ich schreibe. Minette u. Wasska liegen dicht neben einander auf dem Stuhl am Ofen.)

W. Eigentlich je größer werde ich, desto widerwärtiger werden mir die Menschen. Diese dumme Manier mit der Hand zu lecken! Wenn mich der Kerl so leckt, wird's mir immer anders.

M. Ich erlaub's einfach nicht.

W. Ach ja! Vor dir hat er riesigen Respekt, aber mit mir geniert er sich zu wenig, weißt'd'. Und dumm, dumm ist der Kerl!..., Kaum zu glauben. Hör'mal: bis jetzt meint er, wenn ich schnurre, daß es Zufriedenheit bedeutet!!!..

M. Komische Dinge die Menschen! Dabei verstehen sie manchmal ganz gut, daß Schnurren bitten heißt.

W. Das widerwärtigste ist ja, daß seine Hände so trocken sind. Und damit will er lecken. Pfui Deibel, geht mir durch Mark und Pfennig, wenn ich daran denke.

M. Du! lerne doch nicht bei den Menschen diese blödsinnigen u. noch dazu deutsche Ausdrücke. Geschmacklos!

W. Schön, Mutter... Aber laß doch mich ein wenig an dir saugen! Ja? Bitte, bitte!..

M. Der schimpft ja wieder.

W. Hohl' ihn der größte Hund!

M. Möchte gern wissen was ihn die Sache angeht: du saugst doch nicht an ihm. Weißt du, letztes Mal, als er wieder so schimpfte (er meint, ich verstehe was, wenn er sein Chinesisch redet!) also da wurde ich wirklich böse und als er {sich zu seinem Freßtisch setzte} an seiner stinkigen Pfeife zu saugen anfang, so setzte ich mich neben ihn und fixierte ihn, weisst'du, lange fixierte ich ihn. Ich dachte, er wird es verstehen. Aber keine Spur. Er lachte nur und sagte, daß es nichts für mich ist.

W. Er ist schon dumm... Aber hauen kann der Kerl!

- M. Ach ja, da sind die Menschen gerade wie Hunde gefährlich. Da muß man am liebsten auch auf einen Baum. Und eben so zeigen sie die Zähne. Aber da brauchst du vor Menschen keine Angst haben: die beißen nicht.
- W. Mich hat er aber schon paar Mal gebißen. Auf Ehrenwort, Mutter.
- M. (nachdenkend) Nein, ein Hund ist er doch nicht. Erstens hat er keinen Schwanz und nur 2 Beine.
- W. Komisch sind die Menschen gebaut. Augen sind bei ihnen kaum zu finden und Nachts ziehen sie ihr Fell aus. Daß es ihnen nur nicht weh tut!?
- M. Am merkwürdigsten ist aber, daß sie ohne Stuhl nicht sitzen können.
- W. Mütterchen, sag doch mal bitte endlich, wer ist denn eigentlich mein Vater? Doch nicht dieser Mensch da?
- M. Pfui, schäm dich doch! So was erlaubst du dir deiner Mutter zu sagen. Pfui ! Zum Schlag und Prügel! Pfui! Pfui! Pfui!
- W. (leckt zärtlich M.) Verzeih'mir doch, liebes, liebes Mütterl. Sei nicht böse! Du willst mir immer keine Antwort auf die Frage geben, so meinte ich, du hättest was in deiner Vergangenheit...
- M. Aber doch nicht so was. Und laß mir überhaupt meine Ruhe mit diesen Fragen. Ich habe dich einfach im Keller gefunden.
- W. (schüchtern) Und dieser schöne Nachbar vom Hause oben? Frimms sagte mir einmal...
- M. Frimms ist ein grober Kerl. Ich weine oft, wenn ich denke, daß er Strafe für meine Sünden ist.
- W. Und dieser Nachbar?..
- M. Ach laß doch sein. Du kannst ja noch {keinen} Mann u. Frau nicht unterscheiden.
- W. Oh doch!
- M. Nun?
- W. (verlegen) Bei den Katzen eigentlich noch nicht, aber bei den Menschen.
- M. (lacht u. spricht kaum vor Lachen) Nun... und dies... wäre?
- W. (stolz) Der Menschenmann hat 2 Beine und die Menschenfrau nur eins. Und dafür ein sehr dickes. Da!!
- M. (immer lachend) Deswegen lese ich ja fortwährend in unseren Romanen vom Fall der Frau. (leise) Merkwürdig: wir haben doch 4 Beine und doch...

[Ende oder Unterbrechung des Manuskripts, das auf der letzten Seite von G. Münter in Bleistift wie folgt beschriftet wurde:] „Die Katzen Minette und Waska in Sevres / Geschichte von Ka[ndinsky].“

В КАФЕ.

Чечевика¹: Милостивые государи, я открываю собрание.

Н.: Я прошу слова. Хочу предложить, чтобы при открытии были упомянуты не только мужчины, но и дамы. То есть председатель должен в будущем сказать: «Милостивые государи и милостивые государи-ни».

Швунцель: Я нахожу это излишним. Мы не говорим здесь с мужчинами и с дамами, но с художниками.

Графиня фон: Да... хорошо... да... с художниками.

Официантка (входит): Что вы желаете выпить?

Чечевика: Барышня, дайте этому господину сифон. У него (показывает на Куку) головная боль.

Графиня фон: Нет, нет, не давайте ему сифона.

Куку: Я не понимаю... почему... (с высоко поднятыми бровями) у меня есть жажда...

Графиня фон: Ну пожалуйста, прошу тебя... Ты же знаешь...

Куку: Ах... я же лучше знаю.

Графиня фон: Куку, Куку, прошу тебя, нет, умоляю тебя... Ты же знаешь (что-то шепчет ему на ухо).

Куку (поднимает брови еще выше, слабым голосом): Ну хорошо, дайте мне...

Н.: Дайте ему рому.

Фуцус (глубоким голосом): Ах да! Дайте ему рому.

Куку: Нет, нет, нет... я не хочу рому.

Бэ (внезапно с яростью): Почему вы не хотите славы²? Художник ведь работает для денег, художник работает для славы!

Супротивник (Что-то ему громко шепчет): Нет, нет, вы поймите, не «ром» – славы гром. А ром, не «ром» – славы гром. А ром – пить, а не «ром» – славы гром – деньги.

Бэ (шмыгает носом): Простите, я не понял.

¹ [Кандинский составляет это имя, обозначающее художника Эрбсле, подменяя корень «Erbse» (горох) корнем «Linse» (чечевица).]

² [Каламбур с омонимами: «Rum» = ром, и «Ruhm» = слава.]

Чечевика: Да, извините. Этот идеализм бесцелен. Матисс тоже работает для славы.

Голоса: Да, ром, Матисс, «ром» - слава гром, Сезанн,... .Гог... в Бр. Штраус большой музыкант... 2 м. 50... Большой! Жена у него хорошенькая... Мы не говорим с мужчинами...

Чечевика (звонит в колокольчик): Да, милостивые государи, и... э... с робким взглядом на Молчаливого. и... что-то шепчет Молчаливому на ухо..

Молчаливый (торжественно кивает).

Чечевика: ...и государины, хочу все-таки вас просить...

Д-р Клаппманн (опуская и закрывая глаза): Мне кажется, мы только что решили, что мы здесь имеем дела не-е с дамами и мужчинами, а с художниками.

Бэ (вскакивает и кидается вон из зала).

Все: Куда? Куда? Он вышел! Я тоже выхожу! Назад! Задержите же его!

Чечевика (Кидается вслед за Бэ в дверь).

Все (смушенно молчат).

Официантка: Что господа желают выпить?

Пауза

Официантка: Что-то...

Поддакивала (требует): Принесите мне одну...

Чечевика (входя и уныло улыбаясь): Бэ сейчас придет: он не ушел... он только вышел... Он сейчас придет.

Все: Бэ очень, очень добрый человек.

Графиня фон: Он меня ужасно любит... Я хочу вам что-то рассказать. Когда я еще была маленьким ребенком 25-и лет, и мой отец каждый день четыре раза ужинал у русского царя, меня полюбил один монах. Ах, это было чудесно. Он был такой чудак.

Мюстрих: Я думал, что мы здесь по поводу собрания...

Д-р Фи: Правда, у меня нет голоса... Я только хотел сказать, что надо бы голосовать...

Чечевика: Да, милостивые госуда... хочу сказать (взглядывая на Швунцеля): милостивые художники, мы здесь заседаем.

Н.: Хорошо! Я бы хотел тут кое-что сказать о запланированной выставке. Есть некоторые...

Голоса: Это не касается дела, это излишне. Мы тоже некоторые.

Чечевика (звонит в колокольчик): Не «Некоторые» поставлены на повестку дня.

Куку (стонет).

Д-р Клаппманн (смотрит на часы и что-то шепчет Чечеvice на ухо).

Чечевика: Да, верно... Мы должны еще на летное поле... Э! Я объявляю...

Бэ (входит, шмыгает носом): Это...

Домтен (быстро входя, отодвигает Бэ, подходит к г-ну Куку, вежливо снимает шапку и громко): Господин барон, мамка пришла!

Куку (очень удивленно): Мамка?

(К.): Почему?

Домтен: Господин барон изволили велеть Чаче явиться.

Куку (изумленно молчит, затем очень мило и добродушно улыбается): Ах, я все время делаю *этот* *ошибок*. Я хотел получить чай, чай³, а не Чача.

Д-р Фи: Правда, у меня нет голоса... Это, однако, странно, что сегодня можно видеть Друсманна, где...

Хор: «Красный Велосипедист»⁴ уходит!

Фуцус (глубоким голосом): И Синий Всадник тоже.

Занавес

(Становится темно)

LOKAL.

Linsmuh Meine Herren, ich eröffne die Versammlung.

Х. Ich bitte um's Wort. Ich möchte vorschlagen, daß bei d. [er] Eröffnung nicht nur die Herren sondern auch die Damen erwähnt [werden]. D. h. der Vors. [itzende] soll {te} in Zukunft „meine Herren u. Damen" sagen.

Schwunzl Ich finde's überflüssig. Wir sprechen hier nicht mit Herren und D. [amen] sondern mit K.[ünstlern]

Gräfin v. Ja... das ist gut... ja... mit K. [ünstlern]...

Kellnerin eintretend Soll ich was zu Trinken bringen

Linsmuh Fräulein, geben Sie dem Herrn ein Siphon. Er hat (auf Kuku zeigen [d])

Kopfweh

Gräfin v. Nein, nein, geben Sie ihm keinen Siphon.

³ [Бэ произносит немецкое слово «Тее» как английское «Tea».]

⁴ [Имя экспедиционной конторы в мюнхенском округе.]

Kuku Ich versteh nicht... warum... (mit hochgezogenen Brauen) ich habe die Durst...

Gräfin v. Aber ich bitte, ich bitte dich... Du weißt doch...

Kuku Ach... ich weiß doch beßer

Gräfin v. Kuku Kuku ich bitte dich, nein, ich flehe dich an... Du weißt doch (flüstert ihm in's Ohr)

Kuku (zieht die Brauen noch höher, mit schwacher Stimme) Nu, gut, geben Sie mir...

X. Geben Sie ihm Rum.

Fuzus (mit tiefer Stimme) Ach ja! Geben Sie ihm Rum.

Kuku Nein, nein, nein... ich will nicht Rum.

Bä (plötzlich wütend) Warum wollen Sie kein Rhum [?!]! Künstler arbeitet für Geld, Kn [Künstler] arbeitet für Ruhm!

Neinsa [?] (flüstert ihm laut): nein, nein, Rum, verstehn Sie, nicht Ruhm. Rum, nicht Ruhm. Rum-Trinken, nicht Ruhm-Geld.

Bä (zieht mit der Nase) Entschuldigen Sie, ich habe nicht verstanden.

Linsmuh Ja, aber verzeihen Sie. Dieser Idealismus hat keinen Zweck. Matisse arbeitet auch für Ruhm.

Stimmen; Ja, Rum, Matisse, Ruhm, Căzanne,... Gogh in den Br [?] ... Strauß ist ein gr[ößer] Musiker... 2M,50... Groß! Sehr hübsche Frau... Wir sprechen nicht mit Herren...

Erbsmuh (klingelt) Ja, meine Herren und... äh (mit scheuem Blick zum Schweigenden) und... (flüstert dem Schw. [eigenden] in's Ohr)

Schw. [eigender] (nickt feierlich)

{Erbs} Linsmuh... und Damen, ich möchte Sie doch bitten...

Dr. Klappmann (die Augen senkend u. verdeckend) Es scheint mir, wir haben doch eben beschlossen, daß wir nicht mit Dam.[en] u. H.[erren] hierzu tun haben, sondern mit Künstlern.

Bä (springt auf u. stürzt aus dem Saal)

Alle Wohin? Wohin. Er ist ausgetreten! Ich trete auch aus! Zurück! Halten Sie ihn doch.

{Erbs} Linsmuh (stürzt hinter {dem} Bä aus der Tür)

Alle (schweigen verlegen)

Kelln. [erin] Soll ich den Herren etwas zum Trinken bringen?

Pause.

{Schw} Kelln. Sollich...

Schw. [unzl] (fordert) Bringen Sie mir eine...

Linsmuh (eintretend und verzagt lächelnd) Bä kommt gleich: Er ist nicht aus... Er ist nur ab... Er kommt gleich.

Alle Bä ist ein sehr, sehr guter Mensch

Gräfin v. Er liebt mich schrecklich... Ich will Ihnen etwas erzählen. Als ich noch ein kleines Kind von 25 Jahren war {liebt} und mein Vater bei dem russ. [ischen] Kaiser jeden Tag 4 x soupierte, so liebte mich ein Mönch. Ach, es war herrlich. Er war ein sonderbarer Kautz.

Müstrich Ich meine, wir sind hier wegen ein [er] Versammlung...

Dr. Fi Ich habe ja zwar keine Stimme... Ich wollte nur sagen man sollte abstimmen

Linsmuh Ja meine Her... ich wollte sagen (mit Blick auf Schwunzel) meine Künstler, wir sind doch hier eine Sitzung.

X. Schön! Da möchte ich etwas über die gepl.[ante] Ausstellung sagen. Es sind einige...

Stimmen Es gehört nicht zur Sache, es ist überflüssig. Wir sind auch einige

Linsmuh (klingelt) Es steht nicht auf der Tagesordnung über einige zu sprechen.

Kuku (stönt)

Dr. Klappmann (guckt auf die Uhr u. flüstert Linsmuh in's Ohr)

L.[insmuh] Ja richtig... Wir müssen noch zum Flugfeld... Äh! Ich erkläre...

{Domten} Bä (eintretend, {hinter ihm Herr Bä} mit der Nase ziehend) Es ist ein...

Domten (schnell eintretend, Herrn Bä zur Seite schiebend tritt an Herrn Kuku, nimmt höflich die Mütze ab u. laut) Herr Baron, die Amme ist da!

Kuku (sehr erstaunt) Amme?

(K.): Warum?

Domten Herr Baron haben Titi bestellt.

Kuku (schweigt betroffen, dann lächelt er sehr sanft und gutmütig) Ach, ich mache immer dieses Fehler. Ich wollte The, The haben, nicht Titi.

Dr. Fi Ich habe zwar keine Stimme... Es ist aber sonderbar, daß man {sich} noch heute Drusmann [?] sehen kann, wo es...

Chor Rote Radler geht⁵

Fuzus (mit tiefem Baß) und Blaue Reiter.

Vorhang

(es wird dunkel)

⁵ [Rote Radler: Name einer Spedition in Münchner Raum.]

Семён ГУРАРИЙ

СЮИТА ДЛЯ ШТУММКЛАВИРА

Пьеса в семи частях

Действующие лица

ЭЛ	Женщина
ЭН	Женщина
БЛИНД	Слепой мужчина
ДИХ	Мужчина
БЕХ	Мужчина
ХАРТ	Мужчина
ПУТЦ	Мужчина

ПРЕЛЮДИЯ

Жилище беженцев в неопределённой стране в неопределённое время. Заброшенная клиника или санаторий. Старые ванны приспособлены под спальные места. Одна из них загорожена занавеской. В центре стол. Бех лепит что-то из теста. Блинд пишет. Путц спит. Эл стирает.

ЭЛ Пишешь?

БЛИНД Пишу.

ЭЛ Как всегда?

БЛИНД Как всегда.

ЭЛ Обо всём?

БЛИНД Обо всём.

ЭЛ Обо мне написал?

БЛИНД Написал.

ЭЛ И про Беха?

БЛИНД И про него написал.

ЭЛ Слышишь, Бех, про тебя тоже.

БЕХ Ага.

ЭЛ Скучно сегодня... и как-то не по себе... слышишь, Блинд, может пойдём, а?... Пока ещё тихо, а то я в шуме не люб-

лю... чего молчишь?... Забыл что-ли? Сегодня твой день.
БЛИНД Зачем забыл, мой день.
ЭЛ Твой, твой... словом, если хочешь, то сейчас... А может... пропустишь?

БЛИНД Почему пропустишь? Для здоровья хорошо. Пошли!

Направляются оба за занавеску.

ЭЛ Скучный ты, Блинд, (*передразнивает*) для здоровья...

Появляется Дих. Он старается идти бесшумно, на цыпочках. В одной руке у него продолговатый чемодан, в другой мешок.

БЕХ Ага.

ДИХ Тс-с-с...

БЕХ Ага.

Путц, проснувшись, наблюдает. Дих торопливо прячет чемодан, затем начинает, уже не скрываясь, разбирать содержимое мешка.

ПУТЦ Зря старался, юноша, я всё видел.

ДИХ Что ты видел, что?

ПУТЦ Кое-что.

Путц направляется к Диху.

ПУТЦ Покажи-ка, что там?

ДИХ Тебя не касается.

ПУТЦ Всех касается!

ДИХ Повторяешь слова Харта.

Из-за занавески появляется Блинд и, постукивая палочкой, семени к столу, садится, некоторое время прислушивается, затем начинает вновь писать.

ПУТЦ Хочу и повторяю. Повторенье, оно, как говорится, мать ученья. Для некоторых. А для других, оно и видно, без всякой пользы.

Выходит Эл.

ДИХ Видно, так видно.

ПУТЦ Чего?

ЭЛ Ой, не шумите так!

ПУТЦ Как не шуметь, он опять нарушил, вон оно, наворовал сколько.

ДИХ Эй ты, не воровал я!

ПУТЦ А там чего запрятал?

ДИХ Тебя не касается, это я всё нашёл.

ПУТЦ А ты покажь, покажь! Слабó небось, ага?

БЕХ Ага.

ПУТЦ Вон оно и Бех подтверждает.

ЭЛ Ладно, не шуми ты, Путц. Займись лучше своими делами.

ПУТЦ Делами, делами... какими ещё делами? Да мне оно всё равно,

провалитесь вы со своими секретами, только меня не трогайте...

Путц идёт к своей "постели", продолжая ворчать себе под нос, ложится и отворачивается.

ДИХ *Возбуждённым шёпотом.* Представляешь, Эл, иду дворами, приглядываюсь как всегда, и вдруг... *(вспомнив неожиданно, достаёт из-за пазухи яркую косынку.)* ах, это тебе.

ЭЛ Ой, какая красивая... спасибо, Дих... ты такой внимательный.

ДИХ Да чего там, нормально это... чего там...

ЭЛ *Обнимает Диха.* Нет, ты такой ласковый, обходительный, один из всех... знаешь, если бы по-нормальному, я бы только с тобой жила.

ДИХ Говоришь только. А сама всех ублажаешь.

ЭЛ Ты хочешь меня обидеть? Разве ты не знаешь, почему я так делаю? Скажи!.. Молчишь... ты знаешь, что иначе будет ещё ужаснее в нашей ситуации...

Эл всхлипывает.

ДИХ Не плачь, я не хотел тебя обидеть.

ЭЛ Мне их жалко, мы же все люди... пока ещё... вон уже что-то с памятью случилось. Отчего бы это? Так страшно...

ДИХ А я многое ещё помню. Вот сегодня *(возбуждаясь, и переходя на шёпот)* нашёл случайно *(оглядывается...)*.

ЭЛ О чём это ты? Что нашёл?

ДИХ Немного сломано, конечно, иначе бы не выкинули в мусор, но поверь мне, это не существенно. Главное, я сразу вспомнил, что играл раньше...

ЭЛ Играл? Во что играл?

ДИХ Не во что, а на чём. Ты понимаешь, я вспомнил... хоть это и давно было, что играл, и вполне прилично, даже вроде концерты давал, как пианист... по-моему... точно не помню... во всяком случае, я вспомнил...

ЭЛ Ой, Дих, правда? Пианист? Ты?

Открывается со скрежетом дверь, входит Харт.

ДИХ Да, я вспомнил... ну, ладно, потом расскажу.

ХАРТ Говори, говори, чего потом.

ДИХ Нечего говорить.

ПУТЦ *Резво прыгивает с постели.* Ага, нечего? А ну-ка!

БЕХ Ага.

ХАРТ Врежу. Выходил?

ДИХ Что хочу, то и делаю.

ЭЛ Ребята, что я вам рассказать хочу...

ХАРТ Ещё раз спрашиваю, выходил?

ЭЛ Оставь его, Харт!

ХАРТ Не лезь не в своё дело, врежу!

БЕХ Ага.
 ХАРТ Значит выходил, сволочь! Так, хочешь нас всех....
 БЕХ Ага.
 ДИХ А почему, собственно, выходить нельзя? Кто приказал?
 ХАРТ Власти!
 ДИХ А почему?
 ХАРТ Потому! Не разрешили и всё!
 ЭЛ Случилось что? Харт, скажи.
 ХАРТ Случилось – не случилось, есть указание, значит всё!
 БЕХ Ага.
 ПУТЦ Вон Бех тоже...
 ХАРТ Заткнись, вружу!
 ПУТЦ Чуть что – вружу, да оно провалитесь вы все, хочешь как лучше...
 ХАРТ В самом деле, вружу.
 ЭЛ Харт, случилось что? Говори!
 ХАРТ Да, случилось.
 ЭЛ Ой, я предчувствовала, такой плохой день...
 ХАРТ Только без истерик.
 БЕХ Ага.
 ЭЛ Не томи, да что произошло?
 ХАРТ Слушайте все. Особенно (*Духу*) ты заруби себе на носу. В городе эпидемия.
 ЭЛ Эпидемия?
 ПУТЦ Скажи-ка, эпидемия, вот оно...
 ХАРТ Какая-то непонятная болезнь косит всех.
 ДИХ А мы то при чём?
 ПУТЦ В самом деле!
 ХАРТ При чём, говоришь? А при том, что люди считают, что эту болезнь мы, беженцы, занесли!
 ПУТЦ Скажи-ка, чуть что, беженцы...
 БЕХ Ага.
 ХАРТ А как же без виноватых. Словом, есть запрет не выходить, и мы должны ему подчиниться.
 ЭЛ Какая ерунда, у нас и больных то нет.
 ДИХ А что это за болезнь, в чём она выражается?
 БЕХ Ага.
 ХАРТ *Обходит вокруг Беха.* Вот именно – в чём? В том, что два дня... и ага-ага... как наш милый Бех.
 БЕХ Ага.
 ПУТЦ Скажи-ка, вот оно тебе и ага.
 БЕХ Ага.
 ЭЛ Что-то я о такой эпидемии в жизни не слыхала.
 ДИХ Всё равно мы тут не при чём.
 ХАРТ А ты попробуй им докажи. Они уже на митинги собираются.

ЭЛ Какие ещё митинги?

ХАРТ Такие, чтобы нас в двадцать четыре часа взащей! Ты чего же шлялся повсюду и кроме своего кубла ничего не видел?

ДИХ Да, сегодня странно было, как-то безлюдно.

ХАРТ Безлюдно! Да люди от тебя шарахались как от чумы!

БЕХ Ага.

ЭЛ А ты чего молчишь, Блинд? Ты слышал о таком? Бывало уже такое? Перестань писать!

БЛИНД Как не слышать. Было уже такое. Точно было, но не помню где и когда.

ПУТЦ Ну и что оно, чем кончилось?

БЛИНД Не помню, но дело это плохое.

ЭЛ Скажи по-нормальному, не темни!

БЕХ Ага.

БЛИНД Я и говорю, что плохое дело. Но всё пройдёт.

ПУТЦ Пройдёт оно, как же. Само ничего не проходит. Что делать-то предлагаешь?

БЛИНД Ничего не делать. Ждать. Но быть готовым бежать. В другое место.

ЭЛ Опять бежать? Куда?... Что же, всю жизнь так и бегать?

БЛИНД Так устроено. Сегодня мы бежим, завтра к нам бегут.

БЕХ Ага.

ПУТЦ Как же оно, к нам! Ты чего темнишь, слепота?

ЭЛ Как это? Ты всерьёз, Блинд?

БЛИНД Очень просто. Сегодня одни, завтра другие. Если посмотреть, на земле только беженцы и есть.

ХАРТ Хватит пороть ерунду!

ПУТЦ Чего там, пусть объяснит толком.

ХАРТ Врежу! Слушайте, мы имеем указ не появляться в городе. Следовательно, сидеть тихо, так? Надо иметь уважение к властям. Они нам дали убежище. Дали или нет?

ДИХ Подвал с ваннами.

ХАРТ Скажи спасибо и за это.

ПУТЦ За что спасибо-то? Срамота!

ХАРТ Врежу!

БЕХ Ага.

ХАРТ *Диху.* А тебя персонально предупреждаю, высунешь ещё раз нос...

ДИХ Ты один, значит, свежим воздухом дышать будешь?

ХАРТ Никто не будет. До отмены указа, ясно? Всё, мы на карантине. В конце концов, у властей есть причины нас опасаться.

БЕХ Ага.

ЭЛ Какие причины? Чего ты там надумал?

ХАРТ *Подходит ближе к Беху, обходит его.* Вот то-то и оно...

ЭЛ Ой... ой...

ПУТЦ Ну ты, оно... чего, всерьёз что-ли?
 ЭЛ Он же безобидный, правда, Бех?
 БЕХ Ага.
 ХАРТ Ага и есть ага. Ладно, посмотрим.
 ДИХ Нечего смотреть! Карантин карантином, а так каждый сам по себе. И никто не давал права...
 ХАРТ А изолировать кое-кого не мешает, ясно? Придёт комиссия, а мы чисты. Никто ни за кого не должен страдать, каждый сам по себе, так? В этом Дих прав.
 ДИХ Я не в том смысле, ты всё передёргиваешь! Я имел в виду...
 ХАРТ А я в том!
 ЭЛ Как это?
 ХАРТ Как это, как это – посуду и прочее, как в инфекционном отделении.
 ЭЛ Да как же это сделаешь в наших условиях?
 ХАРТ А мы Путца попросим, он придумает.
 ДИХ Дайте сказать...
 ПУТЦ Почему я? Чуть что оно, Путц...
 ХАРТ Врежу.
 ПУТЦ Врежу, врежу, скажи-ка...
 ДИХ А я вот что вам скажу – он и... все мы...
 ХАРТ В самом деле врежу ведь. Давай лучше, Путц, думай – как, да что... А мы пойдём отдохнуть.
 ЭЛ *Гладит Диха по голове, как ребёнка.* Успокойся, не надо...
 ДИХ Я хотел сказать, только сказать...
 ЭЛ Скажи мне.
 ХАРТ Эй, подруга, пойдём отдохнём.
 ЭЛ Ох, я устала, Харт. И потом сегодня...
 ХАРТ Вот и отдохнём, говорю.
 ЭЛ Нет, в самом деле, я не могу... иди один.
 ХАРТ *Обнимает её и насильно ведёт.* А мне с тобой хочется, милашка, мне очень хочется...

Скрываются за занавеской.

БЕХ Ага.
 ДИХ Свинство!
 ПУТЦ А когда сам? Ишь ты, оно как другие, так свинство, а самому, небось, оно всё можно.
 БЕХ Ага.
 ДИХ Свинство, одно свинство...
 БЕХ Ага.
 ПУТЦ А тебе тоже, оно видать, хочется, Бех?
 БЕХ Ага.
 ДИХ Отстань от него! Он же не понимает, чего говорит.
 ПУТЦ Как же, не понимает, такие всё понимают лучше нас. Точно, Бех?

БЕХ Ага.

ПУТЦ Видал? А он не верит, Бех, слышишь? Я говорю, хочется тебе бабу? Ну... это... *(Изображает.)*

БЕХ Ага.

ПУТЦ Слыхал? Ещё как кумекает.

ДИХ *Вытаскивает в лихорадочной спешке спрятанный чемодан, достаёт оттуда штурмклавир, раскладывает его, пробует нажать клавиши...* Свинство, свинство, сплошное свинство... прочь, прочь...

ПУТЦ А, вон оно что притаранил – диковинно... да, кто чем балуется. А всё же несправедливо оно, что Беха радостей земных лишают. Ты бы поговорил с Эл, что ей оно стоит ещё с одним повозкаться-то, ха-ха-ха...

ДИХ *Играет, нажимает клавиши без звука.* За что мне всё это? Эй, Блинд, скажи! За что?

ПУТЦ За то, что в тебе стержня нет. Весь ты расхристанный, в сомнениях. А люди, оно правильно говорят: время сомневаться, время дело делать.

ДИХ Всё не так! Время собирать камни, время их разбрасывать.

ПУТЦ Оно одно и то же. Вот взял бы, да оно с ничего и начал бы... а то всё ох, да ох, ровно дитя малое... хотя для любого *ничего* всё же *чего-то* уметь надо.

ДИХ А я что? Ничего не умею? Вот играю же.

ПУТЦ Сомневаться ты умеешь, парень, больше ничего. Вот оно твоё – и вся игра.

ДИХ Отвяжись! Я вообще у Блинда спрашивал, не у тебя. Эй, Блинд! Я у тебя спрашивал или нет?

БЛИНД Верно, спрашивал.

ДИХ Тогда ответь мне: это у меня судьба такая, всякие свинства от других глотать?

БЛИНД Судьба, как судьба.

ДИХ Это не ответ.

БЛИНД Пожить тебе ещё надо.

ПУТЦ Оно именно. Пожить, да повламывать по-настоящему. Не только всё вопросыки другим ставить. Что, да как, да почему... Ну-ка, иди лучше мне подсоби.

ДИХ Зачем это всё?

ПУТЦ Поставим перегородку для Беха. Кто оно знает, может Харт и прав. Пусть сидит за перегородкой, да агакает. Возможно это оно *(крутит пальцем у лба.)* и в самом деле передаётся. Точно, Бех?

БЕХ Ага.

ПУТЦ Он согласен, слышал? И нам оно вернее. Иди-ка сюда, мил человек, вот тебе стул, садись. Нравится?

БЕХ Ага.

ПУТЦ Будешь тут как большой начальник сидеть, в отдельном кабинете.

БЕХ Ага.

ПУТЦ Захочешь прилечь, всё рядом. Можешь и с бабёшкой в случае чего. Всё оно по желанию. Идёт?

БЕХ Ага.

ПУТЦ Только занавесочку тогда задёргивай, понял?

БЕХ Ага.

ПУТЦ Вот с ним оно просто – ага, и всё тебе. Чистый агаизм. А ты, Дих, вопросами себя растравляешь. Да и других. Думаешь у меня нет вопросов? Ещё оно сколько. Может даже поболее твоих. Или воображаешь, что мне тут нравится, в этой норе? А куда податься? Документов не дают. Да и идти некуда. Ты бы куда пошёл?

ДИХ Не знаю. Откуда родом я забыл... что очень странно...

ПУТЦ Вот и я ничего не помню. Почти ничего. Только вот в детстве что-ли много лесов вокруг было... хорошо оно так, воздух...

ДИХ А я помню только мать, лицо её, но смутно... у нас была семья... да точно это, собирались все... всегда такие сладкие запахи... это мне снится часто...

ПУТЦ А мне ничего не снится. А уж запахи тем более. Но вот оно, что мне не нравится, очень не нравится, что у нас, у всех здесь живущих, вроде бы память отшибло. Может в еду что добавляют, а?

ДИХ А может быть такое? Не верю.

ПУТЦ А почему бы нет. Всякое оно бывает. Вот станем агакать, как Бех. Им и удобно.

ДИХ Им?

ПУТЦ Ну-да, *(показывает на дверь)* им.

ДИХ Не бывать этому!

ПУТЦ Тебя оно не спросят. Эх, молодёжь, чего только не бывает. Вон спроси у Блинда.

ДИХ Эй, Блинд, помнишь ты, что было раньше?

БЛИНД Иногда помню, иногда нет. Manchmal schon, manchmal nicht.

ДИХ Станный ты, Блинд. Вроде бы и отвечаешь и нет.

БЛИНД Все странные и я тоже. Как всё вокруг.

ДИХ Как Бех?

БЛИНД Он тоже странный.

ДИХ Только странный? Не больше?

БЛИНД Немного больше. Он другой.

ПУТЦ Темнит дед. Хочет с ними под одной крышей спрятаться.

ДИХ Под одной крышей? С кем?

ПУТЦ Ну...

Выходит Харт и направляется к Диху. Тот демонстративно начинает вновь играть на штурмклави́ре.

ХАРТ Эй, Дих, дело есть.
 ПУТЦ Ты погляди, Харт, как мы Беха обустроили, по высшему уровню.
 ХАРТ Потом.
 ПУТЦ Ну вот оно, то давай делай, то потом. Глянь одним глазком!
 ХАРТ Отстань, врежу!
 ПУТЦ Врежу, врежу, других слов для меня нет...
 ХАРТ Эй, Дих, у тебе это... есть, ну... да прекрати бренчать!
 ДИХ *Восторженно.* Ты слышишь? Правда слышишь?
 ХАРТ Что я должен слышать?
 ДИХ Музыку, что же ещё!
 ХАТ У меня тут своя музыка... у тебя есть, я спрашиваю, эти...
 тьфу-ты, забыл... ну, эти... средства, чёрт побери?!
 ДИХ Какие ещё средства?
 ХАРТ Какие-какие, презервативы!
 ДИХ Нет.
 ХАРТ Врёшь ты! Продай, а то она упёрлась, и ни в какую. Эпидемия, говорит, боюсь умереть.
 ДИХ Нет у меня, сказал.
 ХАРТ Есть! Я знаю, что есть, продай!
 ДИХ Нет.
 ХАРТ Ладно... придётся ей врезать. С вами хочешь по-людски, так нет... (*Направляется назад.*)
 ДИХ Эй, на! Подавись! Может ты и в самом деле заразный.
 ХАРТ О кей, спасибо за музыку. Знал, что пожалеешь.
 ДИХ Иди, иди, любитель музыки.

Стук в дверь. Женский голос: "Откройте! Откройте!"

АЛЛЕМАНДА

ПУТЦ Кто это?

Блинд прекращает писать. Из-за занавески появляется Эл.

ХАРТ *Подходит крадучись к двери.* Может комиссия?

ЭН Откройте! Говорю вам, откройте!

Харт открывает дверь. Вбегает Эн и знаком показывает, чтобы дверь вновь заперли. Харт захлопывает дверь и задвигает засов. Эн проверяет на прочность ручку двери.

ЭН Отлично! Хорошо, что у вас дверь крепкая.

ХАРТ Простите, вы...

ЭН Я к вам.

ХАРТ Понятно. Из комиссии?

ЭН Какой комиссии?

ХАРТ По проверке выполнения...

ЭН По проверке? Да нет, я к вам, понимаете?

ПУТЦ Не очень-то, барышня-гражданка. Уточните, так сказать, с какой целью, ну, и так далее.

ЭН Как вы не поймёте, я – к вам!

ХАРТ Понимать то мы поняли, но...

ДИХ Вы отдаёте себе отчёт, где вы находитесь?

БЕХ Ага.

ЭН Конечно, отдаю. И хочу попросить у вас убежища.

ПУТЦ Убежища? У нас?

ЭН Именно. Они меня преследовали (*начинает плакать...*) издевались, угрожали... спасите меня! Прошу вас, умоляю!

ЭЛ Успокойтесь, как вас зовут?

ЭН Эн (*плачет ещё громче*),

ЭЛ А где ваши родители?

ЭН Бедные мои старики, что с ними теперь будет... но я не могла больше там оставаться, я должна была бежать, понимаете?

ПУТЦ Понимать то вроде понимаем, но почему к нам-то?

ЭН Я слышала, что у вас всё так... ну... демократично.

ЭЛ Демократично?

ЭН Да, что у вас свобода убеждений, каждый живёт и говорит, как и что хочет...

ПУТЦ Это у нас есть.

БЕХ Ага.

ЭН Вот видите! А можно мне поговорить с самым главным?.. У вас есть самый главный?

ХАРТ У нас все самые главные, все равны.

ЭН Равноправие! Я же говорила! Потрясающе! Значит, всё верно!

ПУТЦ Тихо... Она не того?

ХАРТ Также тихо. Это провокация. Карты не раскрывать.

ДИХ Какие карты?

ЭН Ну, а всё же кто-нибудь ответственный или дежурный имеется?

ХАРТ Ответственный? Ну, а как же. Это у нас – Бех.

БЕХ Ага.

ХАРТ Как же без ответственных. Он по совместительству и дежурный.

ЭН Замечательно! Значит, я могу с вами поговорить, господин...

БЕХ Ага.

ХАРТ Называйте его просто – гражданин Бех.

ЭН Конечно, конечно. Скажите, гражданин Бех, есть ли у меня шансы получить у вас убежище?

БЕХ Ага.

ЭН Ой, мне не верится. Так всё просто. Без документов?

БЕХ Ага!

ЭН У вас всё так просто. Значит, я остаюсь?

БЕХ Ага.

ХАРТ Вот видите, всё и уладилось. Больше не отвлекайте его. У него много дел

Харт задёргивает занавеску.

БЕХ Ага.

ЭН Конечно, конечно.

ХАРТ Осматривайтесь. Вот так мы и живём в демократии. Это – Путц, мастер на все руки.

ЭН Очень приятно.

ПУТЦ Да ладно, делаем, что умеем.

ХАРТ А умеем мы много. Он ещё и скромняга у нас. А это наша Эл.

ЭН Какая милая.

ХАРТ Мы её тоже любим. Все. И очень.

ЭН Ах, Харт, что за церемонии ты выдумал.

ХАРТ Почему церемонии? Эн тоже очень милая, правда, Путц?

ПУТЦ Правда, чего там...

ХАРТ Она же к нам всем сердцем. Она у нас *жить* хочет, так ведь?

ЭН Очень хочу!

ХАРТ Так что, какие там церемонии. Просто знак вежливости и гостеприимства. Наконец, наш самый юный, но очень подающий надежды. Причём, во всех отношениях.

ЭН *Кокетливо.* А в каких особенно?

ХАРТ В каких? Знаете, всё собирать и... аккумулировать, собирать... и аккумулировать.

ЭН Простите...

ДИХ Может хватит?

ХАРТ В этом сложно разобраться, но...

ДИХ В области искусства.

ЭН Теперь понятно. Энергетика, подсознание, а потом бац – и концерт! Или картина! Очень приятно познакомиться. Очень.

ХАРТ Не сомневайтесь, так и есть: бац и...

ЭН Концерт? А когда следующий?

ХАРТ Следующий? А это как мы захотим. У нас же демократия.

ЭН Как чудесно! Скажите, а кто этот дедушка? Он почему-то всё пишет.

ХАРТ Дедушка – это на первый только взгляд дедушка. На самом же деле это загадка, а не дедушка.

ЭН Здравствуйте, дедушка.

БЛИНД Здравствуйте. Блинд.

ЭН Простите, это ваше имя, или вы... и в самом деле...

БЛИНД И имя, и в самом деле.

ХАРТ Ну, и разрешите представиться, Харт.

ДИХ Харт простой и до-о-обрый житель, демократии хранитель.

ХАРТ Вот видите, у нас это запросто – стихи. По сути, у нас процветают все искусства и ремёсла. Так?

Отдёргивает занавеску к Беху.

БЕХ Ага.

ХАРТ Извините за беспокойство, гражданин Бех. Да, искусства и ремёсла. В особенности, я бы сказал, ремёсла. А в остальном живём мы скромно, без излишеств. По законам естественности и равноправия.

ЭН Это замечательно – естественность и равноправие!

ХАРТ Да, вот скажем, женщина. Она равноправна со всеми с нами, с мужчинами, потому что она – женщина, естество, природа, так сказать.

ЭН Так приятно это слышать. Настоящее джентельменское отношение.

ХАРТ И нам приятно. Особенно во время выполнения женщиной её физиологических обязанностей перед мужским сообществом.

ЭН В каком это смысле, простите?

ХАРТ В натуральном. Она выполняет свой женский долг со всеми. А мы, мужики, тоже стараемся по мере сил не отставать.

ЭН Со всеми?

ЭЛ Что за эмоции? Со всеми желающими. Вам этого пока не понять. Поживёте здесь с наше, тогда может быть...

ЭН То есть, вы... спите со всеми, с ними?!

ЭЛ Кроме вот него, Путца. Он это... ну, не может по слабости.

ПУТЦ Скажи-ка! Не нуждаюсь я, и всё тут! А то по слабости... По убеждению я!

ЭН И с гражданином Бехом?

ХАРТ О, нет, он... гражданин Бех... выше этого. Он – там. А мы простые, демократичные. Всё по согласию. Вы, кстати, тоже можете.

ЭН Что можете? Что...

ХАРТ Со всеми. Если хотите, разумеется. Или выборочно.

ЭН Я?

ХАРТ А что, собственно, такого? Вам сколько лет? По виду вполне совершеннолетняя.

ЭН Какое это имеет значение?

ХАРТ Правильно, никакого. Чем вы хуже Эл? У нас это всем разрешается. Мало того, поощряется даже.

ЭЛ Харт, оставь её.

ХАРТ Я просто объясняю, как всё у нас функционирует. Она же просит у нас убежища, не мы у неё, так ведь?

ЭН Так... я поняла в принципе... но...

ХАРТ Правильно, главное – это принципы.

ЭН Но это вовсе не обязательно, так?

ХАРТ Но в принципе возможно. В любой момент.

ЭН В любой...

ХАРТ Хоть сейчас. Без проблем. Но демократично. Кто хочет

сейчас, уважаемые граждане?
БЛИНД Можно.

Блинд встаёт и, постукивая палочкой, семенит к занавеске.

ЭН И он? С ним?

ХАРТ А в чём, собственно, дело? У нас все равны. А дед ещё что надо. Не подкачает, можете не волноваться.

Эн в нерешительности делает шаг в сторону Блинда, но неожиданно разворачивается и бежит к занавеске, за которой сидит Бех.

ЭН Гражданин Бех! Гражданин Бех! Можно войти? У меня срочное дело...

Не дожидаясь разрешения, заходит к Беху и задёргивает за собой занавеску.

БЕХ Ага.

ПУТЦ Вот это, можно сказать, да...

Все прислушиваются. Блинд возвращается к столу и продолжает писать. Из-за занавески доносится возня, возгласы "Ага" с разными характерными интонациями.

ХАРТ Эй, народ, что делать-то будем?

ПУТЦ Присмотреться надо, что да как.

ДИХ Всё это в самом деле не укладывается в голове. Просить убежища у беженцев, нет, тут что-то не то.

ХАРТ Я вначале тоже думал, что провокация. А она, пожалуй, на полном серьёзе про убежище.

ЭЛ Ой, я чувствую, добром это не кончится. А ты ещё её в постель потащил.

ХАРТ Чего её тащить, она сама, слышите? Да и Беха мы видно недооценили.

ПУТЦ Похоже на то. Вот тебе и ага.

Занавеска отдёргивается. Эн выходит под руку с Бехом. Он по-другому причёсан и с бантом на груди.

КУРАНТА

БЕХ Ага.

ЭН Торжественно. Граждане евреи, мы...

ХАРТ Какие ещё евреи?

ЭН Разве вы не евреи?

ПУТЦ Ещё чего, я их всегда терпеть не мог. Чего-чего, а уж это я помню.

ЭН Странно, все называют вас евреями. Там.

ПУТЦ Чуть-что, евреями... нет у нас таких! Может быть вот только (*показывает на Диха*) он.

ДИХ Я не помню. А что, это хорошо или плохо?

ПУТЦ Вот-вот, типичные вопросы.

ЭН Кто же вы?
ХАРТ Просто... люди, беженцы из разных мест.
ЭН Нет, нужна же какая-то определённости. И потом, беженцы
испокон веков были в основном евреями. Я вот у Беа
спрашивала, он подтверждает.
БЕХ Ага.
ЭН А чего себя стесняться, граждане евреи?
ХАРТ А в чём, собственно, дело? Никто и не стесняется. Не евреи
мы и всё!
ЭН Простите, а Беа говорит – евреи.
ХАРТ Беа, ха-ха-ха! Мало ли что он хрюкнуть может!
ЭН Хрюкнуть? Разве он не ответственный?
ПУТЦ Ответственный вот с таким приветственным.
ХАРТ Вот именно.
ЭН С каким ещё приветственным?
ХАРТ От слова привет (*крутит у виска пальцем.*)
ЭН Вот как?
ХАРТ Именно так. Вот врежу обоим, чтобы не нарушали демо-
кратию.
ЭН Я не понимаю, Беа, ты ответственный?
БЕХ Ага.
ХАРТ Беа, врежу!
ЭН Что это – врежу?
ХАРТ *подходит совсем близко и шепчет Эн на ухо.* Ха-ха-ха!
ЭН Беа, а ты можешь тоже, как это... врезать?
БЕХ Ага.
ЭН Так действуй! Врежь ему!

*Беа стремительно нападает на Харта, валит его на пол и начи-
нает его душить.*

ХАРТ Эй, ты взбесился что ли? *Хрипит.* Хватит... хва...
ЭЛ Беа, прекрати! Он его задушит!
ЭН Беа, довольно.

Беа встаёт, вытирает руки о штаны.

БЕХ Ага.
ЭН Зря вы эту возню затеяли, граждане евреи. Я ведь только
сказать хотела, что мы с Беа решили пожениться.
БЕХ Ага.
ЭН Он просто лапочка, такой милый.
ДИХ Как это пожениться?
ЭН Очень просто, создать семью.
БЕХ Ага.
ЭН Для здоровой совместной жизни.
БЕХ Ага.
ЭН Можете поздравить нас. Смелее, граждане евреи. Или вы не

рады за вашего ответственного?

ПУТЦ Как не порадоваться. От всей души, от всей души.

БЛИНД *Ощупывает грудь ЭН.* Мои поздравления.

ЭН Эй, дедуля, без рук! Кончилась твоя малина!

БЕХ Ага.

ДИХ Поздравляю.

ЭН И всего-то? А нельзя ли в стихах?

ДИХ Прямо сразу?

ЭН А чего же тянуть. Всё хорошо в своё время. А мы и послушаем. Ну, смелее... Бех и ЭН... ну...

ДИХ Бех и Эн, мы поздравляем, счастья, радости желаем.

ЭЛ Крепкой семьи вам.

ЭН Чего и вам желаю. Ну, а вы, Харт? Забудьте обиды и пожелайте нам всего хорошего.

ХАРТ *держась рукой за горло.* Желаю.

БЕХ Ага.

ЭН Ну, вот и хорошо. Знаете, я лишь весьма бегло ознакомилась с вашей жизнью. В ней, конечно, много позитивного, демократического. Но, согласитесь, демократия не есть нечто застывшее, она постоянно требует совершенствования.

БЕХ Ага.

ЭН Почему бы вам, граждане евреи, скажем, не приступить по нашему примеру к созданию семейных пар. А то, что же это получается – никакой цивилизации. Евреи же всегда были впереди.

ДИХ Это я за!

ЭН Видите, искусство не возражает.

ДИХ Я... и она (*показывает на Эл*)... словом, будет семья... точно, Эл?... Эл!

ЭЛ А что, я согласна... только как же другие?

ЭН Замечательно, это уже настоящее оздоровление. Что касается других, вам не придётся о них больше заботиться. Вы меня понимаете? Они тоже имеют возможность создать семью.

ПУТЦ Это как же?

ЭН Очень просто. Вы, как не активный мужчина, можете составить пару для гражданина Харта. Хотите формально, можно и по-настоящему.

БЕХ Ага.

ХАРТ Я с этим?! Я еще не того!

ПУТЦ Скажи-ка, с этим. Чем я хуже тебя-то?

ЭН Правильно, не надо никого обижать. У нас же демократия. Просто, Харт, у вас нет другого варианта. Вы и по возрасту подходите.

ХАРТ Да с Блиндом и то лучше.

ЭН А вот гражданин Блинд, мне кажется, несколько староват для создания серьёзной перспективной семьи.

БЕХ Ага.
ЭН Вам сколько лет, дедушка?
БЛИНД Не помню. Но помню, что много.
ЭН А о чём вы пишете?
БЛИНД Обо всём.
ЭН *подходит ближе*. Нет, это невозможно прочесть. Вы сами-то читаете?
БЛИНД Нет, не читаю. Зачем? Я пишу.
ЭН Но может быть кто-нибудь читает?
БЛИНД Никто не читает. Зачем?
ЭН Для чего же вы тогда пишете?
БЛИНД Чтобы понять всё.
ЭН Что всё?
БЛИНД Что происходит.
ЭН А потом?
БЛИНД Что потом?
ЭН Куда деваете свои записи?
БЛИНД Никуда. Пишу одно на другое.
ЭН Это же бессмыслица, бред какой-то.
БЛИНД Как есть, так и пишу.
ЭН Правильно, если жить бессмысленно. А если упорядоченно? То-то и оно. Кстати, гражданин Бех просил меня сообщить вам о его решении упорядочить жизнь граждан евреев.
БЕХ Ага.
ПУТЦ Можно вопросик?
ЭН Смелее, смелее.
ПУТЦ Только, чтобы без обиды. Всё оно бы ничего. даже это... оздоровление. Только нельзя бы без евреев?
ЭН Я вас не понимаю. Что вы хотите?
ПУТЦ Я тоже ничего сообразить не могу. Жили-жили... Откуда они взялись на нашу голову, эти евреи? Сами то вы кто? Из них что-ли? Или гражданин Бех евреем будет? Или кем...
ДИХ Да ладно тебе, какая разница. Все мы люди. Обязательно некоторым надо противопоставляться.
ПУТЦ И всё же любопытно.
ЭН *шепчет на ухо Беху, тот многозначительно кивает*.
ЭН Гражданин Бех считает, что не нужно сеять между людьми вражду.
БЕХ Ага.
ПУТЦ Да кто сеет то? Уже ничего и спросить нельзя! Да мне вообще на всё накласть! Катитесь все вы!
ЭН Что?! Ты слышал, Бех?
БЕХ Ага (*направляется к Путицу*).
ПУТЦ *Испуганно*. Да ладно, чего там... я пошутил. Кончай, Бех! Ну-ну... чего лучше делать надо? Говорите! А то всё бя-

бля, а дел нет... стоят дела... я же готов всё делать... всё, что скажут, только не бейте (*закрывает лицо руками*).
ЭН Бех, мне кажется, гражданин Путц всё понял.
БЕХ Ага.
ПУТЦ Как не понять, понял, понял... чего уж там...
ЭН Что вы бормочете себе под нос, гражданин Путц?
ПУТЦ Я? Да говорю, что делать надо что-то, чего так сидеть.
ЭН Чтобы что-то делать, нужна упорядоченность. Во всём: от принципиальных вопросов до мелочей. Начнём с документов. Куда это годится – жить без документов. Каждый еврей мог бы иметь удостоверение личности.
ЭЛ Каждый?
ЭН Потенциально каждый.
БЕХ Ага.
ДИХ А что это означает – потенциально?
ЭН А то означает, что только при условии активного участия в демократическом движении нашего общества каждый еврей получает право на гражданский документ. Скажем вы, гражданин Дих, должны вникать в происходящие события и отражать их соответственно в произведениях искусства.
ДИХ Слышишь, Эл, я теперь, наконец-то, смогу заниматься любимым делом.
ЭЛ Я так рада за тебя, Дих.
ЭН Гражданин Путц тоже мог бы свои способности по технической части для общей пользы применять, всё основательно продумывать, усовершенствовать, и так далее.
ПУТЦ Чего там, можно, конечно, если покумекать.
ЭН А вы покумекайте, покумекайте.
БЕХ Ага.
ЭН Для Эл тоже огромный диапазон работы: общепит, озеленение территории, социальная помощь.
ЭЛ Ой, только я в этом ничего не понимаю. Что это – социальная помощь?
ЭН Научитесь. Это нечто похожее на вашу прежнюю, так сказать, деятельность. А кто вы будете по профессии, гражданин Харт?
ХАРТ Не знаю, забыл.
ЭЛ Он очень сильный.
ЭН Да-да, я это успела заметить. Ну, что же, для сильных всегда открыто широкое поле деятельности. Например, смогли ли вы быть охранником?
ХАРТ Охранником?
ЭЛ Сможет, сможет!
ХАРТ Ну, положим, охранником. А что делать-то?
ЭН Как что, следить за порядком, охранять границы.
БЕХ Ага.

ХАРТ От кого? Какие границы?
ЭН Нашей территории границы. Она должна быть суверенной, чётко обозначенной географически, юридически и прочее.

ХАРТ И прочее-е-е...
ЭН Вы, я вижу снова сомневаетесь?
БЕХ Ага.

ХАРТ Просто я ничего не понимаю... ничего.
ЭН Это и не удивительно. Создание суверенитета – дело сложное, болезненное. Но у нас достаточно сил, чтобы со всем справиться. Вот гражданин Блинд, я думаю, он тоже может потрудиться для общей пользы, оформить письменно законодательство, прочие документы.

БЛИНД Можно.
ЭН А охранник? Охранник есть охранник. Ему не обязательно всё понимать, его дело выполнять приказ. Ситуация в пограничных территориях нестабильная. Могут и беженцы появиться.

ХАРТ Беженцы?
ЭН Почему бы и нет? Я же в прошлом тоже беженка, правда, пусрик?
БЕХ Ага.

Стук в дверь. Голоса: "Откройте! Спасите!..."

ЭН Ага, что я говорила?
БЕХ Ага.
ЭЛ Харт, открой!
ЭН Назад! Не открывать! Вы в своём уме?
ЭЛ Как же, там люди! По-моему даже с детьми, слышите?
ЭН Только без лирики. Нельзя пускать процесс на самотёк.
ДИХ Она права, Эл, надо подумать.
БЕХ Ага.
ЭН Вот именно, подумать. Итак, есть два решения этой проблемы: не принять беженцев мы не можем, так как у нас демократия. Но куда принять? Потесниться и всех сюда?
ПУТЦ А мы как же? И так дышать нечем.
ЭН Другой вариант – в нижний подвал.
ЭЛ Там же сыро, плесень.
ХАРТ А что у нас что-ли курорт? Ты чего, Эл?
ЭН Я вижу общество склоняется к подвалу. Что вы стоите, Харт? Действуйте! Возьмите себе на подмогу Диха, пусть набирается впечатлений.

ДИХ Я готов.
ЭН Путц, идите тоже, помогите с размещением. А Блинд пока быстренько подготовит анкеты, сможете?

БЛИНД Можно.
ЭН Нужен строгий контроль и последующий отсев.
ЭЛ Отсев?

ЭН Отсев нужен в любом деле. Кто-зачем-почему. Иначе наступает хаос.

ХАРТ Пошли, разберёмся.

ЭН С богом, граждане евреи!

ПУТЦ С богом, так с богом. Только вот с каким? С еврейским что ли?

ЭН Бог один для всех, гражданин Путц.

ПУТЦ Ага, это я вроде ещё помню.

БЕХ Ага.

ДИХ Ну, и зануда ты, Путц.

БЕХ Ага.

ЭЛ Да идите же, сейчас дверь сломают!

ЭН Вот именно, время действовать. Об остальном мы поговорим попозже.

БЕХ Ага.

ПУТЦ Да чего там, и так уж всё ясно. Яснее не бывает.

ХАРТ *открывает дверь.* Спокойно, граждане беженцы, спокойно, нет, не сюда, спускайтесь вниз в порядке очередности, нет, в порядке очередности я сказал...

Г А В О Т

То же жилище спустя некоторое время. Утро. Все спят. Раздаётся пронзительный свист. Все встают и выстраиваются в ряд. Бех наблюдает.

БЕХ Ага... ага...

Появляется Эн в спортивном костюме.

ЭН Доброе утро, граждане евреи! Начинаем утреннюю гимнастику. Музыка!

Бех включает магнитофон. Музыка ритмичная, почти без мелодии. Все повторяют нелепые движения Эн. Активнее всех Блинд.

ЭН Жизнерадостнее, граждане евреи! Вот так! Вот так!.. Теперь водные процедуры!

Водные процедуры. Строятся вновь.

ЭН Свободное время! Можете провести его внутри семьи. Отдыхайте, гуляйте, граждане евреи.

Эн берёт за руку Беха и идёт с ним по кругу. За ними Дих и Эл, потом Харт и Путц. Позади всех бодро семенит Блинд. Затем все, кроме Беха, садятся по примеру Эн за стол.

ЭН Ну, прекрасно! Сегодня, как вы все знаете, наш очередной разгрузочный день. Многие из вас выглядят уже вполне стройно и спортивно. Так что вместо завтрака приступим сразу же к деловому совещанию. Первое слово как всегда нашему ответственному.

БЕХ Ага... *(кашляет)* ага... *(пауза)* ага.

Аплодисменты.

- ЭН Приступим к обсуждению.
- ХАРТ Гражданин Бех правильно подчеркнул важность дисциплины в настоящий момент. Беженцы всё прибывают. Народ разный. Если каждый начнёт делать, что ему вздумается, всё развалится.
- ЭН А вы на что? Будьте строже.
- ХАРТ Да и так уже вчера двоим врезал. Люди странные. Всё ссорятся из-за документов. Главное им бумажку иметь. Надоели с вопросами: когда, да что... А где я им документы возьму? Блинд тянет и тянет с оформлением.
- ЭН Гражданину Блинду нелегко. Он один, без подмоги.
- ХАРТ Так пусть бы Дих помог. А то бренькает по целым дням или стишки чирикает.
- ДИХ Для тебя это бреньканье, а для меня творчество.
- ЭН А что, в свободное от творчества время, помогли бы в самом деле, гражданин Дих, гражданину Блинду. Вы же грамотный.
- ДИХ Почему я всегда на затычках? То стоять в карауле с Хартом, то таскать инструменты Путцу, теперь вот Блинду помогай. Мне ведь никто не помогает к концерту готовиться.
- ЭН Можем и вам помочь. Если надо.
- ДИХ Сам справлюсь.
- ЭН Что-то настроение ваше мне не нравится в последнее время, гражданин Дих. Может в семье какие-то проблемы?
- ДИХ Какие проблемы? Никаких проблем. Вон у Эл спросите, я... так...
- ЭЛ У нас в самом деле всё в порядке. А вот... дети беженцев... надо что-то делать! Они живут в антисанитарных условиях, в грязи, без воздуха.
- ПУТЦ Скажи-ка, без воздуха. Воздух поступает туда исправно, могу ручаться. Мы же провели вентиляцию. По всем стандартам. Им бы самим соблюдать чистоту, да порядок. Ведь каждый день ломают туалетные бачки и другую сантехнику.
- ЭН Кто ломает? Кто позволил?!
- ПУТЦ Они и не спрашивают. Чего там о поломках говорить, когда многие не желают и евреями становиться. Интересно, конечно, получается, сами к нам же пришли, и сами от нас нос воротят.
- ЭН Вот это уже никуда не годится. Предлагаю немедленно произвести опрос, и недовольных, нежелающих – выселить, или... отъединить от остальных.
- БЕХ Ага.
- ЭН Гражданин Бех лично возглавит комиссию. Правда, пупсик?
- БЕХ Ага.
- ЭН Путц и Дих пойдут с нами. А вы, Блинд завершайте с бума-

гами. Харт и Эл вам помогут.
БЛИНД Можно.

Комиссия уходит.

ХАРТ Чёрт знает что! С каждым днём я понимаю в этой жизни всё меньше и меньше. Эй, Блинд, ты чего-нибудь понимаешь?

БЛИНД Когда понимаю, когда нет...

ЭЛ Раньше так хорошо было, просто... без этих разгрузочных дней, каждый делал, что хотел, правда? Я есть хочу, ты чувствуешь голод, Харт?

ХАРТ Чувствую, очень даже чувствую... голод чувствую, только не тот. Я тебя хочу, Эл... слышишь, тебя... ты чего молчишь?... Наконец, мы одни, пойдём!

ЭЛ Ты что, Харт, я же теперь замужняя женщина.

ХАРТ Я же не требую развода. Мне уже кошмары по ночам снятся. Я больше не могу. Наверное, я сойду с ума.

ЭЛ Ну, что ты, что ты, это пройдёт. У тебя это от напряжения, от работы.

ХАРТ *подталкивает* Эл. Не знаю от чего, но чувствую, будто всё из-под ног уплывает.

ЭЛ Харт,пусти, ты меня погубишь...

Скрываются за занавеской. Блинд всё это время пишет, но прислушивается. Неожиданно прибегает Дих.

ДИХ Эй, Блинд, нужны срочно документы на вновь прибывших.

БЛИНД Там, справа.

ДИХ Вот эти?

БЛИНД Справа сказал. (*Ощупывает бумаги.*) Не эти. Вот.

ДИХ Так бы сразу и сказал. Побежал.

У самой двери Дих вдруг останавливается и замирает.

ДИХ А где... Эл и... Харт...?

БЛИНД Помогают мне.

ДИХ Помогают...

БЛИНД С бумагами.

ДИХ С бумагами? Ах, с бумагами...

Дих озирается, а затем стремительно убегает.

БЛИНД Быстро семенит к занавеске и стучит палочкой. Эй, Эл!

ЭЛ Чего тебе?

БЛИНД Тоже для здоровья надо.

Выходит Харт.

ХАРТ Врежу. Ну, дед, ну, дед...

ЭЛ Давай, только побыстрее.

Блинд скрывается за занавеской. Харт садится за стол, начинает перебирать бумаги.

ХАРТ Ну, дед и силён...

Дих появляется с железякой в руках и, крадучись, направляется к занавеси.

ХАРТ Ты чего, искусство?

ДИХ Вот ты где, сволочь! *(Бросается на Харта.)* Убью!

ХАРТ *Перехватывает руки Диха.* Спокойно! В чём дело?

ДИХ Пусти! Я убью тебя! Я всех убью, я её убью!

ХАРТ Всех? Я, например, ещё жить хочу.

Из-за занавески выходит Блинд и семенит к столу.

ДИХ И он... и он тоже... *(начинает биться в руках Харта)* убью... только хочу в начале в глаза ей посмотреть... выходи!

Выходит Эл.

ЭЛ Что ты, Дих, успокойся.

ДИХ Ты... ты опять... как ты могла... ты... убью! А-а-а!!

Вбегает Эн.

ЭН Что случилось? Что за крики? Беженцы волнуются.

ХАРТ Вот помешался, искусство... всех убить хочет.

ЭН Что это значит?

ДИХ Всех без исключения... и тебя, начальницу чёртову, в первую очередь... а-а-а...

ЭН Связать.

ХАРТ Эй, Блинд, давай верёвку, помоги.

БЛИНД Можно.

Харт с помощью Блинда связывает Диха.

ДИХ Вяжите, вяжите, ха-ха-ха... всё равно прикончу всех по очереди.

ЭН Все свободны! Можете идти вниз к беженцам. Надо работать. Бех и Путц нуждаются в вашей помощи. Я останусь с ним.

ХАРТ А не опасно?

ЭН Он же связанный, идите.

Эл пытается что-то сказать, но Харт тянет её за собой. Эн обходит вокруг Диха.

ЭН Вы бы, Блинд, отнесли бумаги вниз.

БЛИНД Бумаги? Какие?

ЭН *Не глядя, указывает.* Вон те.

БЛИНД Можно.

Блинд уходит.

ДИХ Что вылупилась? Была бы моя воля...

ЭН Была же она у тебя, воля, да ты не справился.

ДИХ Что?

ЭН Все словно помешались в этой жизни на воле. Да на надежде. На ней ещё больше. А что это такое – воля, да как с ней обходиться, мало кто знает. Она ведь кусачая, волюшка. Не каждо-

му дано её приручить. И ты не смог... и впредь не смог бы... потому что её делить ни с кем нельзя, дарить нельзя. Вот и лежишь теперь связанный, что в принципе... не так уж и плохо.

ДИХ

ЭН

Какая чушь!

Ведь ни за что не отвечаешь, дурачок. (*Гладит его по голове.*) Расскажи теперь, что случилось, мальчик ты мой. Только не волнуйся.

ДИХ

ЭН

Нечего рассказывать. Она... мне... она снова спала с ними!

ДИХ

ЭН

Ты имеешь в виду с Хартом?

И со стариком тоже...

И с Блиндом? И всего то? Тоже мне расстройство. А я то думала... давай я тебя развяжу, руки, наверное, затекли, тебе же нельзя, ты же человек искусства...

ДИХ

ЭН

Я к ней всей душой...

Ты такой утончённый человек, Дих. Скажи, когда ты играешь на клавире, что ты чувствуешь?

ДИХ

ЭН

При чём здесь это?

И всё-таки? Для меня это такая тайна.

ДИХ

ЭН

Смотря что играю.

А знаешь, когда ты играешь, я всегда чувствую такое волнение, такое волнение...

ДИХ

ЭН

Волнение?

Неописуемое волнение (*берёт руку Диха и кладёт себе на грудь*)... вот здесь... когда ты будешь давать концерт, мы все будем тебя слушать и наслаждаться... слушать и наслаждаться, боже, какие у тебя нежные пальцы, не думай об Эл, её уже не исправишь, разве она одна на свете... какой ты весь нежный... разве нет других женщин... ты должен думать только о музыке, о концерте... ты же давно мечтал...

ДИХ

ЭН

С детства мечтал. И мама моя тоже...я помню...

И мама? Ах, тебе так не хватает мамы, я тебя так хорошо понимаю, иди ко мне...

ДИХ

ЭН

Но ты же... как же Бех...

Ах, это для службы... идём скорее...

Эн увлекает Диха за занавеску. Входит Блинд, замирает, затем идёт к столу, пишет. Снизу слышны крики, из-за занавески возня. Блинд встаёт, семенит к занавеске, затем делает несколько гимнастических упражнений. Выходит Дих, за ним Эн.

ЭН

Ну, иди теперь вниз. Скажешь, что я тебя простила.

Дих протягивает Эн руки.

ЭН

Что ты, пупсик?

ДИХ

Во-первых, я не пупсик. А во-вторых, я не хочу вниз. Не могу. Свяжи меня снова.

ЭН

Связать?

ДИХ Это будет для меня лучше... ты права, я не умею быть свободным.
ЭН Ах, ерунда, не принимай всё близко к сердцу.
ДИХ Нет-нет, ты истину сказала. Я всё понял.
ЭН Ничего ты не понял, истины вообще не существует... и связывать тебя не надо, пупсик... да, не спорь, ты – пупсик для меня... иди, иди, не надо связывать, мы и так все связаны, и не верёвкой, а покрепче, иди... и думай о концерте...

Дих уходит, оглядываясь. Эн замечает Блинда.

ЭН А, гражданин Блинд. Вы уже вернулись? Какой вы, однако, старательный. Это хорошо. Много ещё работы внизу?

БЛИНД *протягивает Эн бумагу.* Много.

ЭН Что это?

Эн вертит пустую бумагу. Блинд подходит сзади и обнимает Эн.

БЛИНД Документ.

ЭН Эй, *(отталкивает Блинда)* только без рук!

БЛИНД Для здоровья нужно.

ЭН Перебьёшься, дедуля.

БЛИНД Расскажу Ага.

ЭН Что такое? Грозить?

БЛИНД Почему Диху можно? Расскажу. Всем расскажу. Пойдём.

ЭН Да что ты там можешь ещё, дед?

БЛИНД Пошли, понравится.

ЭН Ты так уверен?

БЛИНД Всем нравится.

ЭН Ладно, только быстро.

БЛИНД Можно быстро. По-разному можно.

Уходят за занавеску. Слышны стоны Эн. В это время вбегают один за другим Эл, Путц, Дих, Харт.

ПУТЦ Дверь! Дверь закрывай!

ЭЛ Они ломают, вот увидите, их столько много!

ХАРТ Не ломают, дверь железная. А позже ещё один замок врежем. Но и с одним она пока выдержит.

Никем не замеченный, Блинд семенит к столу. Выходит Эн.

ЭН В чём дело?

ПУТЦ Они напали на нас. Вон Харта ударили, а Беха... это...

ЭН Говори, что значит – это... Где Бех? Бех?! Что вы молчите? Где наш ответственный?

ХАРТ Ответственный ответил за всех нас.

ЭЛ Нет его больше, убили его...

ПУТЦ Чего им надо? Всё для них делали, что могли.

ЭН Убили... убили, за что?

ПУТЦ Вот и я говорю, чего им надо?

ЭН Как же... он там остался? Один лежит среди... них?

ХАРТ Один, да не совсем один. Думаю, что ещё кое-кто рядом с ним ноги протянул, пришлось пару раз врезать...
ЭН Разве нельзя было с ними договориться по-мирному?
ЭЛ Пытались, но...
ПУТЦ Они и слушать не желают, будто с цепи сорвались.
ЭН Чего же им надо?
ДИХ Справедливости!
ПУТЦ Чего же ещё...
ХАРТ Надо было с самого начала кое-кому врезать. Для остротки.

Стук в дверь, шум, крики.

ПУТЦ Скажи-ка, орут как. Ну, дверь, положим, они не сорвут. Укреплена по всем стандартам. Можете быть уверены, сам делал.
ЭЛ Но так неприятно жить в опасности.
ПУТЦ Да уж, ничего хорошего.
ХАРТ Только без паники. Ветер воет, но за окном. Держаться надо вместе... теперь. А они утихнут со временем.
ЭЛ Вместе, это правильно.
ЭН Что же делать? Нельзя же всё пустить на самотёк.
ПУТЦ Да уж. (*Блинду*) Перестань скрипеть, тебя тоже касается это!
БЛИНД *перестает писать*. Бежать надо.
ЭЛ Бежать? Снова бежать?
ПУТЦ А чего, я согласен. Пока не поздно, надо драть отсюда.
ЭН Гражданин Блинд прав, надо бежать... наверное, прав...
ЭЛ От кого мы всё бегаем? И куда?
ХАРТ В самом деле, куда бежать-то, Блинд?
БЛИНД Отсюда.
ПУТЦ Это ясно, что отсюда. А куда? Дорогу знать надо.
ЭН Гражданин Блинд знает дорогу. Я чувствую, правда, пупсик?
БЛИНД Чувствуешь правильно, но я не знаю.
ЭН Как не знаешь?
БЛИНД Знать дорогу – это не главное.
ЭЛ Что же тогда главное?
БЛИНД Вовремя уйти.
ЭН Предлагаю выбрать его ответственным.
ХАРТ Я за! Старик ещё куда там... дельный.
ПУТЦ Чего там медлить, выбрали и за дело. Собираться надо!
ЭЛ А может они вовсе и не сильнее нас... может попробуем договориться?... Бежать так сразу?
ХАРТ А чего тянуть.
ДИХ Постойте! А как же концерт?
ХАРТ Какой ещё концерт? Врежу.
ПУТЦ Ты чего, поехал что ли? И так с дорогой не всё ясно, плутать придётся.
ДИХ Я же готовился, я же столько готовился!
ПУТЦ Скажи-ка оно, готовился. Все готовились, кто к чему. Не ты

ДИХ один.
 ДИХ Значит концерт не состоится? Значит всё напрасно? Блинд, скажи! Ты же теперь ответственный, значит напрасно?
 БЛИНД Может напрасно, а может нет.
 ДИХ Не понял.
 БЛИНД От человека зависит.
 ДИХ От какого человека? От меня что ли? В самом деле от меня? Ничего не понимаю. Эн! Ты тоже молчишь?
 ЭН Я? Почему я должна что-то говорить? Сейчас не до музыки.
 ДИХ Ты же мне обещала... Она мне обещала! Вы все мне обещали... как же так жить можно? Ничего ведь не сбывается...
 ХАРТ Вот врежу, так сразу сбудется.
 ДИХ Ты!.. Солдафон!
 ХАРТ Он мне уже надоел...
 ЭЛ Не ссорьтесь! Пусть... Дих сыграет.
 ПУТЦ Скажи-ка, разжалелась.
 ЭН А что, граждане евреи, в самом деле, пусть сыграет. Всё равно же уходим отсюда. Прощальный, так сказать, концерт. И Беха помянем музыкой, правда? Скажи, пупсик, можно?
 БЛИНД Нужно.
 ХАРТ В каком это смысле – нужно? Мне лично ни в каком не нужно.
 БЛИНД Всем нужно. Чтобы не умереть.
 ХАРТ Это ты хватил, дед. Какие-то новые истины открываешь.
 БЛИНД Старые истины. И не открываю. Спрятать хочу.
 ХАРТ Спрятать?
 БЛИНД Истину лучше не знать. Опасно.
 ПУТЦ Да чего спорить-то. Играть, так играть. А то договоримся сейчас до ерунды.
 ХАРТ Только не очень долго.
 ДИХ Не очень? Совсем не долго? Сейчас... сейчас, садитесь все сюда, нет-нет, вот так...
 ЭЛ Сюда?
 ДИХ Нет, вот сюда.

Дих вытаскивает штуммклавир, устанавливает его суетливо, оглядывает тревожно слушателей.

ДИХ Для артиста важен контакт с публикой... так, хорошо... теперь дело за музыкой... Сарабанда! (*берёт первый аккорд*)

САРАБАНДА

ПУТЦ *Встаёт.* Кто были твои предки?
 ЭН *Встаёт.* Кто были твои предки?
 ХАРТ *Встаёт.* Кто были твои предки?
 БЛИНД *Встаёт.* Кто были твои предки?

ЭЛ *Встаёт.* Кто были твои предки?

ХАРТ Повернись ко мне, я тоскую тоже осенью глухой.

БЛИНД Камень упал на кувшин – горе кувшину. Кувшин на камень упал – горе кувшину.

ЭЛ Кто были твои предки? Повернись ко мне – камень упал на кувшин.

ПУТЦ Горе кувшину, я тоскую тоже осенью глухой.

ЭН Повернись ко мне, я тоскую тоже осенью глухой. Горе кувшину.

ХАРТ Камень упал на кувшин – кто были твои предки?

БЛИНД Горе кувшину – повернись ко мне.

ЭЛ Камень упал на кувшин – повернись ко мне.

ПУТЦ Chi fur li maggior tui? Chi fur li maggior tui?

ЭН Горе кувшину... горе кувшину... горе кувшину... повернись ко мне.

ХАРТ Wer waren deine Ahnen, du sollst wissen...

БЛИНД Я тоскую тоже осенью глухой, du sollst wissen, Chi fur li maggior tui?

ЭН Повернись... тоскую... горе... предки...

ЭЛ Tu dei saper, du sollst wissen, ты должен знать.

ПУТЦ You must know, ты должен знать, tu dei saper, wer waren deinen Ahnen.

БЛИНД Кто были твои предки – повернись ко мне, я тоже... осенью глухой, тоже тоскую... тоже горе мне... тоже упал... тоже были предки... тоже должен знать.

ХАРТ Ты должен, ты должен, you must know, du sollst wissen, tu dei saper.

ЭЛ Wissen... wissen...

ПУТЦ Wissen, know...

ЭН Know... know, know!

БЛИНД Знать, знать, saper, saper...

ХАРТ Знать!

ЭН Saper!

ЭЛ Know!

ПУТЦ Знать!

БЛИНД Wissen?

Все медленно движутся вокруг играющего Диха. Говорят вместе, слов разобрать нельзя. Потом постепенно вырисовывается определённый ритмический рисунок. Все выкрикивают одновременно лишь одно слово: "Знать!" Дих прекращает играть и кричит, зажимая уши.

ДИХ Всё! Всё! Перестаньте! Сарабанда кончилась! Всё! Нет больше сарабанды! Заткнитесь! Заткнитесь, я сказал! Похо- ронили... Теперь – Ария! А-ри-я! Кто хочет исполнить Арию?

Все неожиданно смолкают и застывают в оцепенении. Дих выскальзывает из круга.

АРИЯ

ДИХ Тогда я сам. Слушайте и запоминайте, вы – публика! Сначала скажем о возможном и невозможном. Если одна из противоположностей может существовать, то может показаться возможным и другая противоположность, например, если возможно для человека выздороветь, то возможно и заболеть, ибо одна и та же возможность способность. относится к противоположностям, в чём они и противоположны. И если возможно одно подобное, то и другое подобное ему возможно. И если возможно более трудное, то возможно и более лёгкое. И если что-нибудь может возникнуть в хорошем и прекрасном виде, то оно вообще может возникнуть, ибо труднее быть хорошему дому, чем просто дому. Возможно также начало того, конец чего возможен, ибо всё возникает с начала... вначале... мама, как её звали – Эл... Эн... дуновение начала... свет мерцание... вальс... тлеющий горизонт в ночи...

едва лишь уловимое дыхание богини:

листва, сверкнувшая в вальсочке...

ловушка тлевшей безголосой дали...

едко пьянящий туман

никчемными мольбами опутывал

нагую ночь...

ересь апреля:

лукавый воздух тёмных звуков

лишал и шорохи и тени

единства миража прозрачности

напрасны клятвы и ни к чему

нюансы наготы...

естественный разрыв аккорда:

лоск черноты – будь счастлив?

ледник кряхтит и в сумасшедшей фуге

египетский свой голос потерять готов чтоб

ненароком не утащить тебя

на дно... нет... не тебя... её... всех вас...

Дих бормочет про себя в самозабвении. Вытаскивает одну клавишу и протягивает её Путцу, затем по очереди раздаёт клавиши остальным. Круг распадается. Все обступают Диха, рассматривают клавиши.

ДИХ И если случилось то, что по естественному ходу вещей обыкновенно случается после, то случилось и предыдущее, например, если кто-нибудь что-нибудь забыл, то некогда он

ЭЛ это знал... (*обращается к Эл*) если ты забыла...
 Я не забыла.
 ДИХ Ты ничего не забыла.
 ЭЛ Я ничего не забыла.
 ДИХ И никогда не забудешь.
 ЭЛ Сначала он ударил, а потом ты его ударил, я видела.
 ДИХ Это невозможно забыть.
 ЭЛ Невозможно.

ЖИГА

ХАРТ О чём ты? Кто ударил кого?
 ЭЛ Он – Беха...
 ПУТЦ Скажи-ка, а нам тут голову морочил музыкой.
 ХАРТ Да никакой музыки и не было. Лично я не слышал ни одного звука. А Беха, значит, пришлёпнул. Вот тебе и искусство. Говорил, надо было ему врезать.
 ДИХ Что касается того, что будет, то здесь дело, очевидно, из того же самого: будет то, что для нас возможно и чего мы желаем, и то...
 ЭН Молчать!
 ДИХ Я не могу молчать, ещё Жига не до конца...
 ЭН А я говорю: мол-чать! Значит, ты, Эл, видела?
 ЭЛ Теперь я не уверена...
 ПУТЦ Чего там оно, скажи, если видела.
 ХАРТ Говори, не бойся. В случае чего...
 ЭЛ Я в самом деле не уверена, что он... убил, но ударил, это я видела, Бех упал, а потом и остальные набросились...
 ПУТЦ Когда мы уже подскочили, Бех конченный был. Такое там творилось. Сами еле ноги унесли.
 ХАРТ Если бы вовремя врезали...
 ЭЛ Замолчи!.. Только ударить, врезать, убить... Один ударил, другой ответил, столько злости, что же мы не люди?... И всё в каком-то беспамятстве...
 ЭН Что за бормотанье?! Нам нужны факты!
 ЭЛ Факты? Пожалуйста. Сначала Бех пнул ногой ребёнка. Со всей силы...
 ЭН Какого ещё ребёнка?
 ЭЛ Обыкновенного ребёнка. Беженца. Он мешал ему пройти. Потом Дих ударил Беха, потом... я не могу больше этого выносить... наверное, мы уже не люди... мы выродились... не отличаем детей от...

Стук в дверь усиливается.

ДИХ Слушайте Жигу дальше!

Дих играет на штурмклавире, словно управляет нарастающим

стуком в дверь.

БЛИНД Идти надо. Время.

ХАРТ А этому (*показывает клавишей на играющего Диха*) не врезать?

ЭН Я бы врезала, из-за таких всё разрушается. Создаёшь, создаёшь, а они... (*швыряет клавишу*)

БЛИНД Идти надо (*семенит к Диху и кладёт клавишу с ним рядом.*)

ЭЛ А может останемся? Не так уж всё плохо. Попытаемся с ними договориться. Они же тоже люди...

ХАРТ Вроде люди, (*швыряет клавишу о дверь.*) да не евреи.

ЭЛ Какая разница? Останемся, а?

ПУТЦ А мы-то сами (*обдумывает, затем прячет клавишу за пазуху.*) теперь не евреи больше, так ведь, Блинд?

БЛИНД Когда как. Когда евреи, когда нет.

ХАРТ А всё же?

БЛИНД Для других мы – евреи, а для себя как хотите.

ПУТЦ Я так и не понял, хорошо это или плохо – быть евреем.

ХАРТ Это что же, навсегда?

БЛИНД Навсегда.

ПУТЦ Скажи-ка, навсегда... оно непонятно.

БЛИНД Ненавидеть удобно.

ПУТЦ Всё оно непонятно, да ладно.

ЭН Пошли! Время!

ЭЛ Нет, лучше останемся и попытаемся начать всё с начала! Родим детей, слышите? Нельзя же без детей жить... У меня будет ребёнок...

ХАРТ Ладно врать то, пошли.

ПУТЦ А ты, Блинд, случаем, сам-то не еврей?

БЛИНД Может и еврей. Я забыл.

ЭН Что вы все заладили: еврей – нееврей! Идти надо!

БЛИНД Самое время.

Блинд идёт, постукивая палочкой, в зал. За ним остальные делают круги по залу и возвращается на сцену. Эл мечется между играющим в забытии Дихом и идущими за Блиндом.

ЭЛ Я не вру! У меня будет ребёнок! А потом и Эн родит ребёнка, слышите? И другие. Мы родим много детей! Просто детей, не евреев, и не других, просто детей, человек... Я хочу жить там, где рождаются дети... Дих, у меня будет ребёнок! Слышишь, у меня будет ребёнок... будет ребёнок... будет наш ребёнок... Эй, стойте, может останемся... остановитесь... эй, стойте, что я вам скажу, подождите, я должна вам объяснить... подождите...

Эл, оглядываясь, бежит прочь за остальными. Дих играет на штурмклави́ре. Нарастающий грохот в дверь.

конец

SUITE FÜR STUMMES KLAVIER

Theaterstück in sieben Teilen

Personen

EL	Eine Frau
EN	Eine Frau
BLIND	Ein Blinder
DICH	Ein Mann
BEHI	Ein Mann
HART	Ein Mann
PUTZ	Ein Mann

PRELUDE

Asylantenheim. Eine ehemalige Klinik. Die alten Badewannen wurden als Bettstätten aufgestellt. Eine ist hinter einem Vorhang. In der Mitte steht ein Tisch. Putz schläft. El wäscht, Blind schreibt. Behi formt etwas aus Teig.

EL Schreibst du?
BLIND Ich schreibe.
EL Über alles?
BLIND Über alles.
EL Wie immer?
BLIND Wie immer.
EL Über mich auch?
BLIND Auch.
EL Und über Behi?
BLIND Über Behi auch.
EL Hörst du Behi, über Dich auch.
BEHI *Lächelt.* Aha.
EL Er ist zufrieden... Ihm geht's immer gut, nicht wahr, Behi?
BEHI Aha.
EL Heute ist es öde... Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist... He, Blind, komm, vielleicht geht was, hm?... Noch ist alles ruhig. Ich mag's nicht, wenn es laut is'... Warum schweigst du?... Hast du vergessen?.. Heute bist du dran.
BLIND Ich? Warum vergessen?
EL Ja, du, du... Komm jetzt endlich! Oder willst du's heute auslassen?
BLIND *Phlegmatisch.* Wieso auslassen? Auf geht's. Es ist gesund.
EL Du bist so langweilig, Blind, (*öffnet ihn nach*) es ist gesund...

Sie gehen hinter den Vorhang. Von irgendwoher, nicht durch die Tür,

erscheint Dich. In der einen Hand trägt er einen Sack, in die anderen einen Koffer. Er bemüht sich auf den Zehenspitzen zu schleichen.

BEHI Aha.

DICH Pst.

BEHI Aha.

Putz, der gerade aufgewacht ist, beobachtet alles. Zuerst versucht Dich den Koffer zu verstecken, indem er ihn zudeckt. Danach fängt er an, verstopfen den Inhalt des Sackes zu sortieren.

PUTZ Soviel vergebliche Mühe, Jungchen, aber ich hab alles gesehen.

DICH Was willst du gesehen haben, was?

PUTZ Irgendwas, dies oder jenes. (*Geht zum „Bett“ von Dich*) Zeig mal, was ist denn das?

DICH Das geht dich gar nichts an.

Hinter dem Vorhang erscheint Blind, und trippelt mit seinem Blindenstock tastend zum Tisch, setzt sich, horcht ein paar Sekunden und fängt wieder zu schreiben an.

PUTZ Es geht alle was an!

DICH Du plapperst immer alles nach, was Hart sagt.

PUTZ Ich plappere nach, was ich will. Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Wie man aber sieht, bringt's nicht bei jedem was, die kapieren's nie.

El kommt hinter dem Vorhang hervor.

DICH Es ist mir egal, was du meinst. Und andere...

PUTZ Was!?

EL He, macht nicht so 'nen Krach.

PUTZ Was heißt, nicht Krach machen? Er hat schon wieder deinen Befehl missachtet! Da, schau, was er wieder geklaut hat!

DICH Ich hab's nicht geklaut, du...!

PUTZ Und was ist dann das da?

DICH Das geht dich nichts an, das hab ich alles gefunden.

PUTZ Dann zeig,... zeig's doch! Oder traust du dich nicht, ha?

BEHI Aha.

PUTZ Da, Behi sagt's auch.

EL Na gut, Putz, krakele nicht so! Kümm're dich um deine Sachen!

PUTZ Sachen, Sachen... was für Sachen, ist mir doch alles egal, geht mit euren ganzen Geheimnissen doch zum Teufel, und lasst mir meine Ruhe...

Er legt sich wieder ins „Bett“, dreht den anderen den Rücken zu und brummt etwas in den Bart.

DICH *Flüstert aufgeregt.* Stell dir vor, ich klappere alle Höfe ab, schau mich um, wie immer, und plötzlich... ach, ja (*er erinnert sich auf einmal und zieht ein Kopftuch aus dem Kissenbezug*) das ist für dich.

EL Ach, wie schön... danke Dich... du bist so aufmerksam.
DICH *Ist verwirrt.* Ach lass nur... das ist doch ganz normal, lass nur...
EL *Umarmt Dich.* Doch. du bist immer so lieb, so umgänglich. Der Einzige von allen... Weißt du, wenn alles ganz normal wäre,... würde ich nur mit dir...

DICH Ach, das sagst du nur so, und dann machst du's mit allen.
EL Willst du mich beleidigen? Du weißt doch, warum ich das tue, sonst wird's noch entsetzlicher. In unserer Situation... (*Sie schluchzt.*)

DICH Weine nicht, El, ich wollte dich nicht beleidigen.
EL Sie tun mir leid. Schau, wir sind doch alle vor allem Menschen... vorläufig noch... du weißt ja schon, was mit unserer Erinnerung passiert ist. Warum denn nur? Es ist so furchterlich...

DICH Wieso? Ich erinnere mich an vieles. Zum Beispiel heute (*Aufgeregt.*) hab ich zufällig gefunden... natürlich, es ist ein bisschen kaputt,... sonst hätten sie's nicht weggeschmissen,... aber glaub mir, das ist nicht so wichtig, da hab ich mich sofort erinnert, dass ich gespielt habe.

EL Was gespielt?
DICH Nicht was, sondern worauf. Verstehst du? Ich erinnere mich, obwohl es schon so lange her ist, dass ich gespielt habe und sogar ziemlich gut, ich glaube, ich habe sogar Konzerte gespielt, als Pianist...

EL Oh, Dich, ist das wahr? Pianist, du?...

Die Tür öffnet sich mit einem Knall. Hart kommt herein.

DICH Es ist wahr, ich erinnere mich... aber ich erzähl's später.
HART Was später, sag's, los! Sag schon!
DICH Da gibt's nichts zu sagen.
PUTZ *Springt flink vom Bett auf.* Nichts? Aha, na los!
BEHI Aha.
HART Gleich gibt's eine auf die Fresse. Warst du draußen?
DICH Ich tu, was mir passt.
EL Leute, ich erzähl euch was...
HART Ich frag dich noch mal. Warst du draußen?
EL Lass ihn, Hart.
HART Misch dich nicht ein, sonst gibt's eine auf die Fresse!
BEHI Aha.
HART Also du warst draußen, klar! Du Scheißkerl, du willst uns alle...
BEHI Aha.
DICH Wieso kann man eigentlich nicht raus? Wer bestimmt das?
HART Die Herrschaft.
DICH Und warum?
HART Darum! Verboten und damit fertig!
EL Was ist los, Hart?
HART Los, oder nicht los. Befehl ist Befehl.

BEHI Aha.
 PUTZ Da, Behi meint auch...
 HART Klappe, sonst gibt's eine auf die Fresse.
 PUTZ Wegen jedem Dreck eine auf die Fresse kriegen... schert Euch alle zum Teufel,... ich wollte für alle doch nur was Gutes tun.
 HART Du kriegst gleich wirklich eine auf die Fresse.
 EL Hart, sag doch, ist was passiert?
 HART Ja!
 EL Oh, ich hab's gefühlt, dieser Tag ist schlimm...
 HART Werde bloß nicht hysterisch!
 BEHI Aha.
 EL Quäl uns nicht! Was ist passiert?
 HART Hört alle zu, (*zu Dich*) besonders du, schreib's dir hinter die Ohren, draußen ist eine Epidemie ausgebrochen.
 EL Eine Epidemie?
 PUTZ Sag mal, eine Epidemie!?
 HART Genau, irgendeine unbekannte Krankheit geht um.
 DICH Und was geht das uns an?
 HART Was uns das angeht? Es geht darum, dass die Leute meinen, dass wir Flüchtlinge diese Krankheit mitgebracht haben. Na und die Herrschaft...? (*Macht eine Geste mit der Hand.*)
 PUTZ Na, sag mal! An jedem Dreck sind die Flüchtlinge schuld.
 HART Also: Verbot ist Verbot, und wir müssen uns fügen.
 EL So ein Blödsinn. Bei uns sind doch keine Kranken.
 DICH Und was ist das für eine Krankheit, wie äußert sie sich?
 BEHI Aha.
 HART *Geht um Behi herum.* Gerade so, zwei Tage und... aha, aha – genauso wie unser lieber Behi...
 PUTZ Na sag mal, und auf einmal, aha, aha...
 BEHI Aha.
 EL Moment mal, ich hab noch nie im Leben von so einer Epidemie gehört.
 DICH Das ist egal, das ist nicht unser Problem.
 HART Und wie willst du's ihnen beweisen? Sie berufen deswegen schon Versammlungen ein.
 EL Was für Versammlungen?
 HART Versammlungen, in denen sie beschließen können, uns innerhalb von vierundzwanzig Stunden rauszuschmeißen. Und du streunst ständig draußen umher, und siehst außer deinem Drecks-Sperrmüll nichts?
 DICH Stimmt! Heute war's komisch, fast keine Leute.
 HART Keine Leute!?! Weil sie sich vor dir versteckt haben, wie vor einem Pestkranken.
 BEHI Aha.
 EL Blind, warum sagst du denn nichts? Hast du davon gehört?

BLIND Gab's so was schon mal?... Hör auf, zu schreiben!
 Wie, nichts gehört?... So was gab's schon. Es war genauso, aber ich erinnere mich nicht wo und wann.
 PUTZ Na und, wie ging's aus?
 BLIND Eine schlimme Sache.
 EL Quäl uns nicht – sag's endlich!
 BEHI Aha.
 BLIND Ich sag doch, eine schlimme Sache. Aber es geht alles vorbei.
 PUTZ Vorbeigehen... Wie denn?... Von selber geht nichts vorbei. Was sollen wir deiner Meinung nach also machen?
 BLIND Nichts. Warten. Aber bereit sein, wegzulaufen...weiter, irgendwo anders hin...
 EL Schon wieder rennen? Wohin?... Ist denn das ganze Leben nur ein Rennen?
 BLIND So ist's nun mal. Heute rennen wir, morgen rennt man zu uns.
 BEHI Aha.
 PUTZ Na sag's uns schon. Warum sprichst du in Rätseln, Blindschleiche?
 EL Wie? Ist das dein Ernst, Blind?
 BLIND Ganz einfach. Heute flüchtet der eine, morgen der andere. Schau dich mal um in der Welt. Alle Menschen sind Flüchtlinge.
 HART Jetzt reicht's mit dem Blödsinn!
 PUTZ Lass ihn doch, er soll's mal deutlich erklären.
 HART Du kannst eine auf die Fresse haben! Hört mal alle zu! Wir haben den Befehl, uns in der Stadt nicht blicken zu lassen. Deswegen dürfen wir keinesfalls auffallen. Man muss die Obrigkeit respektieren. Sie haben uns schließlich ein Asyl gegeben, oder?
 DICH Einen Keller mit Badewannen...
 HART Sei dankbar, und wenn's nur dafür ist!
 PUTZ Wofür dankbar? Eine Schande!
 HART Du kriegst gleich eine auf die Fresse!
 BEHI Aha.
 HART *Zu Dich.* Und dich warne ich höchstpersönlich: Wenn du noch mal die Nase rausstreckst...
 DICH Heißt das, dass du der einzige bist, der frische Luft zu atmen bekommt?
 HART Nein, niemand. Solang nichts anderes angeordnet wird. Klar? Und jetzt ist Schluss! Wir sind in Quarantäne. Letztendlich hat die Herrschaft Gründe, sich vor uns vorzusehen.
 EL Was für Gründe, Hart? Was hast du Dir ausgedacht?
 HART *nähert sich Behi.* Na... genau solche Gründe! Aha.
 EL Nein!
 PUTZ Na, ist das etwa dein Ernst?
 EL Er ist doch harmlos, nicht wahr, Behi?
 BEHI Aha.
 HART Aha bleibt aha.... Na gut, dann wollen wir mal sehen.

DICH Da gibt's nichts zu sehen: Quarantäne ist Quarantäne! Und jeder muss für sich selber einstehen. Niemand hat das Recht...

HART Mit der Teigkneterei ist jetzt Schluss, das Geschäft ist geschlossen! Den Rest müssen wir selber fressen... Und wenn isolieren, dann ist's auch nicht weiter schlimm. Und wenn plötzlich eine Kontrolle kommt, haben wir eine weiße Weste. Niemand soll wegen eines anderen leiden müssen, jeder muss für sich selber einstehen, nicht wahr?

DICH Du drehst mir das Wort im Mund herum! Ich meinte...

HART Und ich meinte es so!

EL Und wie soll das vor sich gehen?

HART *Öffn sie nach.* Vor sich! Desinfektion wie bei einer Ansteckungsgefahr.

EL Was, hier unter diesen Bedingungen?

HART Und? Kein Problem! Wir bitten Putz, der denkt sich schon was aus.

DICH Lass mich mal was sagen!

PUTZ Wieso ich? Jeden Dreck darf Putz ausbaden.

HART Du kriegst jetzt wirklich eine auf die Fresse!

PUTZ Auf die Fresse, na sag mal!

DICH Und ich sag euch jetzt mal, was er und... wir alle!.. alle!..

HART Du kannst jetzt auch eine drauf kriegen! *(zu Putz)* Na, du... komm schon,... Putz, denk mal darüber nach, wie, und was. Und wir, El und ich,... ruhen uns inzwischen ein bisschen aus.

EL *Streichelt Dich über den Kopf wie ein Baby.* Ruhig, lass nur!

DICH Ich wollte sagen, nur sagen...

EL Sag's mir!

HART He, Mädel, komm ausruhen. *(Legt ihr den Arm um und führt sie mit Gewalt.)*

EL Ach, ich bin heute müde, Hart. Und ausgerechnet heute...

HART Stimmt! Ausgerechnet heute müssen wir ausruhen! Jetzt! Ich hab dir doch gesagt...

EL Nein, ich kann wirklich nicht... geh allein! *(Sie gehen hinter den Vorhang.)*

HART Aber ich habe Lust, mit dir, Kleines, sehr,... ich habe große Lust.

BEHI Aha!

DICH Schweinerei!

PUTZ Und wenn du selber? bei den anderen ist's eine Schweinerei, und er selber darf alles.

BEHI Aha! *(Währenddessen beginnt Putz eine notdürftige Abtrennung zu bauen.)*

DICH Schweinerei, eine einzige Schweinerei!

BEHI Aha!

PUTZ Hast du etwa auch Lust, Behi?

BEHI Aha.

DICH Lass ihn in Ruhe, er weiß nicht, was er sagt.
 PUTZ Er versteht's besser als wir. Stimmt's Behi? Und du glaubst ihm nicht...

BEHI Aha.
 PUTZ He du, Behi, willst du eine Frau haben? Verstehst du, was ich meine?

BEHI Aha.
 PUTZ Hörst du, wie er's kapiert.

DICH *Holt in aller Eile den versteckten Koffer hervor, zieht das Stummklavier heraus, versucht, die Tasten zu drücken.* Schweinerei, eine einzige Schweinerei, bloß weg von hier...

PUTZ Das ist ungerecht, Dich, dass wir Behi die Freude nicht lassen wollen. Sprich mit El! Für sie kommt's doch auf einen mehr oder weniger nicht an, ha-ha-ha.

DICH *Spielt auf dem stummen Klavier.* Womit hab ich das alles verdient?

PUTZ Damit! Weil du keine richtige Linie hast – total flutterhaft bist und voller Zweifel. Die Leute sagen schon richtig: „Zweifeln und handeln – aber alles zu seiner Zeit.“

DICH Nein, anders: „Es gibt Zeiten, Steine zu sammeln und Zeiten, sie zu werfen.“

PUTZ Egal. Tu halt endlich was, fang endlich an und nicht immer dieses Gejammer eines Waschweibes. Andererseits, um etwas Wichtiges zu schaffen, muss man auch was können.

DICH Und ich? Kann ich vielleicht nichts? Ich spiele doch Klavier!

PUTZ Du kannst bloß zweifeln, Jungchen, nichts weiter. Das ist deine ganze Spielerei.

DICH Lass mich in Ruhe! Ich hab eigentlich nur Blind gefragt und nicht dich. He, Blind, ich hab dich was gefragt, oder nicht?

BLIND Stimmt!

DICH Warum hab ich immer solche Schweinereien zu schlucken? Ist das mein Schicksal?

BLIND Ein Schicksal wie jedes andere.

DICH Das ist doch keine Antwort!

BLIND Du musst einfach noch... leben.

PUTZ Genau: Leben und arbeiten. Nicht dauernd Löcher in den Bauch fragen. Was und wie und warum. Na komm mir lieber helfen!

DICH Wozu das alles?

PUTZ Wir stellen eine Abtrennung für Behi auf. Wer weiß, vielleicht hat Hart Recht. Möglicherweise ist das da (*er zeigt mit dem Finger einen Vogel*) wirklich ansteckend. Er soll hinter der Abtrennung sitzen und vor sich hin „aha-en“. Stimmt's Behi?

BEHI Aha!

PUTZ Er ist einverstanden, hörst du? Und für uns ist es sicherer. Komm mal her, mein Lieber, hier ist ein Stuhl für dich, setz

dich. Gefällt es dir?

BEHI Aha!

PUTZ Du wirst dort sitzen, wie ein Chef in seinem separaten Büro.

BEHI Aha!

PUTZ Wenn du dich hinlegen möchtest, es ist alles da. Geht's so?

BEHI Aha.

PUTZ Aber dann musst du den Vorhang zumachen, verstanden?

BEHI Aha.

PUTZ Da, mit ihm ist alles einfach. Aha, und fertig. Reinster Ahaismus. (zu Dich.) Und du machst dich mit deiner Fragerei verrückt, vergiftest alle, dich und die anderen dazu. Meinst du vielleicht, ich hätte keine Fragen? Und wie viele... Vielleicht sogar mehr als du. Oder stellst du dir vor, dass es mir hier gefällt in diesem Loch? Aber wohin gehen? Sie geben uns keine Papiere, also können wir nirgends wohin. Wo würdest du denn hingehen?

DICH Ich weiß nicht. Ich vergaß, woher ich stamme, das ist sehr merkwürdig.

PUTZ Ja, ich weiß auch nichts mehr. Fast gar nichts. Ich weiß nur noch, dass es in meiner Heimat, in meiner Kindheit oder so, viele Wälder gab... das war schön... die Luft...

DICH Und ich erinnere mich nur an meine Mutter, an ihr Gesicht, aber irgendwie unklar... Wir waren eine Familie... ja, ganz sicher... immer solche süßen Gerüche... ich träume oft davon.

PUTZ Ich träume nichts, und von Gerüchen erst recht nicht. Aber was mir nicht gefällt, sogar überhaupt nicht gefällt, ist, dass alle, die hier wohnen, das Gedächtnis scheinbar verloren haben. Vielleicht tun sie was in unser Essen, oder?

DICH Kann denn so was sein? Ich glaube nicht.

PUTZ Und warum nicht? Es kann alles sein. Dann fangen wir alle an, wie Behi zu aha-aha-en. An sich ist das bequemer.

DICH An sich?

PUTZ An sich!

DICH Nein, daraus wird nichts!

PUTZ He, Jungchen, was nicht alles passiert. Frag nur Blind.

DICH Blind, weißt du auch nichts von früher?

BLIND Manchmal schon, manchmal nicht.

DICH Du bist komisch, Blind. Es ist, als ob du antwortest und gleichzeitig nicht.

BLIND Alle und alles ist komisch, und ich auch.

DICH Und Behi?

BLIND Er auch.

DICH Nur komisch? Nicht mehr?

BLIND Ein bisschen mehr. Er ist anders.

PUTZ Opa verschleiert alles. Und drückt sich vor einer Antwort, weil er mit ihnen unter einer Decke steckt.

DICH Unter einer Decke? Mit wem? (*fängt wieder an, auf dem Klavier zu spielen.*)

PUTZ Nun...

HART *kommt hinter dem Vorhang hervor, nähert sich Dich.* He Dich! Es gibt da was...

PUTZ Schau mal, Hart, wie wir alles für Behi hergerichtet haben, Klasse!

HART Später.

PUTZ Da haben wir's, zuerst heißt es „los, los“, dann „später“. Nur einen Blick drauf!

HART Warte jetzt, oder du kriegst eine auf die Fresse!

PUTZ Fresse, Fresse für mich gibt's kein anderes Wort...

HART He, Dich! Hast du diese... nun hör mit dem Geklimper auf!

DICH *Mit Begeisterung.* Hörst du irgendwas? Hörst du wirklich was?

HART Was... „hörst du was“?

DICH Musik! Was sonst!

HART Ich hab jetzt eine ganz andere Musik im Kopf,... Hast du diese, ich meine solche... ähm... wie heißen diese blöde Dinger noch mal?

DICH Was für Dinger denn?

HART *Öfft ihn nach.* Was für, was für,... Präservative.

DICH Nein!

HART Du gemeiner Lügner! Verkauf mir welche, sonst bockt sie und es läuft gar nichts. Sie sagt, sie habe Angst, wegen der Epidemie zu sterben.

DICH Ich sagte, ich hab keine.

HART Du hast welche, ich weiß, dass du welche hast, komm, verkauf mir welche!

DICH Nein.

HART Na gut,... dann muss ich ihr halt eine auf die Fresse geben. Ich wollte menschlich mit euch umgehen. (*Er geht zurück zum Vorhang.*)

DICH *Wirft ihm Präservative zu.* Erstick dran. Vielleicht bist du wirklich ansteckend.

HART *Fängt sie auf.* O.K., danke für die Musik. Ich wusste, du würdest Mitleid haben.

DICH Hau endlich ab!

Es klopft an die Türe. Eine Frauenstimme ruft: „Macht auf! Macht auf!“

ALLEMANDE

PUTZ Wer ist das? (*Blind hört auf zu schreiben. Hinter dem Vorhang erscheint El.*)

HART *schleicht zur Tür.* Vielleicht eine Kontrolle?

HART Wer ist da?

STIMME Macht auf! Bitte macht auf!

Hart öffnet die Tür. En stürmt schwer atmend herein und gibt Zeichen, dass die Tür geschlossen werden solle. Hart Schließt die Tür. En läuft hin, rüttelt an der Klinke und prüft, ob die Tür hält..

EN Gott sei Dank!

HART Verzeihen Sie, sind Sie...

EN Ich komme zu euch.

HART Verstehe! Von der Kommission?

EN Was für eine Kommission?

HART Um die Ausführung zu überprüfen...

EN Zu überprüfen? Ach nein, ich bin zu euch gekommen... versteht ihr?

PUTZ Nein, nicht ganz, verehrtes Mädel, erklären Sie uns warum und so weiter.

EN *Schreit.* Versteht ihr denn nicht, ich bin zu euch gekommen!

HART Versteh'n, ja wir verstehen, aber...

DICH Wissen Sie überhaupt, wo Sie sind?

BEHI Aha.

EN Natürlich weiß ich es. Und ich möchte euch um... Asyl bitten.

EL Asyl?

EN Nun ja, ich bin vor der Herrschaft weggelaufen und...

HART Vor welcher? Vor der hiesigen?

EN Genau. Sie haben mich verfolgt, (*Fängt zu weinen an*)... sie haben mich bedroht und verspottet... Helft mir! Bitte! Ich flehe euch an!

EL Beruhigen Sie sich, wie heißen Sie?

EN EN.

EL Und wo sind Ihre Eltern?

EN *Weint noch lauter.* Meine armen Eltern, was wird jetzt aus ihnen...? Aber ich konnte nicht länger dort bleiben, ich musste fliehen. Versteht ihr?!

PUTZ Aber wieso zu uns?

EN Ich habe gehört, dass bei euch alles so... so demokratisch sei.

EL Demokratisch?

EN Ja, dass ihr Meinungsfreiheit habt,... jeder lebt, wie er will, und sagt, was er will...

PUTZ Ja, so ist's bei uns.

BEHI Aha.

EN Na seht ihr? Kann ich mit eurem Anführer sprechen? Wer hat hier das Sagen?

HART Bei uns hat jeder das Sagen, wir sind alle gleichberechtigt.

EN Gleichberechtigung! Ich sagte es ja: phantastisch! Das heißt, dass alles stimmt?

PUTZ *Leise.* Hat sie nicht alle Tassen im Schrank?

HART *Ebenso leise.* Das ist eine Provokation. Ja nicht die Karten aufdecken.

DICH Was für Karten?

EN Nun, aber vielleicht gibt's hier trotzdem einen Verantwortlichen.
 HART Verantwortlichen? Na, aber sicher. Das ist bei uns – Behi.
 BEHI Aha.
 HART Er ist gleichzeitig unser Diensthabender.
 EN Hervorragend! Das heißt, ich kann mit Ihnen sprechen, Herr...
 BEHI Aha.
 HART Nennen Sie ihn einfach – Herr... oder Genossen, oder sogar Bruder. Bruder Behi.
 EN Natürlich, ja... Herr... Behi, habe ich irgendwelche Chancen, Asyl zu bekommen?
 BEHI Aha.
 EN Ach, kaum zu glauben. So einfach ist das. Ohne Papiere?
 BEHI Aha.
 EN Bei euch ist alles so einfach. Heißt das, ich kann bleiben?
 BEHI Aha. (*Zieht den Vorhang zu*)
 HART Da sehen Sie, alles ist geregelt. Stören Sie ihn nicht weiter! Er hat viel zu tun.
 BEHI Aha.
 EN Natürlich. Klar.
 HART Machen Sie sich's bequem. So ist's in einer Demokratie. Na ja. Das ist Putz, ein Alleskönner.
 EN Sehr angenehm.
 PUTZ Ach lass nur, wir tun, was wir können.
 HART Aber wir können viel. Und bescheiden ist er auch noch. Und das ist unsere El.
 EN Wie lieb.
 HART Wir lieben sie auch. Alle. Sehr.
 EL Ach Hart, was veranstaltest du für ein Brimborium.
 HART Warum Brimborium. EN ist auch sehr lieb, nicht wahr, Putz?
 PUTZ Na klar.
 HART Sie will von ganzem Herzen bei uns bleiben. Sie möchte bei uns leben, nicht wahr?
 EN Und wie!
 HART Das ist kein Brimborium. Es ist nur ein Zeichen von Höflichkeit und Gastfreundschaft. Hier ist unser Jüngster und Hoffnungsvollster... Übrigens in jeder Beziehung.
 EN *Kokettiert.* Und in welcher besonders?
 HART Sammeln und akkumulieren, sammeln und...
 EN Wie bitte?
 DICH Jetzt reicht's aber?
 HART Das Ganze ist etwas kompliziert, aber...
 DICH In der künstlerischen Richtung. Ich bin Pianist.
 EN Jetzt versteh ich: Ausstrahlung, Unterbewusstsein, und dann, Zack. – und etwas... schöpferisches! Sehr angenehm, Sie kennen zu lernen. Sehr.

HART Kein Zweifel, so ist das – Zack! Und...

EN Konzert? Wann ist denn das nächste?

HART Das nächste? Ach, das machen wir, wann wir wollen. Wir haben doch eine Demokratie.

EN Wie wunderbar! Sagen Sie, und wer ist dieser Opa? Aus irgendeinem Grund schreibt er immer...

HART Dieser Opa ist nur auf den ersten Blick ein Opa. Wenn man näher hinschaut,... dann ist er ein Rätsel und kein Opa.

EN Guten Tag, Opa.

BLIND Guten Tag, ich heiße Blind.

EN Verzeihen Sie, ist das ihr Vorname oder sind sie... oder beides?

BLIND Beides.

HART Und nun endlich erlauben Sie mir, mich vorzustellen: Hart.

DICH *deklamiert erhaben.* Hart ein guter einfacher Mann, tut für die Demokratie, was er kann!

HART Da, seh'n Sie! Bei uns ist alles ganz einfach – Gedichte. Übrigens, bei uns blühen alle Künste und Gewerbe, (*Zieht den Vorhang zurück.*) nicht wahr?

BEHI Aha.

HART Verzeihen Sie, Herr Behi. (*Macht den Vorhang zu.*) Ja, und sonst leben wir ganz bescheiden, ohne Überfluss. Nach dem Gesetz der Natürlichkeit und Gleichberechtigung.

EN Das ist wunderbar – Natürlichkeit und Gleichberechtigung!..

HART Da, nehmen wir einmal die Frau. (*Er küsst El*) Sie gehört allen, weil sie eine Frau ist, von Natur aus und im Wesen, sozusagen.

EN In welchem Sinn?

HART Im natürlichen Sinn. Sie erfüllt ihre weibliche Pflicht allen gegenüber.

EN Allen gegenüber?!

EL Warum so aufgeregt? Allen gegenüber, die Lust haben. Sie können das nicht verstehen,... vorläufig. Gewöhnen Sie sich erst mal hier ein, dann sehen wir weiter...

EN Das heißt, dass Sie... El mit allen schläft... mit allen?

EL Außer mit ihm, mit Putz. Aber er... ja, er kann nicht wegen einer Schwäche.

PUTZ Na sag mal! Ich brauche das überhaupt nicht! Wieso aus Schwäche... aus Überzeugung!

EN Und mit Herrn Behi?

HART Oh, nein. Er,... Herr Bruder Behi,... steht darüber. Er ist – da (*Er zeigt nach oben.*) und wir sind einfach und demokratisch. Alles im gegenseitigen Einverständnis. Sie, übrigens, können auch.

EN Was können, was?

HART Mit allen,... mit wem sie wollen, versteht sich.

EN Ich?

HART Was soll das eigentlich? Wie alt sind sie denn?

EN Zwanzig oder Dreißig, spielt keine Rolle!
HART Na, das geht schon. Sie sind nicht schlechter als El. Bei uns ist das erlaubt. Mehr noch, es muntert auf.
EL Hart, lass sie in Ruhe!
HART Ich erkläre nur, wie alles bei uns hier funktioniert. Sie bittet doch um Asyl bei uns, nicht wir bei ihr, oder?
EN Na,... im Prinzip hab ich's verstanden,... aber...
HART Das ist die Hauptsache, die Prinzipien.
EN Aber es muss nicht unbedingt sein?
HART Natürlich, aber im Prinzip ist es möglich. Jeden Augenblick.
EN Jeden?
HART Ja, sogar jetzt. Aber... demokratisch. Wer will jetzt, verehrte Herren-Genossen-Brüder?
BLIND Möglich.

Steht auf, geht mit dem Stock tastend, zum Vorhang..

EN Mit ihm?

HART Was ist eigentlich los? Bei uns sind alle gleich. Und Opa ist noch gut drauf. Es klappt schon, keine Aufregung.

Unsicher macht EN einen Schritt auf Blind zu. Plötzlich dreht sie sich um und läuft zu Behi.

EN Herr Behi! Herr Behi!! Darf ich reinkommen? Ich muss dringend mit Ihnen sprechen... *(Geht ohne eine Antwort abzuwarten zu Behi hinein und macht den Vorhang zu.)*

BEHI Aha.

PUTZ Na so was, das ist, na...

HART Pst!

Alle lauschen, Blind kommt zum Tisch zurück und setzt seine Schreiberei fort. Hinter dem Vorhang hört man Geräusche und Aha-Rufe Behi's in verschiedensten Tonlagen..

HART He Leute, was machen wir jetzt?

PUTZ Mal seh'n, was kommt.

DICH Das ist wirklich nicht zu fassen. Asyl-Suchen bei Asylanten. Nein, das ist unmöglich.

HART Ich dachte zuerst, es sei eine Provokation. Aber sie meint es ganz ernst mit dem Asyl.

EL Oh, ich fühl's, das geht nicht gut aus. Und du hast sie noch ins Bett gezogen.

HART Wohin gezogen? Sie selber... hört ihr's nicht? Ja und Behi haben wir offensichtlich unterschätzt.

PUTZ Sieht so aus! Na bitte, aha.

Der Vorhang geht auf. EN kommt mit Behi an der Hand hervor. Er hat eine andere Frisur und eine Fliege um den Hals...

COURANTE

BEHI Aha.
EN *Offiziell.* Meine Herren Juden, wir...
HART Was denn für Juden?
EN Sind Sie etwa keine Juden?
PUTZ Sonst noch was, ich konnte sie noch nie ertragen. Zumindest daran erinnere ich mich noch sehr gut.
EN Merkwürdig, alle nennen euch Juden. Dort draußen.
PUTZ Gleich Juden. Hier bei uns gibt's keine. Höchstens der da. (*Zeigt auf Dich.*)
DICH Ich erinnere mich nicht. Ist das gut oder schlecht?
PUTZ Da hast du's. Typisch!
EN Wer seid Ihr denn dann?
HART Einfach... Leute, Flüchtlinge aus verschiedenen Gebieten.
EN Nein, ich meine etwas genauer. Und außerdem waren Flüchtlinge seit eh und je meistens Juden. Ich habe gerade Behi gefragt, er bejaht dies.
BEHI Aha.
EN Und warum sind Sie so schüchtern, meine Herren Juden?
HART Was ist hier eigentlich los, niemand ist schüchtern. Wir sind einfach keine Juden.
EN Verzeihen Sie, aber Behi sagt ja.
HART Behi, ha ha ha! Na, und wenn schon!
EN Ist er etwa nicht der Verantwortliche hier?
PUTZ Der Verantwortliche mit 'ner Meise.
HART Eben.
EN Mit was für einer Meise?
HART Mit derselben Meise, die du auch hast, Vögelchen. (*Dreht den Finger an der Stirn.*)
EN Ich?
HART Genau. Ich polier euch beiden die Fresse, damit ihr unsere Demokratie nicht mehr stört.
EN Behi, bist du hier der Verantwortliche?
BEHI Aha.
HART Behi, ich hau dir eine auf die Fresse!
EN Behi, aber du kannst ihm doch auch, äh... in die Fresse...?
BEHI Aha.
EN Na dann los!

Behi geht stürmisch auf Hart los, drückt ihn zu Boden und fängt an, ihn zu würgen.

HART He, bist du verrückt geworden? *Er röchelt.* Es reicht... rei...
EL Hör auf, Behi! Er bringt ihn um!
EN Genug Behi!
BEHI *steht auf, klopft sich die Hände an der Hose ab.* Aha..

EN Ihr habt diesen Aufruhr ganz umsonst veranstaltet, meine Herren Juden. Ich wollte doch nur sagen, dass Behi und ich uns entschlossen haben, zu heiraten.

BEHI Aha.

EN Er ist einfach süß, so lieb.

DICH Wie das?... Heiraten?

EN Ganz einfach: eine Familie gründen.

BEHI Aha.

EN Um ein gemeinsames Leben zu führen.

BEHI Aha.

EN Sie können uns beglückwünschen. Nur Mut, meine Herren Juden! Oder freuen Sie sich etwa nicht für unseren Vorgesetzten?

PUTZ Aber natürlich. Aus tiefster Seele, wirklich!

BLIND *Grabscht En am Busen.* Meinen Glückwunsch.

EN He Opi, Pfoten weg! Das Leben einer Made im Speck ist jetzt vorbei.

BEHI Aha.

DICH Ich gratuliere!

EN Ist das alles? Kann man den Anlass nicht mit feierlichen Gedichten besingen?

DICH Jetzt sofort?

EN Warum zögern? Alles Gute im rechten Augenblick. Und wir hören zu. Nun los, nur Mut... *Sagt vor.* EN und Behi... nun...

DICH EN und Behi, euch möchten wir gratulieren, möge euer Glück... sich nicht verlieren.

EL Ich wünsche ein harmonisches Familienleben.

EN Das wünsche ich Ihnen auch. Nun Sie, Hart. Vergessen wir die Beleidigungen! Wünschen Sie uns alles Gute!

HART *Hält sich an der Gurgel.* Alles Gute!

BEHI Aha.

EN Nun, dann ist ja alles gut. Wissen Sie, ich konnte Ihr Leben natürlich nur oberflächlich kennenlernen. Es gibt da viel Positives, Demokratisches. Aber Sie müssen mir zustimmen, dass Demokratie nichts Starres ist, sie muss sich ständig weiterentwickeln. Warum nehmen Sie, meine Herren Juden, sich denn nicht ein Beispiel an unserer Eheschließung. Das wären doch sonst keine zivilisierten Zustände. Die Juden waren da den andern immer voraus.

DICH Ich bin dafür!

EN Sehen Sie, die Kunst widerspricht nicht.

DICH Ich... überhaupt... und El... sie... also, mit einem Wort, wir gründen eine Familie, El!

EL Ja,... ich bin einverstanden, aber... was sagen die anderen?

EN Ausgezeichnet! Das ist schon ein Schritt zum gesunden Leben. Was die anderen betrifft, haben sie auch die Möglichkeit, eine Familie zu gründen.

PUTZ Wie denn das?
 EN Ganz einfach. Sie, als nicht aktiver Mann, können mit Hart ein Paar bilden.
 BEHI Aha.
 HART Ich mit dem da? Ich bin doch nicht bescheuert!
 PUTZ Na sag mal, mit dem da? Soll ich vielleicht schlechter sein als du?
 EN Richtig, man darf niemanden beleidigen. Wir haben doch eine Demokratie. Ihr habt einfach keine andere Möglichkeit. Und altersmäßig passt ihr gut zusammen.
 HART Dann lieber mit Blind.
 EN Nun, mir scheint, dass Herr Blind zu alt ist, um ernsthaft eine Familie zu gründen.
 BEHI Aha.
 EN Wie alt sind Sie, Opa?
 BLIND Ich weiß nicht mehr. Aber ziemlich.
 EN Und worüber schreiben Sie denn?
 BLIND Über alles.

EN kommt näher, versucht zu lesen, was Blind geschrieben hat..

EN Aber so was kann man unmöglich lesen. Lesen Sie das selber?
 BLIND Nein, ich lese nicht. Warum? Ich schreibe.
 EN Aber vielleicht liest das jemand anderer?
 BLIND Niemand liest es. Wozu?
 EN Ja,... wofür schreiben Sie dann?
 BLIND Für mich. Um alles zu verstehen.
 EN Was alles?
 BLIND Was passiert.
 EN Und dann?
 BLIND Was dann?
 EN Was machen Sie mit Ihrem Gekritzel?
 BLIND Nichts. Ich schreibe eins um das andere auf.
 EN Das ist doch Unsinn.
 BLIND Warum? Genau wie im Leben.
 EN Wenn jemand unsinnig lebt, dann mag das gehen. Aber in einem ordentlichen Leben... Übrigens, Herr Behi hat mir seinen Entschluss mitgeteilt, Ihr Leben in Ordnung zu bringen, meine Herren Juden.
 BEHI Aha.
 PUTZ Darf ich kurz was fragen?
 EN Nur zu.
 PUTZ Aber nicht beleidigt sein: Ist Herr Behi selber Jude, oder was?
 DICH Nun lass schon! Was macht das für einen Unterschied? Wir sind alle... Menschen. Wieso müssen manche immer Fronten schaffen?
 PUTZ Und trotzdem bin ich neugierig.
 EN *flüstert Behi etwas ins Ohr, der nickt bedeutsam gewichtig. Behi meint, dass es nicht nötig sei, Feindschaft zwischen den Leu-*

ten zu stiften.

BEHI Aha.

PUTZ Aber wer stiftet denn? Man darf schon gar nichts mehr fragen. Mir ist überhaupt alles egal! Haut doch alle ab!

EN Was? Hast du das gehört, Behi?

BEHI Aha. *Nähert sich Putz.*

PUTZ *Erschrocken.* Na komm schon, ich hab doch nur Spaß gemacht. Hör auf, Behi!.. Na-na! Sag lieber, was ich machen soll! Sag doch! (*Schreit.*) Sonst gibt's nur Bla-Bla. Ich will ja alles tun... (*Verdeckt das Gesicht mit den Händen.*)

EN Behi, mir scheint, er hat's kapiert.

BEHI Aha.

PUTZ Ja, ja, ich hab's kapiert, ich hab's kapiert... was denn sonst...

EN Was murmeln Sie sich dann in den Bart, Herr Putz?

PUTZ Ich? Ich sage nur. dass man etwas tun muss. Warum sitzen wir so rum?

EN Um etwas zu machen, braucht man Ordnung – in allem. Von den prinzipiellen Fragen bis hin zu den Kleinigkeiten. Fangen wir mit den Papieren an. Was ist ein Leben ohne Papiere? Jeder Jude kann eine Duldung bekommen.

EL Jeder?

EN Potentiell jeder.

BEHI Aha.

DICH Und was bedeutet das... potentiell?

EN Das bedeutet, dass, wenn er aktiv an unserer Gesellschaft teilnimmt, jeder jüdische Bürger ein Dokument erhält. Zum Beispiel Sie, Herr Dich, müssen sich mit den Geschehnissen auseinandersetzen und sie in Ihrer Kunst darstellen.

DICH Hörst du El? Jetzt kann ich mich endlich auf meinem Gebiet beschäftigen!

EL Ich freue mich für dich.

EN Herr Putz könnte seine technischen Fähigkeiten auch für die Gesellschaft nützlich machen, alles durchdenken und verbessern.

PUTZ Natürlich ist es möglich, wenn man seinen Grips anstrengt.

EN Na los, dann strengen Sie sich mal an.

BEHI Aha.

EN Für El gibt es auch ein riesiges Spektrum an Arbeitsmöglichkeiten: Verpflegung, Flächenbegrünung, soziale Hilfe...

EL Oh,... nur versteh ich davon überhaupt nichts.

EN Das können Sie lernen. Und was sind Sie von Beruf, Herr Hart?

HART Ich weiß nicht, ich hab's vergessen.

EL Er ist sehr stark.

EN Ja, ja, das hab ich schon gemerkt. Na, für Starke gibt's immer was zu tun. Zum Beispiel könnten Sie vielleicht ein Soldat sein?

HART Ein Soldat?

EL Er kann, bestimmt!

HART Nun, dann eben ein Soldat. Aber was soll ich tun?

EN Na, sich um die Ordnung kümmern, die Grenzen bewachen.

BEHI Aha.

HART Welche Grenzen und von wem?

EN Unseres Territoriums. Es muss souverän, und genau definiert sein. Geographisch, juristisch und so weiter...

HART Und so weiter...

EN Ich sehe, Sie zweifeln?

BEHI Aha.

HART Ich versteh einfach nicht... – gar nichts.

EN Nichts Besonderes. Das Erreichen der Souveränität ist eine schwierige und langwierige Angelegenheit. Aber wir haben genug Kraft, mit allem fertig zu werden. Übrigens, Herr Blind, ich denke, er kann sich auch um den gemeinsamen Nutzen bemühen, eine schriftliche Satzung aufstellen und sich um die Dokumente kümmern.

BLIND Möglich.

EN Und der Soldat? Der Soldat ist ein Soldat. Er muss nicht alles verstehen. Seine Aufgabe ist es, Befehle auszuführen. Die Situation an der Grenze ist nicht stabil. Man muss sich auf Provokationen gefasst machen. Es kann sein, dass Flüchtlinge auftauchen.

HART Flüchtlinge?

EN Warum denn nicht? Ich war früher auch Flüchtling. Nicht wahr Schnurzelchen?

BEHI Aha.

Klopfen an der Tür, Stimmen: „Macht auf! Hilfe!“.

EN Na, was hab ich gesagt?

BEHI Aha.

EL Hart, mach auf!

EN Zurück! Nicht aufmachen, sind Sie verrückt?!

EL Wie... da sind Leute. Wahrscheinlich sogar mit Kindern. Hört ihr?

EN Bitte keine Sentimentalitäten. Die Frage ist sehr ernst. Man darf die Dingen nicht ihrem freien Lauf überlassen.

DICH Sie hat Recht. El, man muss überlegen.

BEHI Aha.

EN Eben überlegen. Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Die Flüchtlinge nicht aufnehmen, können wir nicht, da bei uns eine Demokratie herrscht. Aber wohin? Uns alle hier zusammenpferchen?

PUTZ Und wir? Hier ist es sowieso schon so eng.

EN Richtig. Die zweite Möglichkeit wäre im Keller.

EL Da ist es doch feucht und schimmelig.

DICH Bei uns hier ist es aber auch nicht gerade ein Kurort.

EN Ich seh schon... unsere Gemeinschaft ist für den Keller. Was

steh'n Sie hier rum, Hart? Tun Sie was! Nehmen Sie Dich als Hilfe, er muss Erfahrungen sammeln.

DICH Ich bin bereit.

EN Putz, gehen Sie auch, helfen Sie bei der Aufteilung. Und Blind macht inzwischen schnell Fragebögen. Können Sie?

BLIND Möglich.

EN Man braucht strenge Kontrolle und folgende Regeln.

HART Gehen wir!

EN Gott sei mit euch, ihr Herren Juden!

HART *Öffnet die Tür.* Ruhe, Herren Flüchtlinge! Nicht hierher, geh'n Sie runter in den Keller, einer nach dem anderen! Nein, ohne Ausnahme! Warten Sie bis Sie einen Fragebogen bekommen und dann der Reihe nach.

GAVOTTE

Derselbe Raum einige Zeit später. Morgens. Alle schlafen. Es klingelt. Alle stehen auf und stellen sich in einer Reihe auf. Behi schaut zu. EN erscheint im Trainingsanzug.

BEHI Aha... aha.

EN *In kommandierendem Ton.* Guten Morgen, Herren Juden! Beginnen wir mit der Morgengymnastik. Musik!

BEHI Aha.

Behi macht das Tonband an. Die Musik ist rhythmisch, aber fast ohne Melodie. Alle machen die lächerlichen Bewegungen von EN nach. Am aktivsten ist Blind.

EN Mehr Lebensfreude, Herren Juden... Jetzt die Wasseranwendungen!

Sie planschen in den Wannen, die Musik geht weiter. Sie stellen sich wieder in die Reihe..

EN Freizeit! Sie können die Zeit innerhalb der Familie verbringen. Erholen Sie sich und entspannen Sie sich, meine Herren Juden!

Nimmt Behi bei der Hand und geht mit ihm im Kreis herum, danach Dich und El, dann Putz und Hart. Hinter allen trippelt Blind rüstig hinterher.

EN Na wunderbar! Heute ist, wie Sie alle wissen unser Fasttag an der Reihe. Die meisten von euch sehen schon sehr schlank und sportlich aus. So beginnen wir statt mit dem Frühstück gleich mit unserer Sitzung.

Alle setzen sich an den Tisch. Behi bleibt weiter stehen..

EN Das erste Wort – wie immer – von unserem Verantwortlichen.

BEHI Aha... *Hustet.* Aha... *Pause....* Aha. *(Applaus.)*

EN Gehen wir zur Diskussion über.

HART Herr Behi hat ganz richtig unterstrichen, wie wichtig die Diszip-

lin im gegenwärtigen Moment ist. Die Flüchtlinge kommen und kommen. Unterschiedlichste Leute. Wenn jeder anfängt zu tun, was ihm passt, geht alles den Bach runter.

EN Wofür sind Sie da? Seien Sie strenger!

HART Ja, ich hab schon Zweien die Fresse poliert. Und alles wegen dieser Papiere. Die Leute sind so komisch. Das Wichtigste ist ihnen dieser Fetzen. „Wann?“ und „Wie?“ – sie fragen mir Löcher in den Bauch. Und Blind trödelt so.

EN Es ist nicht so leicht für Herrn Blind. Er ist allein, ohne Hilfe.

HART Dann soll Dich ihm halt helfen. Der klimpert sonst nur herum und säuselt Verschen.

DICH Für dich ist das Klimperelei, aber für mich ist das Schöpfung.

EN Und während der schöpfungsfreien Zeit könnten Sie, Herr Dich, Herrn Blind helfen, nicht? Sie können doch gut mit der Sprache umgehen.

DICH Warum bin ich immer der Lückenbüßer? Entweder muss ich mit Hart Wache schieben, oder Kisten mit Putz herumschleppen, jetzt soll ich auch noch Blind helfen. Mir hilft doch auch niemand! Ich bereite mich auf ein Konzert vor.

EN Wir können Ihnen auch helfen, wenn's denn nötig ist.

DICH Danke, ich schaffs allein.

EN Irgendwas gefällt mir in letzter Zeit an Ihrer Stimmung nicht, Herr-Genosse Dich. Vielleicht gibt's Probleme in der Familie?

DICH Keine Probleme, was für Probleme? Fragen Sie doch El,... ich... äh...

EL Bei uns ist alles in Ordnung. Wirklich. Aber...die Flüchtlingskinder... man muss etwas tun! Sie leben in unhygienischen Zuständen: im Dreck, ohne gute Luft, im Keller.

PUTZ Wir haben doch schon eine Belüftung eingebaut, gemäß allen Standards. Luft kommt da genügend rein, das kann ich beschwören. Aber sie sollten sie selbst sauber halten, und in Ordnung. Dauernd ist die Spülung kaputt und andere sanitäre Einrichtungen.

EN Wer macht was kaputt?! Wer hat's ihnen gestattet?!

PUTZ Sie fragen ja nicht. Und überhaupt. Viele wollen nicht Juden sein. Sie kamen doch freiwillig zu uns, aber sie kümmern sich einen Dreck um unsere Ordnung.

EN Nun, das geht überhaupt nicht. Ich schlage vor, sofort eine Begutachtung anzuberaumen, und die Unzufriedenen abzusondern und rauszuschmeißen.

BEHI Aha.

EN Herr Behi wird der Kommission persönlich vorstehen. Nicht wahr, Schnurzelchen?

BEHI Aha.

EN Putz und Dich gehen mit uns. Und Sie, Blind. kümmern sich um die Papiere. Hart und El werden Ihnen helfen.

Die Kommission geht..

HART Mit jedem Tag verstehe ich alles immer weniger. He, Blind, verstehst Du irgendwas?

BLIND Manchmal ja, manchmal nein.

EL Früher war alles so schön einfach... ohne diese Fasttage, jeder machte, was er wollte, nicht wahr? Ich möchte essen, hast du Hunger, Hart?

HART Und wie... aber auf dich. El, wieso sagst du nichts? Endlich sind wir allein. Los geh'n wir!

EL Wo denkst du hin, Hart, ich bin doch jetzt eine verheiratete Frau?

HART Ich will ja nicht, dass du dich scheiden lässt. Ich habe schon Alpträume in der Nacht... ich kann nicht mehr, ich werde bestimmt verrückt.

EL Komm, beruhig dich! Das vergeht wieder. Das kommt von der Überanstrengung und der Arbeit.

HART *Schubst El.* Ich weiß nicht wovon, aber ich hab das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren.

EL Ach, Hart, du wirst mich kaputt machen.

Sie verstecken sich hinter dem Vorhang. Blind schreibt während der ganzen Zeit weiter, horcht aber nebenbei. Nach einiger Zeit kommt Dich angerannt.

DICH He, Blind, ich brauche dringend die Dokumente für die gestern Angekommenen.

BLIND Die Gestrigen... da rechts.

DICH Diese hier?

BLIND Ich habe gesagt rechts. (*Tastet.*) Nicht die! Hier...

DICH Das hättest du gleich sagen können. Dann geh ich wieder. (*Bei der Tür bleibt er plötzlich stehen und stockt.*) Aber wo sind...El und Hart?

BLIND Sie helfen mir bei den Papieren.

DICH Bei den Papieren? Aha, bei den Papieren... (*Läuft schnell davon.*)

BLIND *Trippelt zum Vorhang und klopft dabei mit dem Stock.* He El!

EL Was hast du?

BLIND Für die Gesundheit... brauch ich auch...

HART *Hart kommt heraus...* Du kriegst gleich eine auf die Fresse. Na, Alterchen...?

EL Na los, aber nur ganz schnell.

Blind geht hinter den Vorhang. Hart setzt sich an den Tisch, hantiert mit den Papieren.

HART Ganz schön stark, unser Opa.

Dich erscheint mit einer Eisenstange in den Händen und schleicht sich zum Vorhang.

HART Was ist los, Kunst?

DICH Ach, da bist du Arschloch! (*Wirft sich auf Hart.*) Ich bring dich um!

HART *Fasst ihn an den Händen und hält ihn fest.* Ruhe! Was ist los?

DICH Las mich los! Ich bring dich um, ich bringe alle um, ich bringe sie um!
HART Weswegen willst du mich umbringen? Ich möchte eigentlich weiterleben.

Hinter dem Vorhang kommt Blind hervor und trippelt zum Tisch.

DICH Und er... er auch... (*Beginnt, sich um Hart zu winden.*) Ich bring dich um..., aber zuerst möchte ich ihr in die Augen sehen... Komm heraus!

El kommt heraus..

EL Was ist denn? Dich, beruhige dich!
DICH Du... Du hast wieder... Du... ich bringe dich um!
EN *kommt angelaufen.* Was sind das für Schreie? Die Flüchtlinge regen sich auf.
HART Da, die Kunst ist verrückt geworden... er will alle umbringen.
EN Alle? Und mich?
DICH Alle, ohne Ausnahme... und dich, du blöde Kuh, als erste... ich bringe euch alle um!
EN Fesseln!
HART He, Blind, gib mir 'ne Schnur!
BLIND Möglich.

Hart fesselt ihn mit Blinds Hilfe.

DICH Fesselt mich, fesselt! Ha-ha-ha... ich bring euch sowieso um, der Reihe nach.
EN Ihr seid frei, ihr könnt zu den Flüchtlingen runtergehen. Es muss was getan werden... Behi und Putz brauchen Hilfe.
HART Aber ist es nicht gefährlich mit ihm...?
EN Nein, er ist doch gefesselt.

Hart und El gehen fort. El will etwas sagen, aber Hart zieht sie mit sich.

EN *Geht um Dich herum, sieht ihn lange an.* Blind, bringen Sie doch die Papiere runter.
BLIND Die Papiere? Welche?
EN *Zeigt, ohne zu schauen.* Die da.
BLIND Möglich. (*Geht.*)
DICH Was glotzt du so? Wenn ich die Freiheit hätte, dann...
EN Die Freiheit hattest du schon, aber hast nichts daraus gemacht.
DICH Was?
EN Freiheit, Freiheit... alle sind verrückt geworden nach dieser Freiheit. Und nach den Hoffnungen. Nach diesen sogar noch mehr. Übrigens, was ist in Wirklichkeit „gelobte Freiheit“? Und wie soll man mit ihr umgehen? Das weiß fast niemand. Sie könnte eigentlich... beißen, deine Freiheit. Es ist kaum möglich, die Freiheit zu zähmen, man braucht dafür besondere Gaben. Und du, mein Armer, hast Pech gehabt... du wirst es nie schaffen, weil... man darf die Freiheit nie mit jemandem teilen und einfach nur schenken. Deswegen bist

du jetzt gefesselt,... was im Prinzip gar nicht so schlecht ist.
DICH Was für ein Blödsinn!
EN Im Gegenteil, wenn man gefesselt ist, hat man keine Verantwortung mehr... mein kleiner Narr... (*berührt zärtlich seinen Kopf.*) Nun, was ist mein Junge? Erzähl's jetzt! Nur... reg dich nicht so auf.
DICH Es gibt nichts zu erzählen. El... sie mich... El hat wieder mit ihnen geschlafen!
EN Meinst du mit Hart?
DICH Und mit dem Alten auch.
EN Mit Blind auch? Nicht schlecht. Und das ist alles? Das ist doch kein Grund, sich aufzuregen. Und ich habe gedacht, dass weiß Gott was passiert ist. Lass mich dir die Fesseln abnehmen, die Hände sind bestimmt schon ganz taub und geschwollen...
DICH Ich gehörte ihr mit ganzer Seele...
EN Du bist ein so feinfühliges Mensch, Dich. Sag, was fühlst du, wenn du Klavier spielst?
DICH Wozu das alles?
EN Bitte, es ist für mich wie ein Geheimnis.
DICH Das kommt darauf an, was ich spiele.
EN Aber weißt du, wenn du spielst, fühle ich immer einen solchen Aufruhr, Aufruhr...
DICH Aufruhr?
EN Unbeschreiblicher Aufruhr (*Nimmt seine Hand und legt sie sich an den Busen.*)... da hier... wenn du dein Konzert geben wirst, werden wir alle zuhören und genießen... zuhören und genießen... Mein Gott, wie zart sind deine Finger. Denk nicht an El. Man kann sie nicht ändern. Denkst du vielleicht, es gibt nur sie auf der Welt... wie zart du bist... etwa keine anderen Frauen... Du darfst nur über Musik nachdenken, über dein Konzert... du hast doch so lange davon geträumt...
DICH Seit meiner Kindheit... Und meine Mutter auch, ich erinnere mich...
EN Deine Mutter? Ach, dir fehlt deine Mutter, ich verstehe dich gut, komm zu mir her...
DICH Aber du bist doch...
EN Was?
DICH Was ist mit Behi?
EN Ach, das ist nur für den Dienst... komm schon...

Sie verstecken sich hinter dem Vorhang. Blind kommt herein, stockt, dann geht er zum Tisch und schreibt. Von unten hört man Schreie, hinter dem Vorhang Geräusche. Blind steht auf, macht ein paar gymnastische Übungen. Dich kommt heraus, mit ihm EN.

EN Na, geh jetzt runter. Du sagst, ich hätte dir verziehen. Ohne viel Aufsehen zu erregen, Schnurzelchen, tschüss!

DICH Erstens: ich bin kein Schnurzelchen! Zweitens: will ich nicht

runtergehen. Ich kann nicht... Fessel mich lieber wieder...
 EN Fesseln?
 DICH Es ist für mich eine Lösung... du hast Recht, ich kann nicht frei sein.
 EN Unfug, du musst dir nicht alles so zu Herzen nehmen.
 DICH Doch, du hast die Wahrheit gesagt. Ich habe alles verstanden.
 EN Nein, du hast überhaupt nichts verstanden. Die Wahrheit existiert nie in der Welt... und dich fesseln ist nicht nötig, Schnurzelchen... ach, habe nichts dagegen... Für mich bist du doch Schnurzelchen... geh, geh runter, es ist nicht nötig, jemanden zu fesseln; wir sind alle schon miteinander verbunden, und nicht mit Stricken, viel fester... geh... und denk an das Konzert... *(Dich geht weg, EN bemerkt Blind.)* Ah, Herr Blind, sind Sie schon zurück? Wie fleißig Sie sind, das ist gut. Gibt es unten noch viel Arbeit?
 BLIND Viel. *(Gibt ihr ein Papier.)* Da!
 EN Was ist das? *(Inzwischen steht Blind auf, nähert sich ihr von hinten und umarmt sie.)*
 BLIND Ein Dokument.
 EN He, Pfoten weg! *(Schubst Blind weg.)*
 BLIND Es ist nötig für die Gesundheit.
 EN Es wird auch so gehen, Opa.
 BLIND Ich werd's „Aha“ sagen. Alles.
 EN Was? Du drohst mir?
 BLIND Wieso kann Dich? Ich werd's erzählen!
 EN Was kannst du denn noch, Opi?
 BLIND Komm! Es wird dir gefallen.
 EN Bist du sicher?
 BLIND Es gefällt allen.
 EN Na gut, aber ganz schnell.
 BLIND Schnell ist auch möglich. Verschiedenes ist möglich.
Sie gehen hinter den Vorhang. Oder nein, je nach Absicht des Regisseurs.
 EN stöhnt. Währenddessen kommen El, Putz, Dich und Hart angerannt.
 PUTZ Die Tür! Schließt die Tür ab!
Hart haut die Türe auf.
 EL Sie werden sie aufbrechen, ihr werdet sehen, es waren so viele!
 HART Nein, sie ist aus Eisen. Ich hätte noch ein paar die Fresse polieren sollen.
Blind trippelt unbemerkt zum Tisch. EN kommt heraus..
 EN Was ist los?
 PUTZ Sie haben uns angegriffen. Sie haben Hart geschlagen und Behi... den...
 EN Wo ist Behi? Warum sagt ihr nichts? Wo ist unser Verantwortlicher?
 HART Der Verantwortliche hat seinen Kopf für uns alle hingehalten.

EL Sie haben ihn getötet, er ist nicht mehr.
 PUTZ Was wollen die? Wir haben alles für sie getan,... was wir konnten.
 EN Getötet?... Er liegt dort allein?
 HART Ich denke, noch ein paar daneben. Man musste einigen die Fresse polieren.
 EN War es etwa nicht möglich, sich mit ihnen zu einigen?
 EL Wir haben es versucht, aber...
 PUTZ Sie wollten nicht zuhören. Sie sind auf uns losgegangen wie Furien.
 EN Was wollten sie denn?
 DICH Gleichberechtigung!
 PUTZ Sonst noch was...
 HART Man hätte ihnen von Anfang an in die Fresse hauen sollen.

Klopfen an der Tür, Schreie.

PUTZ Meine Güte, wie sie schreien... Na ja, die Türen kriegen sie nicht auf. Die ist Wertarbeit. Da können wir sicher sein.
 EL Aber es ist unangenehm, dauernd so in Gefahr zu leben.
 PUTZ Na klar, es gibt nichts Schöneres.
 HART Keine Panik. Der Wind heult, aber draußen.
 EL Wind... Schneesturm... alles ist in einem anderen Leben...
 EN Wir dürfen nicht untätig rumstehen! Was sollen wir denn jetzt machen?

Allgemeines Schweigen. Pause.

BLIND Abhauen... Fliehen.
 EL Abhauen? Schon wieder?
 PUTZ Ich bin einverstanden, wenn es noch nicht zu spät ist.
 EN Nun ja, Herr Blind könnte Recht haben, wir müssen abhauen.
 EL Vor wem laufen wir immer weg? Und wohin?
 HART Wohin sollen wir laufen, Blind?
 BLIND Einfach weg von hier.
 PUTZ Na klar, weg von hier. Aber wohin, man muss den Weg wissen.
 EN Herr Blind kennt den Weg bestimmt,... ich hab's im Gefühl, nicht wahr, Schnurzelchen?
 BLIND Dein Gefühl ist richtig.
 EN Ich schlage vor, ihn zum Verantwortlichen zu wählen.
 HART Ich bin dafür, in dem Alten steckt was. Der hat was auf dem Kasten.
 PUTZ Wozu zögern wir? Wir haben gewählt und fertig. Wir müssen packen.
 EL Vielleicht...
 DICH Wartet, und was ist mit meinem Konzert?
 HART Was für ein Konzert denn noch? Du kannst eine auf die Fresse haben.
 PUTZ Bist du verrückt?
 DICH Wie, was für eins? Ich hab mich doch vorbereitet, so viele

Stunden...

PUTZ Na sag mal, er hat sich vorbereitet, wir haben uns alle vorbereitet, jeder auf etwas anderes. Nicht nur du.

DICH Das heißt, das Konzert findet nicht statt!?! Heißt das, dass alles umsonst war? Blind sag, du bist doch jetzt der Verantwortliche, alles umsonst?

BLIND Vielleicht umsonst, vielleicht auch nicht. Je nach dem.

DICH Ich kapier es einfach nicht!

BLIND Das hängt von dem Menschen ab.

DICH Von welchem Menschen? Von mir etwa? Nein, ich versteh überhaupt nichts. EN, warum sagst Du nichts dazu?

EN Ich? Warte, jetzt ist keine Zeit für Musik!

DICH Du hast es doch versprochen. Sie hat's mir versprochen. Ihr alle habt mir's versprochen. Wie kann man denn so leben, wenn sich nichts erfüllt?

HART Ich hau dir eine auf die Fresse, dann hast du deine Erfüllung!

DICH Du, Soldatenschnauze!

EL Streitet nicht,... lasst ihn spielen!

PUTZ Sag mal. Auf einmal hat sie Mitleid.

EN Nun ja, meine Herren Juden, zum Schluss lassen wir ihn vielleicht doch spielen. Wir gehen sowieso weg von hier. (zu Blind.) Und Behi können wir in gutem Andenken behalten... Möglich?

BLIND Möglich.

DICH Soll ich spielen?

BLIND Du musst. Es nützt uns.

HART Was bedeutet das? Mir persönlich nutzt seine Spielerei nichts!

BLIND Alle brauchen es, um nicht zu sterben.

HART Das ist jetzt zu viel, Alter. Entdeckst du eine neue Wahrheit?

BLIND Alte Wahrheit. Und nicht entdecken möchte ich sie, sondern verstecken.

HART Verstecken?

BLIND Es ist besser, Wahrheit nicht zu kennen. Man kann dieser Wahrheit wegen sterben.

PUTZ Die Zeit passt nicht zum Streiten,... wenn gespielt werden soll, dann soll gespielt werden. Sonst werden wir mit diesem Blabla... (zu Dich.) Na los, spiel schon!

HART Aber nur ganz kurz.

DICH Ganz kurz? Ist gut, vielen Dank... gleich, gleich, setzt euch alle hier hin, für den Künstler ist der Kontakt mit dem Publikum wichtig... gut... Jetzt kommt die Musik. Sarabande...

Dich packt in Eile das stumme Klavier aus, klappt es auf. Dann, nach einer Pause, schaut er unruhig umher und schlägt den ersten Akkord an. Einige Zeit hört man nur Geklapper der Tasten, dann hört man allmählich Sphärenklänge.

SARABANDE

PUTZ *Steht auf.* Wer waren deine Ahnen?
 EN *Steht auf.* Wer waren deine Ahnen?
 HART *Steht auf.* Wer waren deine Ahnen?
 BLIND *Steht auf.* Wer waren deine Ahnen?
 EL *Steht auf.* Wer waren deine Ahnen?
 EN Wer waren deine... dreh dich zu mir, ich bin auch schwermütig
 im tiefen Herbst.
 PUTZ Der Krug fiel auf den Stein – wehe dir Krug.
 HART Der Stein fiel auf den Wasserkrug – wehe dir Krug.
 BLIND Dreh dich zu mir, ich bin auch schwermütig im tiefen Herbst.
 EL Wer waren deine Ahnen? Dreh dich zu mir – der Stein fiel auf
 den Wasserkrug.
 EN Ich bin auch schwermütig...
 HART Wehe dir Krug. Ich bin auch schwermütig im tiefen Herbst.
 PUTZ Dreh dich zu mir – Кто были твои предки?
 EN Quien fueron tus mayores? Dreh dich zu mir.
 BLIND Ich war auch schwermütig im tiefen Herbst. Du musst
 wissen. Chi fur li maggior tui?
 PUTZ Chi fur li maggior tui? Chi fur li maggior tui?
 EL Wehe dir Krug, wehe dir Krug, wehe dir Krug!
 PUTZ Who were your ancestors, you must know...
 HART Повернись ко мне. Il faut savoir.
 EN Tienes que saber, il faut savoir.
 HART Chi fur li maggior tui?
 BLIND Der Krug fiel auf den Stein, tu dei saper, du musst wissen...
 EL Qui étaient tes ancêtres? You must know tu dei saper... dreh
 dich zu mir.
 HART Tienes que... you must... ты должен знать... wer waren deine
 Ahnen?
 EL Du sollst, tu dei... chi fur li maggior tui.
 BLIND Dreh dich zu mir... you must know...
 PUTZ Saper...
 EN Wissen...ich bin auch schwermütig... quien fueron... wehe der
 Krug... saper...
 HART Im tiefen Herbst you must know...
 EL Знать поздней осенью... wer waren deine Ahnen...
 BLIND Wissen... wehe dir Krug... im tiefen Herbst... saper...
 PUTZ Tu dei saper... who were your ancestors... wissen...
 EN Tienes que... you must... du sollst... dreh dich zu mir... know...
 HART Wissen! Savoir!
 EL Saper, know...
 BLIND Знать, wissen!
 PUTZ Saper!
 EN Know!

Sie fassen sich an den Händen und gehen langsam im Kreis um den spielenden Dich herum. Sie sprechen alle zusammen, man kann keine Wörter unterscheiden. Dann zeichnet sich ein Rhythmus ab. Alle schreien nur ein Wort: „Wissen! Wissen!“.

DICH Schreit, während er sich die Ohren zuhält. Genug! Hört auf! Die Sarabande ist aus. Genug! Genug! Wir wissen... Wir wissen schon... wissen... was gibt's noch außer Wissen... Wer weiß? Du? Du?... Es gibt noch die Luft, Luft, Lüftchen... Air... Atmen sie bitte tief, bitte! Arie!... Wer will die Arie vortragen?

Alle erstarren mitten in der Bewegung, während sie sich weiter an den Händen halten. Dich duckt sich und geht aus dem Kreis heraus.

ARIE

DICH Dann... ich selber... hört zu... Hört zu und merkt es euch, Publikum! Zuerst sprechen wir vom Möglichen und Unmöglichen. Wenn einer von zwei Gegensätzen existieren kann, dann scheint das Gegenteil auch existieren zu können. Zum Beispiel: Wenn es für einen Menschen möglich ist, wieder gesund zu werden, dann kann er auch krank werden, weil die eine Möglichkeit immer die Gegensätze mit einschließt, von denen sie sich unterscheidet. Und wenn etwas Ähnliches möglich ist, dann kann diesem wieder etwas anderes ähnlich sein. Und wenn etwas Schweres möglich ist, dann ist auch etwas Leichteres möglich. Und wenn etwas von feinerer Art entstehen kann, dann kann es überhaupt entstehen, weil es schwieriger ist, ein gutes Haus zu sein, als einfach ein Haus. Möglich ist auch der Anfang dessen, dessen Ende möglich ist, weil alles aus dem Anfang heraus entsteht. Am Anfang... Mutter... wie war ihre Name... El... En... sie... ein Hauch von Hebe... Licht... Niederbrennen in der Nacht...

ein Hauch von Hebe lässt sich entstehen:

Licht, Schimmer, der frisch dem Walzer entstieg...

lautloses Niederbrennen des ganzen Horizontes...

ein besoffener, höllischer

Nebel wirft die Klage in der Nacht...

nur nackte Nacht...

Erscheinung eines Aprils:

Luft die zerplatzt und dunkle Klänge

lösen sich auf in einer vorläufigen Klarheit...

ein Gefolge aus Schatten und Geräuschen zerfällt

Nuance, schwört vergeblich...

nur nackte Nuance...

es platzt der schwarze Akkord:

Lebewohl? Die Landschaft der Kälte

leidet lustlos und friert schweigsam...
eher die eigene Stimme in der verrückten
Fuge verlieren, als
nehmen dich mit... in die graueren Gewässer...
nehmen dich... euch... sie...

Er murmelt in Selbstvergessenheit vor sich hin. Der Kreis fällt auseinander. Alle schauen Dich an. Er nimmt eine Taste aus dem Klavier und gibt sie Putz. Dann verteilt er die anderen Tasten.

DICH Und wenn das passiert, was dem natürlichen Lauf der Dinge entspricht, dann passiert es gewöhnlich nach dem, was vorher passiert ist. Zum Beispiel: Wenn irgendjemand irgendetwas vergessen hat, denn hat er es irgendwann einmal gewusst. (*Spricht mit El.*) Wenn du vergessen hast...

EL Ich hab nichts vergessen...

DICH Das bin ich...

EL Das bist du...

DICH Ich hab Behi geschlagen.

EL Du hast Behi geschlagen, ich hab's gesehen...

GIGUE

Alle bewegen sich wieder ganz normal.

PUTZ Na, sag mal, und uns hat er den Kopf verdreht, mit dem Konzert.

HART Da war keine Musik. Ich hab keinen einzigen Ton gehört. Aber Behi hat er um die Ecke gebracht, da habt ihr unsere... Kunst. Ich hab doch gesagt, man muss ihm die Fresse polieren.

DICH Was darum geht... was sein wird, ist offensichtlich... genau... dasselbe... was für uns möglich ist und was wir wünschen, dann...

EN Hört auf!

DICH Ich kann nicht aufhören, ich... kommt noch die Gigue... (*spielt am Klavier.*)

EN Ich sagte: „Hört auf!“ Das heißt, du hast es gesehen, El?

EL Jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher...

PUTZ Sag, was du gesehen hast!

HART Keine Angst, sag's! Im Falle...

EL Ich bin tatsächlich nicht sicher, ob er ihn getötet hat, aber er hat geschlagen... das ist sicher, er hat als erster geschlagen, Behi fiel hin, und dann die anderen...

PUTZ Sicher, als wir dazu sprangen, war er schon fertig.

EL Einer geschlagen, der andere geschlagen, soviel Bosheit. Sind wir denn nicht Menschen? Nur schlagen, auf die Fresse hauen, umbringen... und alles unbewusst...

EN Was ist das für ein Gelaber? Wir brauchen Fakten?

EL Fakten? Bitte, zuerst trat Behi das Kind mit dem Fuß, dann...

EN Was für ein Kind denn jetzt noch?
EL Von den Flüchtlingen, ein normales Kind. Dann hat Dich Behi geschlagen, dann... ich kann das nicht mehr aushalten, sicher, die Leute sind vielleicht entartet...
DICH Werdet ihr jetzt die Gigue hören? Ich fange an... ich habe schon angefangen...

Das Klopfen an der Tür hört nicht auf. Dich spielt, als ob er Einfluss auf den Rhythmus des Klopfens nähme.

BLIND Geh'n wir. Es ist Zeit.

HART Soll ich dem da nicht eine auf die Fresse geben?

Zeigt mit einer Taste auf den spielenden Dich.

EN Ich würde zuhauen. Leute wie er ruinieren alles (*schmeißt die Tasten auf den Boden*).

BLIND Wir müssen gehen (*geht zu Dich und legt seine Tasten neben ihn*).

EL Vielleicht bleiben wir. Es ist nicht alles so schlecht. Ich bekomme ein Kind. Ja... tatsächlich. Vielleicht kann EN auch... ein Kind... Versuchen wir, uns mit denen... mit den anderen zu einigen. Sie sind doch auch Menschen.

HART Menschen (*schmeißt seine Tasten an die Tür*), aber keine Juden.

PUTZ Ach, lass es (*überlegt kurz, versteckt seine Tasten unter der Kleidung*), wir sind auch keine Juden mehr, stimmt's?

BLIND Das spielt keine Rolle.

HART Es wäre aber in Wirklichkeit gut zu wissen?

BLIND Aber für die anderen, für diese (*Zeigt auf die Tür.*) bleiben wir jetzt für immer Juden.

PUTZ Ich habe immer noch nicht kapiert, ob das gut oder schlecht ist, ein Jude zu sein...

HART He, Blind, warum jetzt für immer? Was bedeutet das alles?

BLIND Es ist bequem, zu hassen. Gewöhnlich.

EL Ohne Grund?

PUTZ Aber vielleicht bist du selber, Jude?

BLIND Vielleicht ein Jude. Oder nicht. Ich hab's vergessen. Das spielt keine Rolle.

EN Ihr plappert immer dasselbe: Juden – nicht Juden. Wir müssen gehen!

BLIND Höchste Zeit!

Blind geht mit dem Stock klopfend ins Publikum und versucht willkürlich herumstochernd eine Zuflucht für sich zu finden. Nach ihm die anderen. El wendet sich unentschlossen zwischen dem spielenden, selbstvergessenen Dich und den Gehenden hin und her.

EL Bleibt! He – vielleicht können wir bleiben?... Dich, hörst Du?... Ich bekomme ein Kind!.. Hörst du? Ein Kind... Ich bekomme ein Kind!.. Ich bekomme ein Kind!.. Ich bekomme ein Kind!..

*El rennt hinter den anderen her. Dich spielt auf dem stummen Klavier.
Das Hämmern an der Tür wird immer lauter.*

Ende

München, 1995

Константин КЕДРОВ

КОМПЬЮТЕР ЛЮБВИ

НЕБО – ЭТО ВЫСОТА ВЗГЛЯДА
ВЗГЛЯД – ЭТО ГЛУБИНА НЕБА
БОЛЬ – ЭТО
ПРИКОСНОВЕНИЕ БОГА
БОГ – ЭТО
ПРИКОСНОВЕНИЕ БОЛИ
ВЫДОХ – ЭТО ГЛУБИНА ВДОХА
ВДОХ – ЭТО ВЫСОТА ВЫДОХА
СВЕТ – ЭТО ГОЛОС ТИШИНЫ
ТИШИНА – ЭТО ГОЛОС СВЕТА
ТЬМА – ЭТО КРИК СИЯНИЯ
СИЯНИЕ – ЭТО ТИШИНА ТЬМЫ
РАДУГА – ЭТО РАДОСТЬ СВЕТА
МЫСЛЬ – ЭТО НЕМОТА ДУШИ
СВЕТ – ЭТО ГЛУБИНА ЗНАНИЯ
ЗНАНИЕ – ЭТО ВЫСОТА СВЕТА
КОНЬ – ЭТО ЗВЕРЬ ПРОСТРАНСТВА
КОШКА – ЭТО ЗВЕРЬ ВРЕМЕНИ
ВРЕМЯ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО СВЕРНУВШЕЕСЯ В КЛУБОК
ПРОСТРАНСТВО – ЭТО РАЗВЕРНУТЫЙ КОНЬ
КОШКИ – ЭТО КОТЫ ПРОСТРАНСТВА
ПРОСТРАНСТВО – ЭТО ВРЕМЯ КОТОВ
ПУШКИН – ЭТО ВОР ВРЕМЕНИ
ПОЭЗИЯ ПУШКИНА – ЭТО ВРЕМЯ ВОРА
СОЛНЦЕ – ЭТО ТЕЛО ЛУНЫ
ТЕЛО – ЭТО ЛУНА ЛЮБВИ
ПАРОХОД – ЭТО ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛНА
ВОДА – ЭТО ПАРОХОД ВОЛНЫ
ПЕЧАЛЬ – ЭТО ПУСТОТА ПРОСТРАНСТВА

РАДОСТЬ – ЭТО ПОЛНОТА ВРЕМЕНИ
ВРЕМЯ – ЭТО ПЕЧАЛЬ ПРОСТРАНСТВА
ПРОСТРАНСТВО – ЭТО ПОЛНОТА ВРЕМЕНИ
ЧЕЛОВЕК – ЭТО ИЗНАНКА НЕБА
НЕБО – ЭТО ИЗНАНКА ЧЕЛОВЕКА
ПРИКОСНОВЕНИЕ – ЭТО ГРАНИЦА ПОЦЕЛУЯ
ПОЦЕЛУЙ – ЭТО БЕЗГРАНИЧНОСТЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ
ЖЕНЩИНА – ЭТО НУТРО НЕБА
МУЖЧИНА – ЭТО НЕБО НУТРА
ЖЕНЩИНА – ЭТО ПРОСТРАНСТВО МУЖЧИНЫ
ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО МУЖЧИНЫ
ЛЮБОВЬ – ЭТО ДУНОВЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ
ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО МИГ ЛЮБВИ
КОРАБЛЬ – ЭТО КОМПЬЮТЕР ПАМЯТИ
ПАМЯТЬ – ЭТО КОРАБЛЬ КОМПЬЮТЕРА
МОРЕ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО ЛУНЫ
ПРОСТРАНСТВО – ЭТО МОРЕ ЛУНЫ
СОЛНЦЕ – ЭТО ЛУНА ПРОСТРАНСТВА
ЛУНА – ЭТО ВРЕМЯ СОЛНЦА
ПРОСТРАНСТВО – ЭТО СОЛНЦЕ ЛУНЫ
ВРЕМЯ – ЭТО ЛУНА ПРОСТРАНСТВА
СОЛНЦЕ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО ВРЕМЕНИ
ЗВЕЗДЫ – ЭТО ГОЛОСА НОЧИ
ГОЛОСА – ЭТО ЗВЕЗДЫ ДНЯ
КОРАБЛЬ – ЭТО ПРИСТАНЬ ВСЕГО ОКЕАНА
ОКЕАН – ЭТО ПРИСТАНЬ ВСЕГО КОРАБЛЯ
КОЖА – ЭТО РИСУНОК СОЗВЕЗДИЙ
СОЗВЕЗДИЯ – ЭТО РИСУНОК КОЖИ
ХРИСТОС – ЭТО СОЛНЦЕ БУДДЫ
БУДДА – ЭТО ЛУНА ХРИСТА
ВРЕМЯ СОЛНЦА ИЗМЕРЯЕТСЯ ЛУНОЙ ПРОСТРАНСТВА
ПРОСТРАНСТВО ЛУНЫ – ЭТО ВРЕМЯ СОЛНЦА
ГОРИЗОНТ – ЭТО ШИРИНА ВЗГЛЯДА
ВЗГЛЯД – ЭТО ГЛУБИНА ГОРИЗОНТА
ВЫСОТА – ЭТО ГРАНИЦА ЗРЕНИЯ
ПРОСТИТУТКА – ЭТО НЕВЕСТА ВРЕМЕНИ
ВРЕМЯ – ЭТО ПРОСТИТУТКА ПРОСТРАНСТВА
ЛАДОНЬ – ЭТО ЛОДОЧКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ
НЕВЕСТА – ЭТО ЛОДОЧКА ДЛЯ ЛАДОНИ
ВЕРБЛЮД – ЭТО КОРАБЛЬ ПУСТЫНИ
ПУСТЫНЯ – ЭТО КОРАБЛЬ ВЕРБЛЮДА

ЛЮБОВЬ – ЭТО НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВЕЧНОСТИ
ВЕЧНОСТЬ – ЭТО НЕИЗБЕЖНОСТЬ ЛЮБВИ
КРАСОТА – ЭТО НЕНАВИСТЬ К СМЕРТИ
НЕНАВИСТЬ К СМЕРТИ – ЭТО КРАСОТА
СОЗВЕЗДИЕ ОРИОНА – ЭТО МЕЧ ЛЮБВИ
ЛЮБОВЬ – ЭТО МЕЧ СОЗВЕЗДИЯ ОРИОНА
МАЛАЯ МЕДВЕДИЦА – ЭТО ПРОСТРАНСТВО БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ
БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА – ЭТО ВРЕМЯ МАЛОЙ МЕДВЕДИЦЫ
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА – ЭТО ТОЧКА ВЗГЛЯДА
ВЗГЛЯД – ЭТО ШИРИНА НЕБА
НЕБО – ЭТО ВЫСОТА ВЗГЛЯДА
МЫСЛЬ – ЭТО ГЛУБИНА НОЧИ
НОЧЬ – ЭТО ШИРИНА МЫСЛИ
МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ – ЭТО ПУТЬ К ЛУНЕ
ЛУНА – ЭТО РАЗВЕРНУТЫЙ МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
КАЖДАЯ ЗВЕЗДА – ЭТО НАСЛАЖДЕНИЕ
НАСЛАЖДЕНИЕ – ЭТО КАЖДАЯ ЗВЕЗДА
ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ЗВЕЗДАМИ –
ЭТО ВРЕМЯ БЕЗ ЛЮБВИ
ЛЮБОВЬ – ЭТО НАБИТОЕ ЗВЕЗДАМИ ВРЕМЯ
ВРЕМЯ – ЭТО СПЛОШНАЯ ЗВЕЗДА ЛЮБВИ
ЛЮДИ – ЭТО МЕЖЗВЕЗДНЫЕ МОСТЫ
МОСТЫ – ЭТО МЕЖЗВЕЗДНЫЕ ЛЮДИ
СТРАСТЬ К СЛИЯНИЮ – ЭТО ПЕРЕЛЕТ
ПОЛЕТ – ЭТО ПРОДОЛЖЕННОЕ СЛИЯНИЕ
СЛИЯНИЕ – ЭТО ТОЛЧОК К ПОЛЕТУ
ГОЛОС – ЭТО БРОСОК ДРУГ К ДРУГУ
СТРАХ – ЭТО ГРАНИЦА ЛИНИИ ЖИЗНИ В КОНЦЕ ЛАДОНИ
НЕПОНИМАНИЕ – ЭТО ПЛАЧ О ДРУГЕ
ДРУГ – ЭТО ПОНИМАНИЕ ПЛАЧА
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ ЗАПОЛНЯЮТ ЗВЕЗДЫ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗВЕЗДАМИ ЗАПОЛНЯЮТ ЛЮДИ
ЛЮБОВЬ – ЭТО СКОРОСТЬ СВЕТА
ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ НАМИ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НАМИ
ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ СКОРОСТИ СВЕТА –
ЭТО ЛЮБОВЬ

БАБОЧКА

земля летела
по законам тела
а бабочка летела
как хотела

ПАРТАНТ

I. Судьбант

Восьмиконечная луна вернеет
третья падая восьмерит
лунееет отрицант цвета тосковатого

Металл Металит Метально

параднит судьбант тьмея
наверхно-западно-востоко-
нижне-верхне-средне-
наружно-внутренне-вверх-сегментально
Винт винтин смертит мерцает винтеет
винтно стелется тангенсеет
больная актрисит или
над-право леветь нутрь нутрит
запад западает в сырый роялит
а над спинально-будуще-вчерашним
воркует сегодня-бывшее под печалью
хотя длительно-ожидант
востоко-ночительным человека
чашея над-вокруг чая

II. Чайная церемония

Мне Чашельно и Немного Чайно

и беря в руки над я чай нутрю
все чаея и даря чай
хотя всем уже чайно
и остроконечно
в внизу глаза под-впереди стеной
Мы начинанты среднеем ли-бы
и всем слегка благородно от-до гортани
мне горизонтно
в правом подкоченительно прошлое
печенеет и сердцеет завстраль

все жизнее и плачно мерцают ли светлы
звезда промечтала высоко над темечком
и темечко очерчивает синергетический винт
мне синергетно кибернетикально
и космологю
я отченашу сигулируя в до рояль
рекеет любовь
и отлегал дифференциально легло
в отречение
хотя стена
выкрашенная в цвет отречения
цветела стенала
было-будет-есть-не было стеналь.

III. Сатурналии

Я-мы-он-ты вошли-вышли-ушли-взлетели
входя-взлетая-падая-выходя.

**Ты Пес и Тебе Псово и Псу Тебейно
и Я-Ты Пес и Мне-Тебе Тобойно Псово**
вот простейшее простейше вотное.

Мне говорят
что я слишком отрешен от чувства
но чувствее меня говорил
чтоет отрешенно-отно
сатурно марсно и плутонно
марсеет юпитериально
венеря в землю и меркуря
сатурнит и юпитерит
землеет венерит и саднеет

Таков Дракон и Таковы Законы Дракона
драконя закона и таково
Итака Атака Киото

Блажен муж иже не иде на совет нечестивых
мужен блаж иже не иде на нечест несочетных
дорожно гробно дервенеть
дорожить гробить дервеня
над деревянной высотой
я нахожусь вне глубины
она глубинит стонно двестно тристно
четырестно пятьсотно восьмисотно
двухполовинно и пятьсотно

я пятьсотню
и мне я дал отлегал в логово
игра пятнеть в гости
дочки-матереть и запоминально отчекант
лунить луней лунив
дотошнит завтра
и вечер деленный на две печали
все еще являет собой ступени
к новооткрыто-будущему-вчера
но терзостно и над девичья и плодно
оповещая любить гибнущему значению
я-бытельно-быльно-килограмм-быть

IV. Партант

Партант оповещант
сыновне-дочерне-вечерне-прахно
древне-ново-открыто-заперто
юго-радостно-восточно-печально
парашютно и вне-губнея
летне-легочная зимне-ночная
сердечно-тропическая
летально-летняя
кораблит на влекомо-давнее
давить издавна влекомое
корабля корабльно
темно-атомно-глупо
реакторно-ядерно-горлно
клубнично-дремотно-полярно-грудно-лимитно-плачно
нейтринно-распадно-лысо-больно-гортанно-пожарно-
мертво
простирачительно в ничтожесумняшеся
из-над кобальто-грустного цвета-все-же
тканит лазурно-глубокий значно
и за туманно-серо-прохладно-горько-
официальн-документационно-апрельно-мартно-январно-
тролейбусно-двоеженно
паскальнее все надежно-умирально-близкие
валторнит перспективя телефоня
божно-прилагательно-зурня-гармония

Бог Ангел Зурна Гармонь

колибренький ангелея леталь диагонально-прозрачно
трансценденталит законно-посмертно-глупо
нежно-тарифно
градицируя интимнит
окско-винительно-забывно
и сослагательно-брюшно-вздошно
северит южит нежит
голограмовая инстантка истнея
и молнит в над
всемирно-ближне-отклоненный

Коронарно-Югенд

V. Летант

я не нах ступенеть от-из-до вагонетка
сирин-южно-подохнуть
явнеть златоуст-отдатно
нательно-подкожно
кладезь-обозначительно четырнеть
марсиант восходя любить
печенеет геноциидально
куда не ступанто ног менша
Я йес ист но Йезус
нихт анемаль нематериально
упаотреблейшн над нематериаль

Мариус-Петипально Летант

дурх сцена
обворожилъ
да
но я нет даваль

НОВЫЙ ЛАОКООН

Я проходил по кладбищу из смеха
где памятники в виде поцелуев
ухмылочек улыбок и гримас
Вот памятник доверчивой улыбке
Вот памятник обманчивой улыбке
Вот памятник насмешек над собой
Сто херувимов радостных смеялись
Сто серафимов нежно улыбались

И только я с улыбкою печальной
стоял один на кладбище из смеха
и вежливо смеялся над собой
Вот памятник из нежных поцелуев
Губами я слепил сто торсов белых
Сто страстных слепков высились незримо
Я их воздвиг из воздуха любя
Когда теля от них освобождались
я их формировал в объятьях нежных
я их лепил собой из белой глины
Но более всего из поцелуев
и взглядов
образовывались слепки
то в виде мчащегося паровоза
то в виде вертолета
парохода
плывущего в морях из женских волн
Взгляд никогда ни в чем не повторялся
Всегда он видел что-нибудь другое
Другая грудь
Совсем другое лоно
Другие плечи и другие губы
у женщины всегда всегда одной
Все сто одежд от тел освобождались
и на полу как мы переплетались
Все скомкано в клубок летящих тел
Из всех искусств важнейшее – любовь
Она сродни ваянию из тела
когда тела ваяют всех из всех
Герр Лессинг описал Лаокоон
Там все неправильно
поскольку все тела
видны без пустоты
творимой ими
А интересна только пустота
Она подвижна и необозрима
Она останется когда тела исчезнут
И если эту пустоту заполнить
получится собор апостола Петра
со всех сторон облепленный телами

и Страшный Суд где мускульное небо
из всех людей воскресших и умерших
На самом деле из одних объятий
все можно сотворить
что есть и было

КРЕСТ

В окруженье умеренно вянущих роз
обмирает в рыданиях лето
Гаснет радужный крест стрекозы
где Христос
пригвождается бликами света
Поднимается радужный крест из стрекоз
пригвождается к Господу взор
распинается радужно-светлый Христос
на скрещении моря и гор
Крест из моря-горы
Крест из моря-небес
Солнце-лунный мерцающий крест
крест из ночи и дня сквозь тебя и меня
двух друг в друга растающих чресл

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ПАРОВОЗ

Зеркальный паровоз
шел с четырех сторон
из четырех прозрачных перспектив
он преломлялся в пятой перспективе
шел с неба к небу
от земли к земле
шел из себя к себе
из света в свет
по рельсам света
вдоль
по лунным шпалам
вдаль
шел раздвигая даль
прохладного лекала
входя в туннель зрачка Ивана Ильича
увидевшего свет в конце начала
Он вез весь свет

и вместе с ним себя
вез паровоз весь воздух
весь вокзал
все небо до последнего луча
он вез
всю высь
из звезд
он огибал край света
краями света
и мерцал
как Гектор перед битвой
доспехами зеркальными сквозь небо

* * *

По комнате бродит медведь тишины
Я заброшен сюда из другого светлого века
мне смешно когда 4 стены
на одного свободного человека
Нет я не строил клетку из кирпичей
Это не я придумал замазывать солнце стеклом
Люди, хотите я позову врачей
и они прикажут разрушить каменный дом
А я... я заброшен сюда из другого светлого века
для меня ваше здание — каменное ничто
Мне смешно,
когда на одного свободного человека
надевают железное и каменное пальто

АХ БАХ

(Пассакалия)

Бах шагает многоэтажно
Бах вышагивает хорал
Рядом шествует Маяковский
Он вышагивает хор ад.
Бах преобразует орган в рояль
Орган для него всегда органичен
Зато в рояле он мелодичен
Орган нужнее
Рояль нежней
Бах восходит лесенкой Маяковского
Маяковский шагает вниз

Две мелодии сходятся и расходятся
в направлении в – из
Фуги Баха кудрявы, как его парик,
изысканы, как кружева манжет
каждая нота – вздох или вскрик
музыка как сюжет
Бах в органе величайший организатор
Маяковский – интроверт
Бах – экстраверт
Стала величайшим организатором
даже Бахова смерть
Бах неистовствует в органе
Маяковский оргазмирует стих
Организм Баха нематериален
Бах в Маяковском стих
Маяковский, заткните глотку,
не переорать Баха
Но иногда достаточно одного глотка
чтобы вкушать Бога
Маяковский делает вдох
Бах выдыхает ах
Бах есть, если есть Бог
Бог есть, если есть Бах
Евангелие от Баха
не знает страха
Маяковский сжал револьвер
– Пинь-пинь, тараБах –
тараБахнул Бах-зинзивверх

ГЕТЕ-НА-УМ

Страх и трепет и Кьеркегор
караулят меня в подъезде
Пионерский салют богам
Древней Греции отдал Гете
Гете тянет телесный гнет
сладкогрудую die-der-das Mädchen
Mädchen-Гретхен
и Гретхен – мед
Гретхен – грех
а не грех не Гретхен
Бытиё – это грудь её
Грудь её – это грусть её

Медицина бессильна
Гете неизлечим

Женская оптика обте-
каема для мужчин
Мужская оптика –
оптимум
нежных линз
нежных Гретхен
и Бедных Лиз

Но желаннее всех жен
обнаженная Элен
Эллинизм пленяет Гете
Гете едет в Древний Рим
Мне наплевать на бронзы многопудье
мне наплевать на мраморную слизь
пускай нам общим памятником будет
построенный богами Эллинизм

ЛИТАВР КРУЧЕНЫХ

Шостакович сидел со мною рядом в четвертом ряду
Я сидел рядом с ним
Это было в каком-то году
И Крученых был рядом
Он что-то ему говорил
Шостакович чесался и нервно без дыма курил
Тюбетейка Крученых сбивалась немножечко вбок
Шостакович был нервен, трагичен и очень глубок
Я сегодня не помню, о чем говорили они
Я сидел между ними
А рядом сидели они
Шостакович шептал
– Очень рад. Очень рад. Очень рад.
А на сцене творился из нот гармонический ад
А Крученых спросил
– Это вы вышли к себе через-навстречу-от?
Я ответил:
– Конечно.
Он довольно промолвил:
– Ну вот
Шостакович склонил свою голову чуточку вбок
А со сцены катился к нам из музыки нервный клубок
Эта встреча с Крученых продолжается где-нибудь там

Где сидит Шостакович и шепчет свое трам-там-там
Еще помню Крученых сказал Шостаковичу вдруг
– Ну и ну
Шостакович молчал, гром сливался в одну тишину
Шостакович – Крученых
А там над оркестром витал
А там над оркестром витал
Шостакович – Крученых – солнцелунных тарелок литавр

ДЕВЯТАЯ СИМФОНИЯ ДЛЯ БОНАПАРТА

Колонны мертвых движутся равномерно
Впереди всех новый Наполеон
Он как все – равномерно мертвый
но не на поле он
а на поле не он
Послушно вошли в пятачок поля и легли рядами
драгуны с конскими хвостами
на них уланов настил
как младенцы рядами лежат в роддоме
кто сколько мог картечи в себя вместил
Где-то над ними в облаках конь выделяет коленца
скачет по облаку спиной на всаднике
В координату Минковского ушла колонна
намалеванная на заднике
Повторя команду как молитву
Наполеон
в колонну вошел
и вышел в другую битву
Там бился с Гектором Агамемнон
Немирович с Данченко
Станиславский с Мейерхольдом
Залп – веер
Упал расстрелянный Мейер
Станиславский в треуголке покинул сцену
уводя полки всей системы
Надо хоронить всех в одном месте
тогда потомки будут знать
где кого искать
Раз-два-три-четыре-пять
я иду искать
Ищу генерала с оторванной головой без ног

ищу ногу без генерала
в овраге где гол и наг
Мейерхольд лежит с улыбкой дегенерата
Наполеон всегда помнил в лицах
как Бетховен помнил в агонии
партитуру Аустерлица –
полигон 9-й симфонии
Там в финале сгрудились кони
и ржали на всех наречиях
– Обнимитесь ми-и-и-лионы –
залп по коням картечью
Конская мишень стала кругом
дабы в десятку слиться
в самих себя и друг в друга
мясо – солнце Аустерлица
В сущности наплевать на политику
только музыка важна в гуле
Как сперматозоиды яйцеклетку
атакуют поле драгуны
Оплодотворенье = победе
Поражение – незачатие
В партитуре это пробелы
почему-то не пропечатанные
Обнимитесь – залп
Миллионы – снаряд
разорвался
крик стал молитвой
Каждый конь был нотой
но нотный ряд
был нарушен битвой
Армия нот атакует Жозефину
Луиза выходит замуж из боя
Армия окружает Луизу сзади
Жозефина отступает
уступая гобою
Овладев боем
Наполеон уходит в палатку
Здесь ждет его раскладной рояль
Он снимает саблю и треуголку
в тональности ля-бемоль
мажор

нисходя к минору
минор
восходя в мажор
Брату моему, королю Милана
Брату моему, королю Богемии...
Обнимитесь миллионы
королей без роду и племени
Бетховен открыл зеркальный рояль
Свет вникал в него
как в Титаник течь
В черных клавишах была ночь
Он не то играл не то смотрел
Наполеон смотрел в раскладной рояль
как в трюмо
Перед ним он брился
чистил зубы
засыпал
играя «баю»
Рояль, – говаривал Наполеон, –
необходимая вещь в бою
Его выдвигал на передовую генерал-маршал
рояль играл боевые марши
Во все стороны от него свет слад
в пространство зеркальных лат
Лучи скрестились – началась битва света
Наполеон зажмурился и упал с коня
А в небе Лондона вместо битвы
лучи показывали мираж-кино
В небе стоял зеркальный Наполеон
Зеркальные пушки палили из света в свет
Светлое воинство брало в небесный плен
всех кто в битве зеркал пересилил смерть
Залп
и луч летит мириады лет
огибая Медведицу и Кассиопею
так сплетаясь в клубок из небесных тел
образует зеркальное поле боя
Пока гнался Наполеон за Кутузовым
Кутузов ушел в леса
Пока гнался Кутузов за Наполеоном
Наполеон ушел в небеса

Там две армии напрасно ищут друг друга
натываясь на черные дыры
Скачет с пакетом всадник
Но пока он доскачет до поля битвы
поле зарастет васильками
и бересклетом
Наполеон в битве любил гамбиты
Бетховен переделывал их в квартеты
Говорят что струны пронизывают весь мир
говорят галактика наша один рояль
где глухой Бетховен или слепой Гомер
повторяют один и тот же ночной хорал
Слепота начинается там
где свет переходит в звук
Глухота начинается там
где звук переходит в свет
Жизнь кончается там
где смерть переходит в жизнь
Смерть кончается там
где жизнь переходит в смерть
Как театральный пожарный тушит пожар
пока от огня остается только железо
так на пожар Москвы приходит Пожарский
князь
с толпой чугунных головорезов
Театр военных действий давно опустел
200 лет всадники скачут в кругу светил
Минин чугунную длань над нами простер
и железный занавес опустил
Так Наполеон напрасно искал поле боя
бой от него уходил куда-то
Он и сейчас водит по небу за собою
облачных кавалеристов Мюрата
Потом поле боя искал Кутузов до ночи
но находил одни гати
Не хвались на рать идучи
а хвались идучи с рати
Меч Пожарского неотделим от чугунных ножен
тем и прекрасен этот чугунный меч
Так луч света бежит и догнать не может
от него уходящий луч

Елена КАЦЮБА

АЗБУКА

Розы сами не растут
Их создает садовник – конструктор розы
Он Р заберет у грома
 О отдаст рот
 З закажут замок и загадка
 А выдыхает май
РОЗА –
в ней “Ра” солнца
 “Ор” восторга
 “За” согласия
 “Аз” вязи азбуки
Аз – это А
А – каталог интонаций
А? А! А...
А – это всё
Я – это я
Идет алфавит от всего до меня
Алая и Белая розы – это А и Б любви
далее – Война Глаз, Дар Евы,
Желание, Забвение, Искренности Йод,
Кошка Ласки, Мед Неведения, Опиум Поцелуя,
Разорение Сада, Тьма Упрека, Фарфор
Хрупкости,
Церемония Чайная, Шепот и Щека
Ы – знак умножения: розЫ – буквЫ
Значит переход на ты
не сделает тебя одиноким
в розарии азбуки
где Эхо Ютится
и в конце всегда Я.

АЛХИМИК

Свинец непроницаем для радиации
но силы вошли в СВИНЕЦ
как бесы вошли в СВИНЕЙ
С ВИНОЙ ветхой
С ВИНОМ новым
С ВИДОМ неведомым
С АИДОМ античным
с криком ДАЙ ДОМ

РАЙ

Рай – всем нам дом
Он лозой пророс
Золото лоз – это свет
Нет земного золота в свете
но от золы лоз этих
все золото на земле
Две тропы ведут из рая
это плоть и путь
Первая: РАЙ-РОЙ-ПОЙ-ПОЛ-ЗОЛ
Вторая: РАЙ-ДАЙ-ДАО-ДНО-ОНО-ОКО
Так скажи раю “прощай”
и превращай
ЗОЛ ОКО
в
ЗОЛОТО

AURUM

У бетонных домов золотые окна
У подъемных мостов золотые цепи
Мед хранится в бензольных кольцах
они звенят –
день – день – день –
ночь.
В колодцах зрачков золотые точки
В колоннах авто золотые фары
Высокой октавой
высокооктановый
поет бензин.

Под платьем у женщины золотая кожа
Под кожей у мужчины бронзовый тигр
В клетке грудной легкие – птицы
Химия дыхания – кислород – углерод
В кошачьих зрачках селеновые луны
Сердце в подворотне громче шагов
Золото для сердца –
тяжелый металлллллллл.

ВАЛЮТА МЕЧТЫ

(Вариация на тему рифмы «кровь – любовь»)

Эстетика сближения будоражит кровь
любовь –
лунный удар
 в солнечное сплЕТЕНИЕ
 растЕНИЙ
 ТЕЛ
 ТОЛ любви
 взрывает АТОЛЛ покоя
не оставляя даже БИКИНИ
на теле и в океане
Нестерпимо пристрастна линза глаз любви
а голос ее –
единый лад оперы для двоих –
 не больше
но не дольше
чем от А-а-а!
 до О-о-о!
А дальше
ни-че-го
 кроме полета –
вечной валюты
 мечты

ДВЕРИ

Тебе открылись еще не все двери
Гул чугуна вес гула
красное остывая темнеет
что кровь что металл

открылись еще не все двери ТЕБЕ
Глаза встречаются молча
пуговицы расстегиваются молча
молния делает: «Вж-ж-ж-ж-ж-ик!»
еще не все двери ТЕБЕ ОТКРЫЛИСЬ
По черной луже рояля
проходит босая женщина –
игральная супер-карта
не все двери ТЕБЕ ОТКРЫЛИСЬ ЕЩЕ
Мораль – роль моли
санитарная дремота
внутри все осыпалось
все двери ТЕБЕ ОТКРЫЛИСЬ ЕЩЕ НЕ
Передвигая линии
переставляя слова
создаем варианты естества
ищем единый ключ
уводящий в понятий глушь
но порядок слов не закрепить
как птиц в караване птиц
они меняются местами
если устали
поэтому
двери ТЕБЕ ОТКРЫЛИСЬ ЕЩЕ НЕ ВСЕ
ТЕБЕ ОТКРЫЛИСЬ ЕЩЕ НЕ ВСЕ ДВЕРИ

КРАСИВЫЕ

Тен чениго иревекас депарга
Нет ничего красивее гепарда
Ягуар – гяур, гений угрозы
Красивые всегда грозны
Нио гвесад –
они всегда.
Тигр и зебра вроде играют в одну игру
Мавра-ревнивца над ланью
играет пантера, рыча
Лев играет царя молча
Он властью солнца свят

Красивые всегда играют
Аргия яргот –
играя горят
Нио гвесад

Перекатывая гортанью гравий,
вверх – пружина – прыжок –
леопард

Красивые всегда правы
Нио гвесад

Оге муш немшубес –
Его шум бесшумен.
Безумен
кто не отвел взгляд.

Красивые вроде хищные пляжи
или прожорливые ковры,
где внутри
огненные шары перебегают.

Не засыпай,
тебя растерзают.
Не убегай –
все равно растерзают.

Красивые всегда терзают
Он ен од мертис –
но не до смерти.
Но не до смерти –
он ен од мертис.

ЛАД ЛАДОНИ

Не позволяй никому чужому
вникать в рисунок твоей ладони.
Из-за небрежного прикосновенья
формула смысла изменит значение,
линия взлета сойдет с пути
и превратится в крутые ступени.

Эти ступени в степени стен
эти стены в степени солнц
эти солнца в степени ос
эти осы – везде глаза.

Правый глаз называют Эрэль,
в нем жук оживает вслед за осой;

левый глаз именуют Глор,
он множит хрусталиком стекла дней;
третий глаз погружен во тьму,
Эрчи Релейдер имя ему.
Руки находят на теле
множество тайных имен,
когда в темноте
постигают телесный объем.

На левой ладони –
всеобщий чертеж,
его изучает медленный взгляд жука.
На правой ладони –
каждому личный рельеф,
его повторяют в воздухе быстрые взгляды ос.
Это окно в квадрате луны,
это деревья в кубе домов,
это прозрачные дробы дождя,
нет им решенья в пределах дня,
это круглые скобки век,
что прикрывают формулу сна.

Сложи ладони обложкой книги себя,
она проста и доступна,
словно узор
на луне.
Там тайное тайно,
а явное – тайно вдвойне.

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

ENGLISCHER GARTEN

Апатичное лето уступает
рассеянной осени
пространство неторопливого листопада
антрацитовый ворон картавит
в мутно-зелёной траве
вероятно о том
что нет ничего прекрасней распада
которому не до забот
о последствиях
или потомках
и неведомо что наводит на мысль
об античности без ренессанса
возле старой стены
в морщинах
уже зимующего плюща
за которой в разодранной паутине деревьев
мерещится бывший лес
узнавший на собственном опыте
что рвётся не там где тонко
скорее наоборот
и что склонные к одиночеству
слава Богу не складываются в народ
дорожа отдаленьем ни с кем несходства
где ничто не напоминает
что Давиду на Голиафа нужна праща
и что жизнь это лишь разновидность борьбы
по правилам или без
потому что когда наконец всех победишь
что за радость
жить среди побеждённых?..

Октябрь 2004

НЕЛЁТНАЯ ПОГОДА

Под ногами листва говорит, что вокруг –
сплошь платаны и клёны,
и немного странно глядеть на них свысока;
по нестриженому газону, зелёному не по сезону,
седая такса выгуливает колченогого старика;
чуть не сразу после дождя исчезают лужи,
однако свет по-прежнему немощен,
впору с утра зажигать фонари,
и не любят без крайней надобности
высовываться наружу
признаки призрачной жизни,
происходящей внутри;
при виде собаки утки бросаются в воду, не зная броду,
и похоже на то, что всюду полным-полно
напряжённого ожидания
то ли пятого времени года,
то ли золотого века, что, в общем-то, есть одно
и то же. А в получасе от дома
месяцев девять в году
монументально хлопочет фонтан
с изваянием молодого, ещё безбородого Посейдона,
который станет заросшим Нептуном
не здесь и сейчас, но тогда и там,
то есть в Риме – времён, до которых
пальцев не хватит для счёта,
где Савл обернётся Павлом и Цезарем – бывший Брут,
и охота пуще неволи – вглядываться в темноты
исторических метаморфоз
и прочий напрасный труд,
например, представить себе,
как ни с того, ни с сего, из пустого упрямства
не желая озираться ни по сторонам, ни назад,
самолёт в клочковатом тумане времени и пространства,
миновав по пути Петербург, прилетит в Ленинград –
и затеряется в позапрошлых снегах косолапых,
потому что летучей памяти субтильное существо –
не пунктирная вереница видений, но только запах
под ногами листвы. И более ничего.

Ноябрь 2004 München

СИЛУЭТ

Ворон ворону глаз протирает
увидеть на границе веков
пелену светотемени
где у времени
время от времени
возникает азарт и соблазн
чужими руками раскладывать
исторические пасьянсы
географических карт
которые всякий раз на самую малость
не сходятся
то ли погода не та
то ли в часах пружина сломалась
и соль упущенных возможностей
выпадает в осадки
умеренные до сильных
отображенные в марках и маршах
изверженья
пожары
потопы
прекрасные в стиле плутархов
и плиниев-старших
а также
если глядеть свысока
где воздух и место
для одного
силуэта фламинго
на игле Эвереста...

Октябрь 2003 München

НОМО URBANUS

После весенней гипертонии
склеротических рек
наступает пора тротуаров
усыпанных каменной крошкой
чтобы не оскользнуться
на солнечных пятнах
и выяснения запутанных отношений
беспредметных имен
и безымянных предметов
замечательная возможность привыкнуть
к взаимному непониманию
отрешиться

от павлиньего спектра событий
и воспарить
воображаясь Фаустом
победительным петухом
с жемчужиной в клюве
а женщины смотрят на встречающих мужчин
как на некую
необходимую часть
здорового образа жизни
и никому не хочется
быть женою Лота
чье имя
как говорится
в истории не сохранилось
но когда перед этою публикой
не избранной и не званной
однако готовой
ото всего откупиться
на временно обустроенной сцене
обнесенной колючкою рамп
перестаем играть
друг для друга
друг с другом
друг в друга
тогда мы умираем...
Август 2001 München

ФЛАМЕНКО

*На серебряных цезурах...
Шенгели*

Три-четыре бесценных
архитектурных ансамбля
непоспешно ветшают невдалеке,
и серебристо-серая цапля
на жёлто-зелёной
обмелевшей реке
замирает в профиль,
помогая фотографу-простаку,
возле моста,
сработанного руками Рима,
и взлетает по неслышанному щелчку,
как после выстрела мимо.
Пересохшее мельничное колесо
и настырной гитары гравюрные звуки

обрамляют несложную мысль, что не всё
на своя возвращается круги,
что занимавшее воображение с утра
нетерпение чувств
и желание славы
и прочая малость,
как выясняется к вечеру, было уже вчера,
там и осталось.
Так что лучше, пожалуй,
вникать в исторический след
тех, кто жили да были да сплыли,
и запутывать замысловатый сюжет
в сюрромантическом стиле,
и следить, как узор мавританских писем
расплывается в мареве мутно-стеклянном
на извилистой улице,
где когда-то Кармен
разминулась на пару веков с Дон Хуаном...

Сентябрь-октябрь 2003

Cordoba – Seville – München

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ

Поди разберись в происходящем с тобою, - вроде
только что был пролог,
а уже похоже на эпилог...
Во саду ли заглохшем, в неполотом огороде
колкими выпадами зигзагов
произрастает чертополох.
И весьма занимательно перебирать варианты
вероятной развязки,
убеждаясь, что ни к одному не готов.
На соседском балконе самозванный кенарь-бельканто
запутался в неповторимости
собственных песен без слов.
По утрам в отлетающей дымке дыханья двоятся
облюбованные чайками бессветные фонари
и вспоминается –
по не самой причудливой из возможных ассоциаций -
трехцветная кошка, гуляющая
в шпалерных зарослях Тюильри,
или как в безопасности от изысканной кошки
и прочих реальных и виртуальных врагов
возле пустой скамейки подбирают бисквитные крошки
в парке Миро попугаи с повадками воробьев.

Впрочем, всегда отыщется
повод к бессмысленной грусти,
например, что жизнь,
постепенно исчерпывая свою длину,
всё больше напоминает исток, а не устье,
и занудным журчаньем то и дело клонит ко сну.
И впечатленья, которые
время от времени подбрасывает Европа,
осужденная былыми пророчествами
на закат, прозябанье, крах, —
горсть разноцветных стекляшек
в трубке калейдоскопа,
медленно поворачивающегося в неразличимых руках.
Декабрь 2004 München

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

Становится всё более нерезким,
Что быть могло бы, если бы да кабы...
Ну, вот уже и смысла нет, и не с кем
Поговорить о странностях судьбы.
И взглядом отмечаешь между делом,
Отвлёкшись от своих черновиков,
Как проступает белая на белом
Изменчивость ленивых облаков,
Взобравшийся по травяному склону
Краплённый граб возносит до небес
Стремительно скудеющую крону,
где поползень танцует полонез,
И вычерченное тончайшей кистью
Змеиное струение реки,
Где вольно распластавшиеся листья
Стремглав пустились наперегонки.
И смешивая облики и лица,
И впечатленья превращая в дым,
Октябрьский день непоправимо длится,
И тем привычней, что неповторим, —
И выглядит бесцельно-совершенным,
Как будто вопреки природе он
Одним небрежно-радостным движеньем
Из пустоты и мрака сотворён.
Октябрь 2004 Мюнхен

Осип МАНДЕЛЬШТАМ

Дано мне тело - что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.

Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.

Пушай мгновения стекает муть, –
Узора милого не зачеркнуть.

1909

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,

И печальна так и хороша
Темная звериная душа:

Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить

И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.

1909

Слух чуткий парус напрягает,
Расширенный пустеет взор,
И тишину переплывает
Полночных птиц незвучный хор.

Я так же беден, как природа,

И так же прост, как небеса,

И призрачна моя свобода,

Как птиц полночных голоса.

Я вижу месяц бездыханный

И небо мертвенней холста, –

Твой мир, болезненный и странный,

Я принимаю, пустота!

1910

Osip MANDELSTAM

Man gab mir einen Körper - wer
Sagt mir, wozu? Er ist nur mein, nur er.
Die stille Freude: atmen dürfen, leben.
Wem sei der Dank dafür gegeben?
Ich soll der Gärtner, soll die Blume sein.
Im Kerker Welt, da bin ich nicht allein.
Das Glas der Ewigkeit - behaucht:
Mein Atem, meine Wärme drauf.
Die Zeichnung auf dem Glas, die Schrift:
Du liest sie nicht, erkennst sie nicht.
Die Trübung, mag sie bald vergehn.
Es bleibt die zarte Zeichnung stehn.

1909

Deutsch von Paul Celan

Keine Worte, keinerlei.
Nichts, das es zu lehren gilt.
Sie ist Tier und Dunkelheit,
Sie, die Seele, gramgestellt.
Nicht nach Lehre steht ihr Sinn,
Nicht das Wort ists, was sie sucht.
Jung durchschwimmt sie, ein Delphin,
Weltenschlucht um Weltenschlucht.

1909

Deutsch von Paul Celan

Das horchende, das feingespannte Segel.
Der Blick, geweitet, der sich leert.
Der Chor der mitternächtgen Vögel,
Durchs Schweigen schwimmend, ungehört.
An mir ist nichts, ich gleich dem Himmel,
Ich bin, wie die Natur ist: arm.
So bin ich, frei: wie jene Stimmen
Der Mitternacht, des Vogelschwarms.
Du Himmel, weißestes der Hemden,
Du Mond, entseelt, ich sehe dich.
Und, Leere, deine Welt, die fremde,
Empfang ich, nehme ich!

1910

Deutsch von Paul Celan

SILENTIUM

Она еще не родилась,
Она - и музыка, и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
И пены бледная сирень
В черно-лазуревом сосуде.

Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!

1910

Как кони медленно ступают,
Как мало в фонарях огня!
Чужие люди, верно, знают,
Куда везут они меня.

А я вверяюсь их заботе.
Мне холодно, я спать хочу.
Подбросило на повороте,
Навстречу звездному лучу.

Горячей головы качанье
И нежный лед руки чужой,
И темных елей очертанья,
Еще невиданные мной.

1911

SILENTIUM

Sie ist noch nicht, ist unentstanden,
Musik ist sie und Wort:
So lebt, verknüpft durch ihre Bande,
Was west und atmet, fort.

Im Meer das Atmen, ruhig, immer,
Das Licht durchwächst den Raum;
Aus dem Gefäß, das bläulich schimmert,
Steigt fliederblasser Schaum.

O könnt ich doch, mit meinem Munde,
Solch erstes Schweigen sein,
Ein Ton, kristallen, aus dem Grunde,
Und so geboren: rein.

Bleib, Aphrodite, dieses Schäumen,
Du Wort, geh, bleib Musik.
Des Herzens schäm dich, Herz, das seinem
Beginn und Grund entstieg.

1910

Deutsch von Paul Celan

Der Schritt der Pferde, sacht, gemessen.
Laternenlicht - nicht viel.
Mich fahren Fremde. Die wohl wissen,
Wohin, zu welchem Ziel.

Ich bin umsorgt, ich bin es gerne,
Ich suche Schlaf, mich friert.
Dem Strahl entgegen gehts, dem Sterne,
Sie wenden - wie es klirrt!

Der Kopf, gewiegt, ich fühl ihn brennen.
Die fremde Hand, ihr sanftes Eis.
Der dunkle Umriß dort, die Tannen,
Von denen ich nichts weiß.

1911

Deutsch von Paul Celan

О небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!

1911

РАКОВИНА

Быть может, я тебе не нужен,
Ночь; из пучины мировой,
Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой.

Ты равнодушно волны пенишь
И несговорчиво поешь,
Но ты полюбишь, ты оценишь
Ненужной раковины ложь.

Ты на песок с ней рядом ляжешь,
Оденешь ризою своей,
Ты неразрывно с нею свяжешь
Огромный колокол зыбей,

И хрупкой раковины стены,
Как нежилого сердца дом,
Наполнишь шепотами пены,
Туманом, ветром и дождем...

1911

O Himmel, Himmel, du kommst wieder, wieder
Im Traum! Dies kann nicht sein: daß du erblindet bist,
Daß hier der Tag, ein weißes Blatt, ganz niederbrannte, nieder
Zu diesem bißchen Rauch, zu diesem Aschenrest!

1911

Deutsch von Paul Celan

DIE MUSCHEL

Ich weiß es, Nacht: ich geh dich wohl
Nichts an. Aus ihr, der Weltenschlucht,
Geschleudert, eine Muschel, hohl,
Lieg ich am Rande deiner Bucht.

Du Unbeteiligte, du rollst
Dein Meer, du hörsts nicht, singst, singst fort.
Doch sie, die leer und unnütz ist, du sollst
Sie lieben, deine Muschel dort.

Im Sand, da liegt ihr, dein Gewand
Schlägst du um sie, die zu dir schlüpft.
Die große Glocke Dünung: an
Euch beide hast du sie geknüpft.

Die Wände - brüchig; dieses Haus
Ist unbewohnt, wie's Herzen sind.
Du füllsts mit Schaumgeflüster aus,
Mit Regen, Nebelschwaden, Wind...

1911

Deutsch von Paul Celan

Paul CELAN

Aus dem Gedichtband »MOHN UND GEDÄCHTNIS«

TALGLICHT

Die Mönche mit haarigen Fingern schlugen das Buch auf: September.
Jason wirft nun mit Schnee nach der aufgegangenen Saat.
Ein Halsband aus Händen gab dir der Wald, so schreitest du tot übers
Seil.
Ein dunkleres Blau wird zuteil deinem Haar, und ich rede von Liebe.
Muscheln red ich und leichtes Gewölz, und ein Boot knospt im Re-
gen.
Ein kleiner Hengst jagt über die blätternden Finger –
Schwarz springt das Tor auf, ich singe:
Wie lebten wir hier?

ESPENBAUM

Espenbaum, dein Laub blickt weiß ins Dunkel.
Meiner Mutter Haar ward nimmer weiß.
Löwenzahn, so grün ist die Ukraine.
Meine blonde Mutter kam nicht heim.
Regenwolke, säumst du an den Brunnen?
Meine leise Mutter weint für alle.
Runder Stern, du schlingst die goldne Schleife.
Meiner Mutter Herz ward wund von Blei.
Eichne Tür, wer hob dich aus den Angeln?
Meine sanfte Mutter kann nicht kommen.

Пауль ЦЕЛАН

Избранные стихи

Перевод с немецкого Игнатия-Андрея Крекшина

Вместо предисловия

Выбранные почти наугад – так подбирают осколки драгоценного сосуда – фрагменты стихотворного наследия Пауля Целана позволяют всё же услышать голос поэта, свидетеля разверзтой бездне рокового XX века. Тема Шоа, Катастрофы европейского еврейства, которую Целан предпочитал обозначать скорее словом Хурбан (евр. - разрушение), запечатленная в незабываемой «Фузе смерти» (1947) и ставшая сквозной для всего его творчества, представлена стихами «Осина» (1945), «Tenebrae» (1957) и «Земля была в них» (1959). О том, что поэзия Целана не только была отмечена печатью трагедии и смерти, но и согрета глубоким лиризмом сокровенной любви, свидетельствуют публикуемые здесь «Сальная свеча» (1946), «Соропа», «Кто как ты» (оба стиха - 1948) и «Так много созвездий» (1960). Смерть, освященная памятью любви, и скрепленная смертью любовь – вспомним «крепка, как смерть, любовь» (Песнь Песней 8, 6) – не это ли напряжение всей поэзии Целана? Не это ли итог жизни каждого из нас?

И.-А. Крекшин

Из книги «МАК И ПАМЯТЬ»

САЛЬНАЯ СВЕЧА

Чернецы с волосатыми пальцами открывают книгу: сентябрь.
Теперь Ясон бросает снег на взошедшие посевы.
Ошейник из рук давал тебе лес, и ты ступаешь мертво через струну.
Темная синь - удел волос твоих, и я говорю о любви.
Раковинами я говорю и легкими облаками, и лодка распускаяется в дожде.
Маленький жеребец мчится по листающим пальцам –
Мрачно распахиваются врата, и я пою:
Как жили мы здесь?

ОСИНА

Осина, твоя листва белеет во тьме.
Волосы моей матери никогда не побелели.
Одуванчик - так зелена Украина.
Моя белокурая мать не вернулась домой.
Туча дождевая, замедлишь ты у колодцев?
Моя тихая мать плачет за всех.
Круглая звезда, ты вьешься золотым шлейфом.
Сердце моей матери изранено было свинцом.
Дубовая дверь, кто снял тебя с петель?
Моя нежная мать не может прийти.

CORONA

Aus der Hand frißt der Herbst mir sein Blatt: wir sind Freunde.
Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehn:
die Zeit kehrt zurück in die Schale.

Im Spiegel ist Sonntag,
im Traum wird geschlafen,
der Mund redet wahr.

Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten:
wir sehen uns an,
wir sagen uns Dunkles,
wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis,
wir schlafen wie Wein in den Muscheln,
wie das Meer im Blutstrahl des Mondes.

Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße:
es ist Zeit, daß man weiß!
Es ist Zeit, daß der Stein sich zu blühen bequemt,
daß der Unrast ein Herz schlägt.
Es ist Zeit, daß es Zeit wird.
Es ist Zeit.

WER wie du und alle Tauben Tag und Abend aus dem Dunkel
schöpft,
pickt den Stern aus meinen Augen, eh er funkelt,
reißt das Gras aus meinen Brauen, eh es weiß ist,
wirft die Tür zu in den Wolken, eh ich stürze.

Wer wie du und alle Nelken Blut als Münze braucht und Tod als
Wein,
bläst das Glas für seinen Kelch aus meinen Händen,
färbt es mit dem Wort, das ich nicht sagte, rot,
schlägt in Stücke mit dem Stein der fernen Träne.

Aus dem Gedichtband »SPRACHGITTER«

TENEBRAE

Nah sind wir, Herr,
nahe und greifbar.

Gegriffen schon, Herr,
ineinander verkrallt, als wär
der Leib eines jeden von uns
dein Leib, Herr.

Bete, Herr,
bete zu uns,
wir sind nah.

CORONA

Из руки моей осень ест свою листву: мы друзья.
Мы время вылушиваем из орехов и учим его ходить:
время возвращается в скорлупу.

В зеркале – воскресенье,
во сне спится,
уста говорят правду.

Мой взгляд опускается к лону возлюбленных:
мы разглядываем друг друга,
мы говорим загадками,
мы любим друг друга как мак и память,
мы спим как вино в раковинах,
как море в кровавом потоке луны.

Мы стоим, обнявшись в окне, они смотрят на нас с улицы:
пора знать!

Пора камню решиться цвести,
беспокойству в сердце бить.

Пора быть поре.

Пора.

Кто как ты и голуби все день и вечер черпает из тьмы,
звезду клюет из глаз моих, прежде чем она засверкает,
траву вырывает из бровей моих, прежде чем она побелеет,
дверь захлопывает в облаках, прежде чем я упаду.

Кто как ты и гвоздики все кровь как монету требует и смерть как
вино,
стекло выдувает из рук моих для чаши своей,
словом, что я не сказал, в красное красит его,
вдребезги разбивает его камнем чужих слез.

Из книги «РЕШЕТКА РЕЧИ»

TENEBRAE

Близко мы, Господь,
близко – схватишь рукою.

Уже схватились, Господь,
вцепились друг в друга, будто
тело каждого из нас –
твое тело, Господь.

Молись, Господь,
молись нам,
мы близко.

Windschief gingen wir hin,
gingen wir hin, uns zu bücken
nach Mulde und Maar.
Zur Tränke gingen wir, Herr.
Es war Blut, es war,
was du vergossen, Herr.
Es glänzte.
Es warf uns dein Bild in die Augen, Herr.
Augen und Mund stehn so offen und leer, Herr.
Wir haben getrunken, Herr.
Das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr.
Bete, Herr.
Wir sind nah.

Aus dem Gedichtband »DIE NIEMANDSROSE«
(Dem Andenken Ossip Mandelstamms)

ES WAR ERDE IN IHNEN, und
sie gruben.
Sie gruben und gruben, so ging
ihr Tag dahin, ihre Nacht. Und sie lobten nicht Gott,
der, so hörten sie, alles dies wollte,
der, so hörten sie, alles dies wußte.
Sie gruben und hörten nichts mehr;
sie wurden nicht weise, erfanden kein Lied,
erdachten sich keinerlei Sprache.
Sie gruben.
Es kam eine Stille, es kam auch ein Sturm,
es kamen die Meere alle.
Ich grabe, du gräbst, und es gräbt auch der Wurm,
und das Singende dort sagt: Sie graben.
O einer, o keiner, o niemand, o du:
Wohin gings, da's nirgendhin ging?
O du gräbst und ich grab, und ich grab mich dir zu,
und am Finger erwacht uns der Ring.

Скособочась шли мы туда,
шли мы туда – склониться
над мааром и мультдой.
К пойлу шли мы, Господь.
Это была кровь, это было
тем, что ты пролил, Господь.
Она блестела.
Она бросала нам твой образ в глаза, Господь.
Глаза и рот столь открыты и пусты, Господь.
Мы испили, Господь.
Кровь и образ, что в крови был, Господь.
Молись, Господь.
Мы близко.

Из книги «НИЧЬЯ РОЗА»
(Памяти Осипа Мандельштама)

ЗЕМЛЯ БЫЛА В НИХ, и
они рыли.
Они рыли и рыли, так уходил
на это их день, уходила их ночь. И они не хвалили Бога,
который, как они слышали, всего этого хотел,
который, как они слышали, всё это знал.
Они рыли и больше ничего не слушали;
они не становились мудрей, не складывали песню,
не придумывали себе никакого языка.
Они рыли.
Штиль наступал, и шторм был порой,
и все моря наступали.
Я рою, ты роешь, и червь также роет,
и поющее там говорит: они роют.
О, некто, о, ты, о, никто, никакой:
Куда делось то, когда оно на бесцельность ушло?
О, ты роешь, я рою, и я зарываюсь с тобой,
и на пальце у нас пробуждается кольцо.

SOVIEL GESTIRNE, die
man uns hinhält. Ich war,
als ich dich ansah – wann? –,
draußen bei
den andern Welten.

O diese Wege, galaktisch,
o diese Stunde, die uns
die Nächte herüberwog in
die Last unsrer Namen. Es ist,
ich weiß es, nicht wahr,
daß wir lebten, es ging
blind nur ein Atem zwischen
Dort und Nicht-da und Zuweilen,
kometenhaft schwirrte ein Aug
auf Erloschenes zu, in den Schluchten,
da, wo's verglühte, stand
zitzenprächtigt die Zeit,
an der schon empor- und hinab-
und hinwegwuchs, was
ist oder war oder sein wird –,
ich weiß,
ich weiß und du weißt, wir wußten,
wir wußten nicht, wir
waren ja da und nicht dort,
und zuweilen, wenn
nur das Nichts zwischen uns stand, fanden
wir ganz zueinander.

ТАК МНОГО СОЗВЕЗДИЙ,
протянутых нам. Я был,
когда рассматривал тебя – когда? -,
не здесь, в
иных мирах.

О, эти пути, млечные,
о, этот час, что
прибавлял нам тяжесть ночи к
бремени наших имён. То,
знаю я, не правда,
что мы жили, только
слепо шло дыхание между
Там и Не-здесь и Иногда,
подобно комете просвистывал глаз
к угасшему, в ущельях,
там, где оно угасало, стояло
пышными сосками время,
на нём и вверх, и вниз,
и вдаль уж прорастало то, что
есть или было или будет -,

я знаю,
я знаю и ты знаешь, мы знали,
мы не знали, мы
ведь были здесь и не там,
и иногда, когда
стояло между нами лишь Ничто, мы находили
полностью друг друга.

Настоящая публикация осуществлена по следующим изданиям: Paul Celan, Mohn und Gedächtnis 1952 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH («Осина», «Сальная свеча», «Corona», «Кто как ты»), Paul Celan, Sprachgitter. Gedichte 1959 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main («Tenebrae»), Paul Celan, Die Niemandsrose. Gedichte 1963 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main («Земля была в них», «Так много созвездий»), с разрешения соответствующих издательств и с любезного согласия Эрика Целана.

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

Диалог с композитором Родионом ЩЕДРИНЫМ

Какой для Вас был бы лучший комплимент?

Затруднительный вопрос (смеется). Вы знаете, самые лучшие комплименты, известные из истории – это, помните, когда Пушкин говорил: "Ай-да, Пушкин, ай-да, сукин сын!" Или Блок: "Сегодня я был гений после двенадцати"... Так что, я думаю, комплименты, так сказать, от самого себя – самое ценное для любого художника, в том числе и для меня.

Любите ли Вы собственную музыку?

Всегда, когда работаешь над сочинением, увлекаешься им. И любовь к сочинению тогда, как правило, безмерна. Но потом, естественно, остываешь. Характерно другое: иногда после долгого перерыва слушаешь его вновь и даже если остаешься в целом им доволен, тем не менее, всегда слышишь, что писалось со свежей головой, с воображением, или же когда это было немного вымучено, преодолевалось, так сказать, к сроку. С годами прочитывается и прослушивается это очень легко.

Словом, даже гении порой "вымучивают" свои произведения. Не находите ли Вы, что быть гением может "войти в привычку"?

Знаете, о гениальности лучше всего сказал, по-моему, Толстой. Не ручаюсь за точность, но это звучало примерно так: каждый человек может в жизни написать одно гениальное письмо, писатель, может сочинить одну поразительную повесть, ну, а гений – это вол. Вот как хотите, так это и расшифровывайте.

Грубо говоря, гений – это не только качество, но и количество.

Плюс всегда колоссальный заряд некоей термоядерной мощи.

Есть ли у Вас какое-нибудь творческое кредо? Или жизненное правило?

Самое любимое и часто повторяемое моё выражение: ленивый всё делает дважды. Знать это и в жизни полезно, и в профессиональной работе подхлестывает – если поленишься, то потом потратишь на то же самое дополнительно уйму времени.

Означает ли это, что Вы Вашу жизнь по дням и часам всегда хорошо организуете?

Да нет, просто я имею в виду, если мы что-то небрежно или второпях делаем, и при этом уговариваем себя: ну, ладно, как-нибудь потом... А потом приходится чуть ли не всё исправлять, да и тратить сил в два-четыре раза больше. Что касается планирования, то это дело тоже творческое. Одно могу я сказать твёрдо – не люблю хаоса ни в жизни, ни в работе.

Категории признания, славы в искусстве – поддаются ли они планированию? Возможно, они тоже зависят в известной степени от целенаправленности, или от лени, неумения организовать, так сказать, себе успех, завязать контакты со знаменитыми исполнителями. И как следствие, одни композиторы недооценены, другие переоценены.

Мне кажется, право принадлежности, так сказать, к большому искусству – вещь чрезвычайно справедливая. Вся история музыки, да и не только музыки, воздаёт должное всем, кто того заслуживает. Время от времени энтузиасты "откапывают" современников, скажем, Бетховена, увлекаются ими. И по-справедливости, ведь любая хорошая, профессиональная музыка имеет право на звучание. Иногда вновь открытые имена, становятся на определённый период даже модными. Так одно время очень много стали исполнять Михаэля Гайдна, но мне кажется, что высочайший масштаб гениального Иозефа Гайдна от этого высветился и засверкал ещё ярче. А брат его, – никто с этим и не спорит, – был высокообразованный музыкант, но его творческий потенциал был менее наполненным. Так что я думаю, если кто-то сегодня недооценён или переоценён, то время всё расставит по своим местам. Подлинное музыкальное сочинение – это живой организм с кровообращением, с печенью, почками, поджелудочной железой, с сердцем, умом... Если же это нечто из музея мадам Тюссо, то скорее всего такая музыка может вызвать интерес лишь временного толка.

Вам наверняка знакомы довольно категоричные высказывания двух композиторов-антиподов: Арнольда Шёнберга, утверждавшего, что "Музыка выражает всё, что заложено в нас...", и Игоря Стравинского, считавшего что "Музыка вообще бессильна выразить что-либо".

Я склонен согласиться с первым высказыванием. Ведь музыка при всей абстрактности своего строительного и технологического материала, всё-таки колоссально заряжена и мощью изобразительной, и эмоциональной, и описательской, и юмористической... По сути, она безгранична в своих возможностях. Я вообще думаю, музыка нам Господом Богом дана для того, чтобы человек не словесно, а душевно осознал своё место на земле, в мироздании, задумался бы о скоротечности нашей жизни, о вечности наших высочайших, так сказать, моральных икон, о природе, закономерностях небесной системы, и так далее... Думаю, ничто так близко как музыка не стоит в прикосновении к тайнам бытия, каждой человеческой особи, животного мира, растений, смены дня и ночи, времён года...

Имена композиторов широкая публика часто связывает с одним-двумя сочинениями: Стравинский – "Петрушка", Моцарт – "Турецкий марш", Бетховен – "Лунная соната", Шедрин – "Частушки" или "Кармен-Сюита". Не раздражает ли Вас такое клише?

Каким-то произведениям при жизни композитора уготована счастливая судьба. Часто это связано с обращением к ним знаменитых исполнителей, которые дают им первый толчок, а потом уже они уходят в мир, получив изначально скорость, необходимую для завоевания, образно говоря, публики. Так что мне думается часто такие клише возникают от неосведомлённости, люди не знают, что ты сделал за последние годы. Эта знаменитая история, когда Вагнер пришёл к Россини, который не знал, что перед ним стоит уже автор "Тангейзера" и других значительных опер. Россини был композитором предыдущего поколения. Пластинок не было. Как он мог Вагнера оценить? Только по отдельным высказываниям в разговоре, который, собственно говоря, и не сложился. То есть, даже между профессионалами срабатывало определённое клише. Высокое искусство, повторюсь, вещь справедливая, и живёт другими временными измерениями – вечными. Это развлекательная эстрада, рок, массовая культура обслуживает одно поколение, я бы сказал – по вертикали – одно поколение радуется, наслаждается той или иной "звездой" и... забывает.

Справедливо ли утверждение: "публика – дура"? Особенно в классической музыке. Публика приходит в концертный зал эдаким потребителем и как бы вопрошает: что ты там мне приготовил? И сколько же надо всякий раз усилий, таланта, а иногда и просто сильно действующих, эпатирующих эффектов, чтобы её расшевелить.

Смотря какая публика. Инерция – это, конечно, колоссально сдерживающая мощь. Дом классической музыки перенаселён, знаете ли, до предела: сидят, спят, едят в коридорах, на лестницах. Порою замечательным сочинениям втиснуться в эту обитель высокого искусства очень трудно. Ещё Стравинский говорил, что публика предпочитает *не познавание, а узнавание*. Поэтому так распространены концерты по заявкам во всех странах. Это естественный процесс, но всё равно надо продолжать сочинять музыку.

Существуют ли для Вас особые критерии в оценке собственных сочинений?

Для меня есть два решающих критерия: отношение к сочинению музыкантов оркестра – их на мякине не проведешь, не обманешь, они переиграли всё на свете, и если я слышу, как в паузах артисты оркестра пытаются повторить, «уложить» тот или иной пассаж, усовершенствовать его, значит они прониклись, увлеклись твоей музыкой, и ты выиграл полсражения. Иначе их не заставишь это сделать никакими силами. Это, впрочем, касается и вообще исполнителей. Второе – публика. Если в зале воцаряется при исполнении твоей музыки тишина, та, про которую Пастернак говорил: *тишина – ты лучшее, что я слышал*, если публика не думает о завтрашней суете, забывается в стихии звуков – вот это для меня играет наиважнейшую роль, даже не мнение коллег.

Идея совершенства – это нечто вроде бы само собой разумеющееся, лежащее в основе любой творческой деятельности. Но задумываетесь ли Вы об этом в момент сочинения, или сам материал ведёт Вас за собой?

У меня бывают два рабочих состояния. Одно, когда всё получается и укладывается в твоём воображении, как будто кто-то водит твоей рукой за письменным столом, сама собой складывается тесситура, точно располагается состав оркестра, голоса начинают сходиться... А иногда начинаешь себя принуждать, прорываться через какую-ту искусственную запруду, мучаешься из-за каждой мелочи.

Но слушатели об этом вряд ли догадываются, и возможно, что именно там, где Вы чувствовали это сопротивление, Вас ожидает наибольшая удача и успех?

Но сам я всё-таки с годами почти безошибочно узнаю, где я работал как бы «по подсказке свыше», а где я себя принуждал. Без строжайшей самооценки композитору нельзя существовать. Техника всё-таки у меня достаточная, надеюсь, меня не упрекнут за это в хвастовстве. И если не делать никакого критического отбора

и просто писать и писать? Так сказать, вылезать на технику? Это не мой путь. Хотя, когда я преподавал, то часто предлагал своим ученикам написать какое-либо сочинение, как бы не задумываясь. Что пришло в голову, то и пиши, вырабатывай технику, учишься понимать, что музыка – это искусство, разворачивающееся во времени, учишься отбирать необходимое, избегать преувеличений и так далее. Словом, такого рода упражнения чрезвычайно полезны.

Композиция – профессия, или в первую очередь некий дар свыше?

Сейчас можно взять выпускника университета и обучить его сочинять музыку в течение нескольких месяцев, даже научить его основам полифонии и другим необходимыми вещам, но всё же необходимо что-то ещё другое – особая музыкальность, специальный состав аминокислот, расположенный в определённом порядке. Не случайно же есть люди математического склада ума и, так называемые, гуманитарии. Они же противоречат друг другу даже в быту. Скажем, я могу запутаться и в двухзначных числах.

Но математика и музыка имеют так много общего.

Безусловно, но всё же я бы сказал, что 60 процентов – это голос Бога, и лишь 40 – техническая смекалка, умение, просто набитая рука.

60 на 40 – чем не магия чисел? Существуют ли для Вас магические, излюбленные, так сказать, «щедринские» комбинации или проторенные дорожки при сочинении музыки?

Вы знаете, новым быть не трудно, трудно быть вечным. Что касается каких-то клише, наработанных приёмов, технологий, это можно назвать и профессионализмом.

Можно и творческим почерком.

Ну, я не знаю, музыка живёт по определённым законам, которые изучаются. Скажем, перенесение звука в другую октаву, динамическая шкала, штрихи, и так далее – всё что может совершенно преобразить один и тот же звук. А оркестровые тембры, регистры, или сложнее комбинации подвижного контрапункта... Всё это в арсенале у всякого композитора, если он вообще получил хорошую школу и знаком с мировой музыкальной культурой, а не спустился на парашюте из стратосферы. Что касается клише или, если хотите, почерка – это вроде бы и хорошо, но частенько грозит самоповтором. Если идёшь на концерт и заранее всё предсказуемо, уже не так и интересно.

Но каждый крупный композитор имеет своё звучащее лицо, интонационную неповторимость.

Это и есть композиторский стиль. С другой стороны, всегда существовали два типа художников. Возьмите Стравинского — многие его сочинения вроде бы написаны разными композиторами. Или Пикассо. Когда мы любуемся его изумительными откровениями разных периодов, трудно порой представить, что принадлежат они одному художнику. А Прокофьев в каждой ноте — Прокофьев. Не важно, "Война и мир" по Толстому, "Семён Котко" по Катаеву, "Ромео и Джульетта" по Шекспиру. Или те же его фортепианные сонаты, он всегда оставался Прокофьевым, в каждом такте, в каждой ноте. Он не отрицает себя. У Стравинского же совершенно по-иному. Возьмите его Скрипичный концерт и "Историю солдата", или "Жар-птицу". Кажется не просто разные композиторы, а разные поколения, материки, язык...

Мешает ли Вам что-либо в Вашей профессии?

Всё, что отвлекает от сочинительства. Естественно, это не означает 24 часа в сутки сидеть за письменным столом. Как-то, кстати, мы дружески дискутировали на эту тему с моим польским коллегой и другом Кшиштофом Пендерецким, я спросил у него: когда ты всё успеваешь? "У меня очень простой секрет, — ответил он, — я каждый день, хотя бы пять минут, но работаю над новым сочинением, в каком бы состоянии я не находился". А вот другой пример: мне довелось в своё время участвовать с французским композитором Оливье Мессианом в составе жюри Конкурса пианистов имени Глена Гульда в Торонто. Однажды нас обоих пригласили на встречу со студентами Торонтского университета, на которой мы должны были отвечать на одинаковые вопросы. Мессиаан сказал тогда, что если он три месяца в году занимается сочинением музыки, то чувствует себя композитором. Если меньше, то год для него потерян. Так что видите, у всех всё по-разному.

А для Вас?

Я всё-таки нахожусь ближе к Пендерецкому, для меня важно хоть немного, но всё же каждый день продвинуться дальше в работе, хоть это иногда и является, возможно, шагом назад, или в сторону.

Есть ли музыка, которую Вы не любите? Помните, как тот же Стравинский говорил, что когда он слышит музыку Рихарда Штрауса, то ему хочется визжать. Или про Хинде-мита...

...что когда слушаешь его музыку, то будто жуешь фанеру несъедобную? Ну, вы знаете, я бы сказал по-другому: существует море, главным образом, скучной музыки. Я всё-таки иными категориями пользуюсь: когда мне интересно и когда мне нестерпимо скучно, когда музыка не заинтересовала меня ни профессионально, ни попыткой куда-либо вырваться, либо наоборот – вернуться. Но больше всего меня раздражает, что мы окружены коммерческой музыкой: куда ни придёшь – на почту, в магазин, в аэропорт – везде звучит так называемая "массовая музыка". Она настолько усреднена, что кажется одинаковой, такое впечатление, что один и тот же композитор её пишет, аранжирует, записывает... а ты принуждён её слушать. Поэтому я называю её принудительной музыкой.

Удачное определение.

Садись, знаете ли, в поезд, тебе в постель кладут, образно говоря, певицу которую ты не хочешь слушать, и убрать её из наших российских поездов просто невозможно. Скажем, едешь в Санкт-Петербург и должен почему-то слушать, ну я не знаю, там, Сенчину, Долину... а я не хочу их слушать, полвосьмого утра!

Говорят, начал заниматься творчеством, подумай, какие жертвы ты принесёшь.

У Вознесенского по этому поводу сказано: *моё мастерство самопытное*. Конечно, творчество в какой-то степени попытка для самого себя. Когда человек отсидел на службе 7 часов, пришёл домой – и делай что хочешь. А тут у тебя мозг постоянно включён, ты разговариваешь с соседом, а у тебя партия альта «прокручивается». Ты и собеседника плохо слышишь. Или, скажем, исполнитель. Мне доводилось довольно активно заниматься концертной деятельностью, но это несколько иное. Если ты позанимался пару часов, у тебя на душе уже спокойно. А в композиции тебя и ночью преследует образ, над которым ты в данный момент работаешь. Иногда это бывает мучительно, как некая неотвязная идея. Оттого и невероятная утомляемость.

Отражается ли темп Вашей жизни на темпы, если можно так выразиться, Ваших сочинений? Поражают Ваши финалы, когда вся ткань, все линии завихряются в какую-то воронку, будто тебя властной рукой окунают в убыстряющийся ход времени. Когда слушаешь, даже мурашки по коже бегут. Как это определить. Вселенский хаос? Или это просто стремление к эффектным концовкам?

Как ни странно, жизнь становится с годами всё более интенсивной. Я как-то пожаловался приятелю: мало успеваю. Он ответил до-

вольно образно: если бы ты только один шар запустил в небо, тогда мог бы сидеть и спокойно ждать, когда он опустится; тебе же надо многими шарами "управлять", поэтому и отдача требуется большая. Могу только порадоваться, что моё общение и в переписке, и просто в случайных разговорах обрела, так сказать, большую интенсивность и конкретность. Раньше было больше суеты. Может быть от этого ощущение, что темп жизни у меня убыстряется. Что касается темпа сочинений, то, знаете ли, музыка делится грубо на окончания тихие и громкие. Когда приходит новая идея и приступаешь к сочинению, я сразу прикидываю в голове начальные и конечные построения, их «соотнесённость» в архитектонике. Часто развитие музыкального материала само диктует развязку. Впрочем, композитору не грех подумать и об исполнителе, чтобы он мог поставить точку или восклицательный знак эффектным росчерком пера, и чтобы публика воздала ему за это должное. Я как-то был на концерте выдающегося финского пианиста Оли Мустонена, когда он оба исполняемых произведения окончил очень тихо. Это был, в какой то степени, вызов. Публика привыкла к эффектным концовкам, к галопированию. Коварный вопрос вы задали, кстати. Знаете, недавно в разговоре с дирижёром Лорин Маазелем на его интернет-сайте, он спросил меня, часто ли я изменяю уже завершённые сочинения. Я ответил, что, как правило, не изменяю. А потом вспомнил, что однажды моя жена, Майя Михайловна Плисецкая, прослушав только что законченный мною скрипичный концерт, заметила, что ей не нравится тихая концовка. Я принял замечание в штыки, а потом подумал, подумал, походил и... дописал ещё 15 тактов. Получилось эффектно. Если на сцену выходит виртуоз, ему надо дать карты в руки, разумеется, если эффектная концовка вытекает органично и не противоречит целому.

Каков же Ваш стиль? Может ли вообще композитор сам его охарактеризовать или это удел критиков?

Я могу лишь сказать, что всю жизнь честно писал то, что слышу в себе. Так, как меня зарядил, если хотите, мой генетический код.

Могли бы Вы быть не музыкантом?

Я счастлив, что угадал своё предназначение. Думаю, я бы мучился в чужеродной для меня профессии.

Какие встречи стали для вас определяющими?

В этом смысле я счастливый человек. Прежде всего, я бы назвал моего отца Константина Михайловича, мою жену Майю Плисецкую, Лилю Брик, Андрея Вознесенского. Моих учителей

Якова Флиера, Юрия Шапорина. Моих друзей Славу Ростроповича, Диму Ситковецкого. Я не выстраиваю какой-то ряд для энциклопедии, может я кого-нибудь наверняка забыл, не назвал. Важно, что меня жизнь одаривала встречами с выдающимися людьми. Я счастлив, что довелось довольно долго общаться с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Он был страшно участливый, он помогал нам всем преодолевать, так сказать, жизненные трудности в тоталитарном обществе. Не только как гениальный композитор, а и как человек. Для меня такие люди всегда были ближе, чем так называемые "небожители", интересовавшиеся только, скажем, трактовкой сонаты Бетховена, или распределением рук в том или ином пассаже.

Ваша музыка давно перешагнула национальные границы России. Щедрина знают во всём мире. Остались ли Вы сугубо русским композитором, или ощущаете себя композитором мира?

Начнём с того, что национальные культуры существовали и будут существовать всегда. Их приметы совершенно очевидны. Эти традиции, сохраняющиеся из поколения в поколение, возможно, связаны с языком, с ментальностью, с климатом, с природой и т. д. Но вот о чём мы вспоминаем редко: одна культура как бы противоречит другой. Возьмите немецкую музыку: сколько там боевого, маршеобразного, подчинённого определённым правилам, которым строго следовали даже великие классики. И возьмите горизонтальность мышления у русских, начиная с Глинки, хотя он и был воспитан на так называемой европейской музыке, но он вышел из её тисков и начал последовательно проводить истинно русскую линию в музыке.

Ростропович написал недавно, что Ваше творчество «одна из ветвей могучего древа музыкального искусства России».

Большая или маленькая, завядшая или с листьями, но то, что я принадлежу к этому древу по воспитанию и моей ментальности, по культуре, в этом нет никаких сомнений. Даже окажись я на каких-нибудь островах Фитцжи, мне от себя не убежать. Это моя судьба.

Беседу вёл Семён Гурарий

Борис РАЦЕР

ИЗ АРХИВОВ СОБСТВЕННОЙ ПАМЯТИ

БЕЗ РАЗНИЦЫ

Далекие застойные годы. В Ленинградском Доме кино встреча кинематографистов с Николаем Павловичем Акимовым, Народным артистом СССР, главным режиссером Театра Комедии, действительным членом Академии художеств и просто интеллигентнейшим и остроумнейшим человеком.

Вопрос из зала:

– Николай Павлович, какая, по-вашему, разница между нынешним положением комедии в кино и в театре?

И моментальный ответ:

– Такая же, как между смертельно раненым и убитым наповал.

БУДЕМ ДЕРЖАТЬСЯ КАК СЕВАСТОПОЛЬ

Первая комедия, которую мы с Константиновым принесли в Театр Комедии, называлась "Любовь без прописки".

– Ну, это не для нашего театра, – сказал Николай Павлович.

С его легкой руки в Ленинграде она называлась "После двенадцати". А на периферии дошлые администраторы сохранили и первое название. Там она называлась: "Любовь без прописки – после двенадцати".

Спасибо Акимову – пьесу сразу же поставили 150 театров.

И столько же критиков обрушили на нее свой критический гнев.

– Как вы думаете, долго ли продержится в вашем театре эта пьеса, Николай Павлович?

И как всегда, моментальный ответ:

– В детстве я был с родителями в Севастопольской панораме и по детской наивности спросил экскурсовода:

– Скажите, – а в честь чего такая грандиозная панорама, ведь Севастополь-то сдали?

– Да, – ответил экскурсовод, – сдали. Но сколько держался!

– Так вот, – сказал критику Акимов, – мы будем держаться как Севастополь.

ВЫ НА ЭТО НЕ ПОЙДЕТЕ

– Молодые люди, – обратился как-то к нам Акимов, – если вы не возражаете, я хотел бы вас нарисовать.

Мы не возражали.

При жизни Акимова этот портрет висел в его кабинете, и каждый раз, попадая туда, мы канючили в два голоса:

– Николай Павлович, ну как нам его получить?

– Друзей не продаю, – тут же закрывал тему Акимов.

Но мы приставали к нему опять и опять. И вот однажды, когда терпение его лопнуло, он посмотрел на нас с ехидной улыбкой и сказал:

– Молодые актрисы, которых я рисовал, знали, как получить свои портреты, но вы же на это не пойдете.

КТО ГЛАВНЫЙ?

Зиновий Соломонович Бахрах был в Театре Комедии администратором. Вроде бы, не велика шишка, но когда каждый вечер к нему стоит хвост за контрамарками, а у театра толпы жаждущих кланчат лишний билетик, то сами понимаете...

И вот однажды, когда мы сидели у Акимова в кабинете, он вдруг вспомнил, что через десять минут должен быть на каком-то заседании.

– Зиновий Соломонович, – обратился он к Бахраху по телефону, – вызовите мне, пожалуйста, такси – страшно опаздываю.

Не прошло и минуты, как Бахрах появился у него в кабинете.

– Такси у театра, Николай Павлович!

– Спасибо! – уже в дверях поблагодарил его Акимов.

– Одну минуточку, Николай Павлович, – задержал его Бахрах, – если таксист спросит вашу фамилию, скажите, что вы Бахрах.

– Конечно, конечно, – успокоил его Акимов, а нам сказал шепотком: "Теперь поняли – кто в театре главный?"

ПРОВЕРКА НА ЮМОР

Встречаем в Москве Иосифа Прута.

– О, меня вам сам Бог послал! Хотите познакомиться со Светловым? Мы договорились с ним пообедать в "Метрополе".

И вот мы сидим за столиком со знаменитым поэтом и драматургом.

– Спасибо, коллеги, что пришли – не побрезговали стариком. Ну, со знакомством! А теперь, пока еще в ясном уме, мне очень нужен ваш совет – как драматургов драматургу. Пишу тут одну пьесу, все придумал, но в одном месте застопорило и ни тпру – ни ну. Так поможете?..

Боже мой! Сам Светлов нуждается в нашем совете!.. Мы были на седьмом, нет – на десятом небе!

– Конечно, поможем! – Михаил Аркадьевич.

– Спасибо... Так вот, сюжет там такой: два тяжелых танка – наш и немецкий, встречаются весной в чистом поле. Война войной, но кому умирать хочется, когда травка зеленеет, солнышко блестит, птички поют и цветочки распускаются?.. И вот глушат танкисты моторы, спрыгивают на травку, снимают шлемы, нюхают цветочки и угощают друг-друга куревом... Ну, как – интересно?

– Очень! Такого еще не было!

– Боюсь, что и не будет, если вы мне не поможете. На вас вся надежда! Уже месяц не могу придумать, как, черт возьми, эти два танка на сцену вывезти?

Не знаю, как бы отреагировали на светловскую шутку другие драматурги, а мы – сначала засмеялись, а потом стали хохотать. Причем, как вы понимаете, над самими собой, да так, что зазвенели бокалы.

И правильно сделали: каждого нового знакомого Светлов проверял, прежде всего, на юмор. И мы эту проверку выдержали.

Со второй проверкой было несколько хуже. Думаю, вы догадались с какой.

СВЕТЛОВСКИЕ ПЕРЛЫ

В ЦДЛ (Центральном Доме Литераторов) чествовали одного плохого поэта, но хорошего общественника. А так как начинал он свой поэтический путь на берегах Невы, то, встретив нас в писательском Доме, попросил поздравить его от имени ленинградских собратьев по перу.

– Да у нас даже цветов нет, – попробовали увильнуть мы.

– Ничего, моя секретарша даст вам за кулисами, а пока идите в зал и ждите – вас вызовут.

Как понимаете – деваться было некуда.

Сидим, ждем...

И вдруг, как потом выяснилось, совершенно случайно, направляясь в ресторан, в зал заглянул Михаил Аркадьевич.

Как раз в тот момент, когда штатный литературовед знакомил присутствующих с биографией поэта.

– И что примечательно,– сказал он,– что наш юбиляр родился в день смерти Сергея Есенина.

– Да,– вздохнул Светлов,– беда никогда не приходит одна. И пошел в ресторан.

"НЕКИЙ ХАЗИН"

Известный ленинградский писатель-сатирик Александр Абрамович Хазин попал в печально знаменитое постановление ЦК ВКП(б) "О журналах "Звезда" и "Ленинград", где был назван "неким Хазиным". Заклейменный и разоблаченный главным партийным идеологом А.А.Ждановым, он был отлучен от литературы и вынужден был многие годы писать под псевдонимом, чтобы не раздражать бдительных чиновников от культуры. Но даже и скрывшегося под чужой фамилией Хазина, они всячески старались не допустить на печатные страницы.

И вот однажды, в одном тонком журнале (к толстым его и близко не подпускали) один сверхбдительный редактор потребовал от Хазина 20 исправлений в небольшом, всего из 16 строк стихотворном фельетоне, в надежде, что автор не согласится и заберет его.

– Понимаете,– сказал редактор,– мне хочется его напечатать, но для этого он должен удовлетворить и главного редактора, и его зама, и всю редколлегую.

– Понимаю,– усмехнулся Александр Абрамович,– только хочу заметить, что есть всего один костюм, который был бы впору и толстому и тонкому, и длинному и короткому. Но это – саван!

Горжусь тем, что рекомендацию о приеме в Союз писателей дал мне "некий Хазин".

ИЗВИНИТЕ, МИСТЕР ВЛАДИМИРОВ

Ленинградские драматурги и театральные деятели принимают в Доме писателей гостей из Америки – драматургов, режиссеров, критиков. Они уже походили по ленинградским театрам и жаждут поделиться впечатлениями.

– Скажите, а почему у вас в театрах так мало американских пьес?

– А потому что нашего зрителя ваши проблемы и темы абсолютно не интересуют, – отвечает известному американскому драматургу наш известный актер и режиссер Игорь Владимиров. – Недавно один переводчик принес мне нашумевшую у вас пьесу о жизни лесбиянок. Скажите, кому у нас нужна эта пьеса, если в Ленинграде, как мне известно, есть всего одна лесбиянка?

– Извините, мистер Владимиров, – возразил ему американец, – но если есть одна лесбиянка, то обязательно должна быть и вторая.

ПИРОВА ПОБЕДА

Центральный парк культуры и отдыха им. Горького в Москве. Зеленый театр. Премьера новой программы эстрадного оркестра Эдди Рознера.

Мы с соавтором пишем интермедии для ведущих – Миров и Новицкого.

К программе пристальное внимание Министерства культуры. Дана установка – безо всякой "американщины".

Докажите, товарищ Рознер, что наш джаз может обойтись без западных шлягеров! Свои напишем!

И написали... О дружбе, о трудовой доблести, о борьбе за мир.

Самой джазовой была песня Долуханяна "Ой, ты рожь, рожь высокая".

Не дождавшись антракта, публика стала уходить. А надеявшееся все-таки услышать знаменитые рознеровские шлягеры: "Караван", "Вишневый сад" и другие, стали хором кричать: "Эй, Рознер, джаз давай!"

В антракте за кулисы зашел Александр Александрович Холодин – начальник всех музыкальных учреждений России.

– Поздравляю, Эдди Игнатьевич! Вы одержали победу над кучкой отравленной Западом молодежи.

На что Эдди Игнатьевич, с присущим ему польским акцентом, мрачно сказал :

– Еще один такой побед и у меня не будет публикум.

ВЫСШИЙ КЛАСС

Дом Актера в Москве до пожара, то есть еще на улице Горького, то есть еще до перестройки.

Ленинградский Дом Актера привез в Московский свой капутник. Нас как авторов, режиссер Александр Белинский взял с

собой – а вдруг надо будет что-то написать на ходу, на злобу дня.

В зале вся театральная элита.

Директор Дома Актера Эскин аж взмок. Попробуйте-ка рассадить всех народных, заслуженных и просто талантливых, чтоб не было обид на всю оставшуюся жизнь?

Но вот, наконец, все рассажены по чинам, званиям и талантам.

В зале гаснет свет и на сцену выходит ведущий капустника, известный Питерский остролов – Владимир Дорошев. Но начать свой вступительный монолог он не может – писатель-юморист Виктор Ардов никак не может добраться до своего кресла.

Дорошев терпеливо ждет.

– Говорите, говорите, – острит писатель, – вы мне не мешаете.

И тут Дорошев заговорил.

– Это фатально, когда писатель столько времени не может найти свое место.

Зал смеется.

– Моя школа, – показывая на актера рукой, говорит Ардов. Зал снова смеется.

И тут Дорошев "прикладывает" его:

– В юморе важна не школа, а класс!

Зал взрывается аплодисментами.

Дорошев победил.

ВПЕРВЫЕ СКАЗАННОЕ СЛОВО

Кажется, совсем недавно услышал я в телефонной трубке ни с чьим другим несравнимый голос Георгия Александровича Товстоногова.

– Сегодня прочел на семейном худсовете вашу "Хануму". Имел большой успех. Буду ставить.

А в этот "семейный худсовет" входили – Нателла Александровна – сестра Товстоногова, артист Евгений Алексеевич Лебедев – ее муж и кавалер всех артистических регалий, Леша – их сын – будущий кинорежиссер и Александр (по-грузински Сандро) – сын Георгия Александровича – молодой и принимающий все в штыки режиссер.

С тех пор прошло уже страшно сказать сколько... Нет с нами Ефима Захаровича Копеляна, Владислава Игнатьевича Стрельчика, Вадима Медведева, Валентины Ковель, блестяще игравших в этом спектакле и очень любивших его. Нет Товстоногова...

Через несколько месяцев после того памятного звонка была премьера и, конечно, банкет. Потом – пятидесятый спектакль. И снова банкет. Затем – сотый! Тут уж банкет обязательно. Такова

театральная традиция.

Перед этим банкетом Георгий Александрович отвел меня в сторону от накрытого в фойе стола.

– Я чувствую, что этот спектакль будет у нас долгожителем, поэтому боюсь, что вы разоритесь на банкетах. В связи с этим хочу оказать вам финансовую помощь.

– Да что вы, Георгий Александрович!

– А что – у меня тоже неплохие банкетные данные. Могу быть вашим спонсором.

Так впервые я услышал намозолившее теперь уши слово.

ДВОЙНАЯ ПЕРЕСТРАХОВКА

В преддверии обещанного Хрущевым коммунизма, кому-то наверху стукнуло в голову, что мы уже доросли до того, что можем перевоспитывать преступников не в тюрьмах и лагерях, а в собственных здоровых коллективах.

И понеслось...

Вместо того, чтобы брать хулиганов, дебоширов и алкашей за шкуру и отдавать под суд – их отдавали коллективу, который брал их на поруки.

Естественно, что юмористы, работавшие по принципу – "утром в газете, вечером в куплете", не могли не откликнуться на этот беспримерный почин.

Как раз в это время мы писали для Центрального телевидения то, что теперь называется "шоу", а тогда называлось эстрадным концертом. И была в этом концерте сцена, где одного хулигана-алкаша брали на поруки. Причем только для того, чтобы рапортовать в вышестоящие организации, как это зачастую и делалось.

Главному редактору телевидения Иванову эта сцена показалась подозрительной.

– Газеты читают не все, – сказал он, – а телевидение смотрит весь наш народ. И какие-нибудь отдельные товарищи после вашей сцены могут подумать, что у нас для пьяниц и хулиганов уже тюрем не хватает – поэтому и стали отдавать их на поруки. В общем, нам с вами надо подстраховаться.

Так как мы от страховки отказались, то подстраховался он сам, без нас.

А выглядело это так:

В конце сцены, когда коллектив взял на поруки вконец распоясавшегося хулигана, ведущий концерта читал по бумажке текст, написанный главным редактором: "Из тех немногих, что взяли на поруки, многие уже исправились".

Получилась, как видите, даже двойная страховка.

Конечно, оставлять на должности редактора такого человека вышестоящие начальники не могли – он стал руководить всем телевидением.

БАЛ В КРЕМЛЕ

Как известно, Леонид Ильич Брежнев обожал получать ордена и медали. Даже после его смерти ходил в народе такой анекдот: попав на тот свет, Леонид Ильич первым делом попросил Господа наградить его еще одной "Золотой Звездой".

– Как же я могу тебя наградить, когда ты – покойник? – развел руками Господь.

– А посмертно, – надоумил его Леонид Ильич.

Но что он любил больше всего – это появляться при всех своих наградах на людях.

Очевидно для этой цели и придуманы были ежегодные молодежные балы в Кремле.

По специально написанному сценарию бал начинался с вальса. Под его начальные аккорды открывалась дверь в Георгиевский зал и перед ликом передовой советской молодежи являлись вдохновители и организаторы всех ее побед: члены правительства и политбюро во главе с Первым, надевшим из скромности не все ордена, а только до пояса.

Для сочинения вальса был объявлен закрытый конкурс. Победили в нем композитор Носов и поэт Фогельсон, тот самый, что написал с Соловьевым-Седым "Дождливым вечером, вечером, вечером, когда пилотам, скажем прямо, делать нечего" и другие шлягеры того времени. Вальс так и назывался – "Бал в Кремле".

Носов и Фогельсон ходили именинниками – не было дня, чтобы по радио или по телеку не звучал их премированный вальс.

Но вот однажды, встречаю на Невском Фогельсона.

– В чем дело, Соломон Борисович, почему последнее время вашего вальса не слышно?

– Ай, не спрашивайте! Все из-за Суслова! Ему, видите ли, две строчки не понравились. Он, видите ли, нашел в них сексуальный подтекст.

– И какие же это строчки?

– Вот эти, – вздохнул поэт: "Члены правительства гордо стоят и, улыбаясь, глядят", ну и где же тут секс?

Да, немало крови испортил Андрей Александрович Суслов деятелям литературы и искусства, но тут мне кажется, он был прав: вальс был запрещен и члены правительства больше на ба-

лах не стояли. И не только на балах. Средний возраст наших руководителей был в то время около восьмидесяти лет, так что – какой уж тут секс?..

КАК ШИРВИНДТ ВСЕХ НАКОРМИЛ

Что Александр Ширвиндт (между друзьями – Шура) остроумный человек – знают многие.

Будучи академиком так называемой "Академии Авторитетов", решающей кому давать "Золотого Остапа", а кому – нет, я имел возможность слышать остроумные ширвиндтовские экспромты, так сказать, из первых рук.

Каждое ежегодное вручение этой престижной для сатириков и юмористов премии, кончалось банкетом академиков, где председательствовал "Почетный президент Академии Авторитетов" – Александр Ширвиндт.

По части застольного юмора ему не было равных, а ведь за столом юморили и Жванецкий, и Якубович, и Хазанов, и Альтов, и Шифрин.

Но, хорошо острить на сытый желудок, а если на голодный?..

Однажды капустная бригада Московского Дома Актера, возглавляемая опять же Ширвиндтом, привезла в Ленинград свой новый спектакль.

Представление закончилось в одиннадцать. До "Стрелы" оставался час. Не так много, но поесть можно еще успеть. Мы повели проголодавшихся гостей в актерский ресторан, но, увы, – в-первых, этот день был "рыбным", а во-вторых, еще и "санитарным".

С трудом разыскали одного официанта. К счастью он оказался поклонником Ширвиндта и Державина, поэтому через минут двадцать на столе появилась ржавая селедка и холодная в траурной окантовке картошка.

– Извините, но шеф сказал, что это все что есть, – смущенно оправдывался официант.

Голодные артисты были в шоке. Какой уж здесь юмор?..

И тут Шура, попыхивающий своей трубкой, поманил официанта пальцем и шепотом, но таким, чтоб все слышали, сказал ему на ухо:

– Пойдите на кухню и скажите шефу, что блокада уже снята. Очевидно, он еще не знает об этом.

На мрачных актерских лицах вновь засияли улыбки, а не понявший юмора официант помчался на кухню.

Не знаю, что он там сказал шефу, но через пять минут на столе

появилась и ветчина, и колбаса, и шпроты, и даже свежие огурчики. А главное то, без чего не бывает дружеского застолья.

И первый тост был, конечно, за Шуру.

ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННЫЙ РУБЛЬ

Композитор Соловьев-Седой был очень любознательным и любопытным человеком. Очевидно поэтому, он быстрее всех решал самые трудные кроссворды, сожалея о том, что из-за своей двойной фамилии не может попасть ни в один кроссворд.

Из-за его чрезмерного любопытства влипли мы однажды в историю.

Ездили мы с Василием Павловичем в Москву сдавать в Министерство новую оперетту. Сдали. Скромно отметили и отправились на Ленинградский вокзал. Взяли билеты и вышли на перрон.

До отправления ленинградского поезда оставалось еще полчаса.

– Прогуляемся, – сказал Василий Павлович, – очень хочется посмотреть, как устроен электровоз.

Машинисты сразу же узнали знаменитого автора "Вечера на рейде", "Подмосковных вечеров", "Первым делом самолеты" и множества других. И конечно не могли отказать ему в просьбе подняться в электровоз и наглядно объяснить что к чему.

Мы не были такими любопытными и остались ждать его на перроне. Да нас никто и не приглашал.

И вот до отхода поезда остается уже пять минут, а Василий Павлович все не выходит. Как потом выяснилось, он твердо сказал машинистам, что поедет с ними в электровозе.

– Нельзя, Василий Павлович, по инструкции не положено.

– А я чихал на вашу инструкцию!

Ну что тут будешь делать?! Не возьмешь же под белы руки и силком с лестницы? Ведь не простой гражданин, а Народный артист СССР, герой Соцтруда, лауреат и депутат Верховного Совета.

Только с помощью четырех проводников, дежурного по вокзалу и нас с соавтором удалось, наконец, это сделать.

"Стрела" в этот день ушла из Москвы на 10 минут позже, чего никогда еще с ней не бывало.

Перед тем как подняться в свой вагон, Василий Павлович обернулся к сопровождавшим его лицам и, поправив вечно сползавшие с носа очки, сказал:

– Никогда в жизни не буду писать песен о советских железнодорожниках!

И не написал.

Больше всего Василий Павлович ценил в людях юмор. За хорошую остроту платил рубль. Такая у нас была такса. Но получить с него деньги было нелегко. Остроты должны были быть очень высокого класса.

И все же, иногда мне это удавалось.

Чтобы закончить в срок одну большую работу, мы решили, никому ничего не сказав, уехать в Репино, в "Дом творчества композиторов". Но наше творческое уединение продолжалось недолго. Уже на следующий день в нашем коттедже появилась одна известная эстрадная певица. Василий Павлович признался, что ей единственной оставил свои координаты.

– У меня скоро творческий вечер в Москве и нам надо кое-что порепетировать .

Она приезжала к нему через день.

Оставляя их наедине для творческого процесса, мы ходили вокруг коттеджа и в который раз слушали уже осточертевшие нам "Подмосковные вечера". Других песен они не пели. Да и эту, слава Богу, пели не очень долго. Минут десять. После чего наступала получасовая пауза. А после паузы певица выпархивала из коттеджа и что-то напевая, быстро шла к автобусной остановке.

Через некоторое время в дверях появлялся и Василий Павлович.

– Ну как мы сегодня пели?

– Здорово!– обычно отвечали мы. Только вот что странно,— добавил я как-то раз,— когда вы вдвоем, она поет: "Если б знали вы, как мне дороги...", а когда выходит от вас, поет: "Если бы парни всей земли..."

Василий Павлович тут же достал из кармана рубль.

СОВЕТ СМОКТУНОВСКОГО

Известный ленинградский актер и режиссер Юлий Панич решил сделать из моей пьесы "Еврейское счастье" радиоспектакль для "Свободы", вещавшей тогда еще из Мюнхена.

На главную роль Панич пригласил Иннокентия Михайловича Смоктуновского, что дало мне возможность познакомиться с этим гениальным актером и интереснейшим человеком. У нас появилась общая тема для разговоров – будущий спектакль и его герой – Мендель Маранц – мастер на все руки, неунывающий сельчак и философ.

– Мне нравится, как вы его выписали, но хотелось бы, если

конечно вы с этим согласитесь, добавить ему таких мудрых мыслей, как бы подсказанных самой жизнью.

Конечно, я согласился и через некоторое время принес Иннокентию Михайловичу с десяток, подсказанных мне собственным жизненным опытом мыслей.

Смоктуновский внимательно их прочел и на некоторых даже улыбался.

Вот несколько из них:

– К собственной славе можно со временем привыкнуть, к чужой – никогда.

– И неприятности бывают приятными, если они не у тебя.

– Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым и плача – с будущим.

– Любителей наставлять на путь истинный куда больше, чем идти по нему.

– Чем больше глупостей сделаешь в молодости, тем меньше их останется сделать в старости.

– Все люди смертны, даже вечно живые.

– Мир – это большой сумасшедший дом, в котором каждый возомнил себя человеком.

– Самое сильное, что есть в человеке – это его слабости.

– Теоретически, быть бедным – плохо, а практически – еще хуже.

– Рыба гниет с головы, а государство – с главы.

– Говорят, евреи споили русский народ. Чушь! Не такие они дураки, чтоб не знать, что все погромы начинаются спьяну.

...К сожалению, я со своими мыслями опоздал. Так получилось, что спектакль записали раньше намеченного срока. Конечно, было обидно.

– Ничего, хорошие мысли не пропадут, – успокоил меня Смоктуновский и дал мне бесценный совет: "Не принимайте ничего близко к сердцу, даже валидол".

Увы, сам он этим советом не пользовался. Вскоре его не стало.

А я, с его легкой руки, написал книгу: "Афонизмы или мысли от фонаря", в которую вошли и эти и многие другие мысли.

Ирена ЛЕЙН

ПОЛЕТЫ С ЗАПАСНЫМ КРЫЛОМ

*...ах ты конек мой неверный апостол ты мой фома
пойду на заре вечерней из сахара срежу дудку
сяду над океаном вот уж и нет меня.*

Юрий Андрухович

В общем-то, и с нею, и с ним у меня сложились интимные отношения. С литературой у меня как бы лесбийская любовь, нежная, мы обе балуемся ею. С господином театром, пожалуй, то же – и я его люблю, но не могу отдаться с той же нежностью и до конца...

С режиссерами я проводила дни, с поэтами – ночи. Когда это дело теряло новизну и некий изначальный смысл, я все равно продолжала проводить ночи, теперь уже с их *чудными чадами*. Каких только ни перепробовала, всех колеров, ей-богу. Ничего в жизни я не делала с такой упорной идиотической страстью и столько часов подряд. Из спины проклевывалось крыло, и я как-будто бы над гладью летала. Опускалась и чего-то там искала, вроде грибов под перепрелым одеялом прошлогодних листьев. Ковыряла рогатой палкой и, вроде бы, мне даже не важно было – каких именно, да хоть каких, только бы сегодняшних – свежих и съедобных. Но маленькой детской котомки за сорок лет они так и не наполнили.

Странная картина сложилась за эти годы в моей всклокоченной голове: выходя из стихородного органа поэта, чадо литературной страсти чаще всего теряет стройную форму трубы, по которой в муках было выведено наружу. Оно рассыпается в пыль и со страшной центробежной силой распыляется вокруг. Не свивается в упругий крапивный жгут, не жжет глаголом, как велел Поэт, а сдувается ветерком даже с поверхности мозга, с его серых липких полувыступов. Кольчужка из кириллицы, сеточка букв на тельцах литературных козляков оказывается коротковатой. И рыхловатой. Потому что, если приглядеться, согнута она из вторичных, даже третичных, тронутых ржою проволочек. Второсортна. Второстепенна. И она, рассыпаясь, –

я прямо вижу эту картинку – серой буквенной пылью удаляется в открытый космос. А я просыпаюсь и обнаруживаю себя опять сидящей ночью на стуле, стукнутой пыльным мешком по голове. Иначе, от чего бы такой столбняк и недоумение? И ничего мне не жаль, ничего. Но – ночи без любви – жаль...

В Риге, году примерно в 90-ом, меня повели в гости к артисту Кричевскому, любимцу старой театральной публики, еще блиставшему в русской драме. Седовласый красавец сидел *в уголку кухни* огромной, как-будто коммунальной квартиры, в одном конце которой за загородкой жила его собственная бабушка в красной косынке, а в другом внуки-сионисты читали Тору и разбирали пистолет. Я ждала от него воспоминаний о Качалове-Мочалове, а он не повернул ко мне лица, только погрозился произвести впечатление на сцене и позвал приходиться на спектакль. Артист сидел за крохотным столиком между газовой плитой и оконным проемом, его косые локти едва помещались под сутулой спиной. Он затачивал и гнул двумя странными *круглогубыми* ножницами металлические колечки и оторваться от этого поэтического занятия было выше его сил. Артист имел высокую страсть: он всю жизнь плел кольчуги. И даже продавал их, дело шло неплохо. Посмотрев на следующий день спектакль, я поняла, откуда она, эта страсть: невозможно же серьезным мужским занятием считать беготню по доскам в сиреневых чулках и шаровидных на заднице маленьких желтых штанишках...

И я подумала: все, что происходит с нами в жизни – это, по-сути, плетение кольчуги. Как бы вы ее не называли. Кольцевание и гнутье под себя, под свой глаз, под палец, локоть, под язык или ухо, а также стремление сцепить отдельные затеи, придать им форму собственного тела и натянуть на себя. Самое странное, что как бы бесконечна ни была усердная работа, кольчужка все-равно остается *коротковатой*. Она на пару сантиметров не доходит до смерти. И вот в этот-то зазор душа успевает улизнуть из тела в последний момент. Поэтому ее, душу то есть, не удастся закопать в землю, и она всякий раз улетает и опять вселяется в новое тело, внося во владельца свои неодолимые *déjà vu*.

Мою *коротковатую кольчужку* я приглядела себе в фильме Сергея Эйзенштейна, который все детство тоже гулял по Риге. Его отец, человек с талантливой и легкою рукой, был действительным статским советником, но главное – стал рисовать дома с завитушками на манер *Jugendstil*, как в Мюнхене, сын говорил – *в бешеном стиль-модерне*, рисовал и строил их целыми улицами. А маленького Сережу катал на конке вдоль Эспланады, и конечно же, возил посмотреть на впусченные ледяные торосы зимнего залива. И вот ведь, заточил мальчику глаз и загнул под невиданное дотоле кино. Поэтому, увидав в кино людей на Чудском льду и артиста Черкасова на коне, я как-то слегка ахнула, что-то мне изнутри шепнуло – бери, твое! – и я присвоила. И

не стыжусь, отнюдь, а просто присоединяюсь. Я вообще окружена такой тьмою знаменитых земляков, живых и мертвых, что едва ощущаю собственное тело в этой плотной толпе. Рига – удивительный город между Петербургом и Парижем, знаменитости, если в нем не жили, то непременно останавливались, бывали проездом. Все, что они делали, касалось литературы, музыки или театра, либо просто житья, которое становилось питательным бульоном для дрожжей литературы, музыки или театра.

Но один гигант мысли, тиран и талант отличился совершенно – посадил дерево кверху тормашками. *До горы ногами*, как говорила моя няня. Корнями в небо. И его никто не подумал, и не посмел выдернуть. Сажал-то царь Петр, русский европеец, великий сумасброд. То ли дуб, то ли вяз уже не растет в парке Виестурса, хотя и был зацементирован изнутри, как бы посажен на бетонный кол. Но его многие видели – символ неиссякаемого сумасбродства. На то место я приезжаю за тайным благословением, когда затеваю новый любовный роман то с литературой, то опять с театром. В последнее время все чаще. Не потому, что романов становится больше, а потому, что даются они с большим трудом. Приезжаю за толикой сумасбродства, именно его не хватает. А талантливые соотечественники мои разбрелись по свету и мне трудно уследить, приезжают ли они к дубу или уже померли давно. Мне кто-то, не понимаю, правда, кто, поручил за них кое-что рассказать...

1.

Между театром и литературой есть одно непоправимое отличие. Литература – любовь ночная, театр – любовь дневная. Театр нельзя любить к ночи, его к ночи уже не бывает, он кончается. Занавес падает, все идут спать. Когда-то моя деревенская няня, моя утешительница и утишительница, спасая меня от первой любовницы первого мужа, повторяла, катая скалкой тесто: не бойся птицы дневной, а бойся – ночной. Я помню: не боюсь, и боюсь, и хочу... Но вот интересно, обе мои птицы-небылицы прекрасно уживаются в одной клетке, я имею в виду театр и литературу, а клетку – грудную...

Конечно, впервые я увидела его в Риге, городе детства. Меня в него привели за руку и затолкали. И мне стало ясно, что театр – из тех вещей, которые *были всегда*, как, например, каменные турунды Мифов Древней Греции, застревающие в ухе. Настолько он показался мне чужим и посторонним, хотя и очень кукольным. Маленькие, вязаные вроде шерстяных носков, человечки болтали ножками, но при этом стояли на месте. Наоборот, мимо них проезжали и крутились веревочные деревья, приделанные к огромному, положенному на бок колесу, отчего казалось, что эти, шерстяные, куда-то бегут. Они вертели и верещали под бодрую музыку, а сказав все что положено, замолкали и проваливались. Следом высывались другие – голова на тряпке – размахивали широченными рукавами на проволоках. Ширма

тяжелыми складками поднималась наверх, смотреть снизу было неудобно и душно. Пожалеть ребенка, взять его на колени было некому – взрослых в зал, кажется, не пускали – они стояли в фойе с охапками пальтишек. А может, меня приводила мама и тут же смывалась обратно на работу, постоять за прилавком – ее книжный магазин находился как раз через дорогу. Сидеть в колючих шерстяных *рейтузах* становилось жарко, попка мокла. Такая гадость. Полюбить это дело было невозможно, приходилось терпеть.

Отдельное переживание – Театр Оперетты. Дело в том, что мой учитель музыки играл в оркестре оперетты. Мама с папой имели контрамарку, а нам с няней разрешалось прийти на новогоднюю елку. С собой требовалось принести только чашку, блюдо и чайную ложку. Какао разливали из ведра суповыми половниками, а билеты за это отбирали. Один билет – один половник. Стояла очередь. От переслащенной молочной жидкости пахло суповым половником и подташнивало. Клетчатая клеенка на длинном столе сыпала шоколадными пятнами, я попыталась нарисовать рожицу, но получила по пальцам. Это я хорошо помню. В центре фойе стояла подпертая сзади фанерная тройка лошадей с радостными улыбками на лице и иссиня-розовыми санями, в которые можно было сзади влезть, и тогда нас всех фотографировали с радостными улыбками на лице. Фотографии из года в год вклеивали в альбом. Няне этот театр с заломленными руками нравился, а для меня оперетта так и осталась чем-то иссиня-розовым с липким шоколадом, и меня от нее подташнивает.

Еще противнее становилось только в Театре Оперы и Балета. Впервые, потому что светлый храм с колоннадой под фронтоном и фонтаном был изнутри разукрашен болотной зеленью с шишками, а мой учитель, который и там играл в оркестре, вообще сидел глубоко в яме. В антракте останавливалась тягучая и могучая как паровоз музыка, мне разрешалось подбежать к яме, подпрыгнуть и перевеситься через бордовый бархатный бордюрчик. Я думала, что именно чужой черный пиджак, чьи фалды лежали и шевелились на полу, делал моего учителя совершенно чужим дядькой. Он даже не поднимал глаз, когда я, балансируя на животе, пыталась обратить на себя внимание. Водил смычком по тяжелому телу альты, положив сверху большое розовое ухо. Потом медленно тух свет, я успевала добежать до бархатного кресла в конце партера, и тут начиналось. *Не мельник я, не мельник я, а ворон* – мычал изрядно измочаленный человек и забирался при этом по лестнице на тряпошное дерево, прислоненное для верности к кулисе. Почти в полной темноте. Мне было страшно и подташнивало...

И был в Риге еще ТЮЗ, легендарный театр, в котором музыка выпадала кусками из громкоговорителей, причем вдруг. Зато стоял постоянный и неутихающий ор сотен глоток одетых в одинаковые синие костюмчики и приговоренных к заключению одногодок. Нас за-

ключали в каменный зал с балконом. Сидеть иначе, чем лицом вперед удавалось плохо, фанерное кресло с предательским треском складывалось. Именно это было самым неприятным, потому что очень хотелось разглядеть всех вокруг и при этом не прищемить палец. Если бы ни классные *культпоходы*, я бы так и не узнала, что после войны в Риге родилось страшно много пятиклассников. Я даже видела их лица: заплаканных девчонок с выдернутыми из кос бантами, пунцовые от восторга физиономии пацанов. А также спины *наших*, заплеванные сопляками из *пятого бэ*. В буфете продавали маленькие *фунтики* с Золотым ключиком. Плевать разжеванными и скатанными конфетными фантиками я научилась именно в этом зале, и еще – метать эти мокрые шарики с расчески вдаль. Почему по сцене прыгали многопудовые зайцы, а может быть, воры, сыщики или пионеры, я совершенно не помню. На спине у меня все равно не выросли глаза, о чем предупреждала Мария Михайловна, наша классная, и о чем я, конечно, до сих пор сожалею.

Многому постепенно нашлось объяснение. Году в 90-ом меня позвали на чаепитие к заслуженной *травести* республики, игравшей тех самых зайцев и юных пионеров, по-моему, уже двадцать лет к тому моменту, но так и не заслужившей отдельной квартиры. Она жила при театре, ходила с работы домой в шлёпках и халате, оказалась очень милой сдобной дамой с томным взором, но с юным мужем, тоже при театре, пела романсы и жаловалась на *остохренившую тюзятину*. И я поняла, что главные театральные тонкости в юности просвистели мимо меня. А еще через год перестало быть тайной, почему в ТЮЗе такое невероятно широкое и гулкое фойе, а сцена мелкая, как речная отмель, почему свет внутрь падает с неба, а актеры живут в узких как кельи комнатках прямо при театре. Церковь оказалось все это заведение, отнятой у прихожан обычным советским макарон – силой. Правда, когда настал час ее вернуть обратно прихожанам, уже во времена *перестройки с перестрелкой*, культурные власти свободной республики поступили снова не по-божески, театр сначала брезгливо обезглавили, а потом расчленили и выгнали. А может, в обратном порядке, не помню. Убитый театр умер...

Словом, не было в моем детстве ничего противнее, чем театральный зал с его полутьмой и с его пронизанной сквозняком полудухотой. Вот так под белым крылом вырастают серые птички. Кто знает, случилась ли бы любовь, не начнись этот роман с такого тупого отращения.

Но бывали моменты нежности. Наш домашний театр. А вышло так: отец привез нам из московской командировки подарки – два маленьких китайских махровых полотенца голубое и розовое. Мы при-taskивали из кухни две табуретки, покрывали их невиданной роскошью *frotee*, посыпали поверх мелко наравнанной хрустящей фольгой – *шоколадным серебром и золотом*. Няня наливала нам в крошечные

кувшинчики и чашки кукольного *фарфорового сервиза* по капле молока, чая и воды и выдавала по бисквиту на брата. Мы расставляли угощения на полотенцах, усаживались на подушки прямо на полу, протягивая друг к другу ноги под табуретками и долго говорили о самом важном в жизни. Мы – артисты. Мне – лет семь, а брату, следовательно, – пять. Наш любимый спектакль назывался «В гостях у Ленина и Сталина», и в нем все было настоящим – чувства, мысли, слова, горе. По радио передавали оркестр *большого театра* и голос Левитана говорил: *говорит Москва, московское времянадцать часов, слушайте последние известия...* И мы играли в наш театр до полной в комнате темноты.

Мое наследство – розовое китайское полотенчишко *frotee* я вожу по жизни за собой. Оно сделалось за последние пятьдесят лет абсолютно седым и лысым. За это время я выбросила на помойку тысячу вещей, но выбросить эту часть декорации детства нету сил.

На следующий год мне стукнуло восемь, я пошла в школу, папа взял меня с собой в командировку и я увидела нечто – *Синюю Птицу*. Это был МХАТ, Московский Художественный театр, на котором моя неустойчивая душа поскользнулась и перевернулась, как сверху крыши нагруженный дилижанс. Сегодня я мечтаю повезти в Москву внука и показать ему этот спектакль Станиславского, на который последние сто лет трудно достать билеты. Потому что у меня есть ощущение – ничего более исконно-театрального ему все равно нигде не увидеть. И ничего более настоящего, чем живое молоко, танцующий хлеб и сахар, поющий с огнем. Как они скользят бесшумно в *черном кабинете*, сколько аршинов бархата надо иметь, чтобы одеть огромную сцену и всех артистов с макушки до пят, чем так загадочно подсветить – этот жуткий секрет знают только специальные люди. И теперь я многих из них тоже знаю, но не уверена, что раскрою тайну моему мальчику. Пусть потомится – крепче будет любовь.

Самое интересное, что *Птицу* эту автор писал для взрослых, как и Андерсен – свои сказки, оба считали себя символистами. И режиссер тоже как бы баловался, переводя с языка слышимого на язык видимый. Вот и все. А поскольку был он большим фантазером и свободным господином, то и добаловался до полного триумфа. Он вовсе не ставил спектакль для детей. Само понятие детский театр, говорят, изобрели большевики несколько позже, чтобы хоть как-то загнать в ящик тысячи беспризорных пацанов, чью жизнь они разрушили до основания, а затем... а затем и родителей поубивали. Куда ходили дети до того? Оказывается, со взрослыми в оперу, скорее всего, на *Maitine*. И так оно было устроено, что одного живого потрясения как хватало на один прыжок повзросления, а дальше – домашние фантазии, господа: Щелкунчик, Мышьида, орех кракатук, град Китеж, князь Гвидон и еще всплеск, может быть, последний – Три толстяка, гимнаст Тибул и циркачка Суок, кукла наследника Тутти. Последний

потому, что порог переступили тридцатые годы, и вскоре такое началось...

Кстати, придумавший толстяков шутник Юрий Олеша, как и его *дружочек*, она же любимая девушка Сима Суок, сильно недолюбливал пафосные штуки и однажды, сидя в Большом театре на балете Дон Кихот, наклонился к соседу и таинственно прошептал:

– Вы не находите, что это Минкус?

– Абсолютный Минкус! – ответил сосед. Это был как раз Сергей Эйзенштейн, его друг, который тоже сидел и томился в сиропе. А вы еще сомневались в моей догадке про колечки и кольчужки.

Эйзенштейн не сразу занялся кино, а вначале явился в театр и заявил, что готов делать в театре все, чтобы с ним познакомиться, а потом разрушить. В результате сделался режиссером. Он не переваривал МХАТа, а вместе с ним и наркома Луначарского, и этого совершенно не стеснялся, взял да написал: *... они стояли за использование старых традиций, были склонны к компромиссам ... На нашей стороне тогда была вся молодежь, новаторы Мейерхольд и Маяковский; против нас были традиционалист Станиславский и оппортунист Таиров. И тем более мне было смешно, когда немецкая пресса назвала моих безымянных актеров, моих «просто людей», ни больше ни меньше как артистами Московского Художественного театра – моего смертельного врага...*

Ну да, *немецкая пресса* погорячилась... А мне, юному восторженному нуворишу, в первом приближении вообще казалось, что все классики слились в любовном поцелуе, а их деяния лежат в портфеле истории, припечатанном горячим шоколадным сургучом.

Тогда меня, понятное дело, потрясало то, что видели мои глаза: волшебные вещи, то есть символы. Или то, что от них к середине века осталось.

Сегодня меня замучил совсем другой вопрос: как у них так получалось, что Станиславский поставил эту Синюю Птицу тепленькой, ну прямо со стола Мориса Метерлинка, драматурга не только бельгийского, но и вполне в тот момент живого? Как вообще в девятнадцатом столетии, без нажима перевалившем в двадцатое, получалось, что у Чайковского партитуры, скажем, Лебединого озера, Пиковой Дамы или Руслана и Людмилу у Глинки забирали и несли с едва просохшими чернилами на репетиции? Как вышло, что оперы морского офицера Корсакова можно было послушать и увидеть в дорожных шикарных декорациях совершенно не залежалыми, в тот же год, когда он их придумывал. Премьера на премьере, и все кругом живы. Даже Рихард Вагнер, прикативший из обнищавшей Баварии в праздничный Петербург со своим русским секретарем, чтобы отыграть шесть концертов, которые, кстати, и Чайковский посетил, был потрясен и задумал даже оставаться. Он и не подозревал раньше, что можно иметь столько славы, восторгов, мчаться с одного спектакля на другой, всю

ночь кружить по салонам прелестных поклонниц и заканчивать вчерашний день где-нибудь завтраком с шампанским, чтобы к вечеру опять катить в оперу...

Кстати, о премьерах и прочих признаках совместимости. Приехав в Баварию, я отчаянно скучала по театру, вполне искренне полагая, что ничего лучше нашей советской, московской, ленинградской, родной и любимой сцены нет, и быть не может. Вечерами листала привезенный с собою альбом Leo Bakst'a с шикарными шагреневыми шароварами для танцев à la oriental. Каково же было мое изумление, когда обнаружилось, что драгоценный Лев Самойлович, живя в Петербурге, нарисовал драгоценному Петру Ильичу на программке к балету не просто замок, но Баварский королевский замок на скале, которая называется *Neuschwanstein*, иначе говоря – новый лебединый камень. Неужели заезжал, проезжая по европам, неужели запомнил, или что – сфотографировал? Это сейчас его в каждом газетном киоске можно увидеть на открытке: вид летом, вид зимой, вид сбоку. Правда, наши соотечественники упорно называют его *Neuschweinstein*, то есть *новосвинячий*... Но рядом с сегодняшней глобализацией всего на свете, это, пожалуй, мелочи...

Откуда взялись и куда тянутся баварские гуси-лебеди, темные силы, сладкие грезы? От баварского ли короля, помешавшегося на Вагнере, а может, совсем от другого? *Schwan* – как лебедь или ...*mir schwant es* – мерещится мне что-то...

Чайковский, как известно, был человеком небогатым. А госпожа фон Мекк, хоть и с состоянием, но была вовсе не немкой, как можно бы подумать, а вполне русской дамой. Словом, он не ездил к ней тайно повидаться на лебединой скале и романтической страсти здесь не испытывал, да и вообще, страдал, скорее, по юношам. Как впрочем, и тот король-мечтатель. И как бы мне ни хотелось устроить им свидание в предгорьях Альп, которое бы все расставило на места, не получается. Однако, их необычный диалог с фон Мекк в письмах начался именно в тот год, когда Петр Ильич вернулся из баварского городка Байройт. Он был приглашен на открытие театра, построенного в подарок Рихарду Вагнеру на зеленом холме и переданного ему в вечное владение. В Байройте и сегодня происходят его оперные фестивали. Дожил, наконец, бедный Вагнер! Тут же, при театре ему с домашними был пристроен *домициль*. Композиторов в тот раз друг другу представили. Чайковский вернулся и написал пять пространных статей *про это*, хотя самой музыки господина Вагнера не любил. Ой, не любил! А потом сел доделывать Лебединое озеро, очень первоначально запутанную вещь, прямо-таки в пику могучему немцу. Через год в Большом театре прошла премьера.

Завораживающая история? Вот и я никак глаз не могу оторвать. И чем шире наплывают волны старых историй, тем яснее видно, что не только сцена и кружившая вокруг нее жизнь были одно и то же, но

российский театр был окружен Европой и, может быть, сам слыл частью ее. Даже *отец и мать* русской национальной оперы – Michel Glinka – говорил на шести языках, подолгу жил и писал в Европе, по сути, все знаменитое тут и сочинил. В пику итальянцам, французам, немцам, но тщательно у них учась. А вот Великий князь Михаил Павлович очень не любил Глинку и терпеть не мог его музыку. Когда нужно было сажать своих провинившихся офицеров под арест, он отсылал их на представление оперы Руслан и Людмила, говоря: более ужасной пытки для моих ребят я придумать не могу! Последний раз Глинка уезжал из Петербурга с проклятиями на устах и, стоя на дебаркадере, по свидетельству провожавших, в сердцах промолвил: глаза бы мои его не видели! Плюнул и уехал в Германию. А там вскоре и помер. В Берлине он не только помер, но, бывая неоднократно, подарил своему немецкому другу и учителю две с половиной тысячи страниц рукописей. Потому что побаивался, что у нас, если не растащат, то уж точно растеряют, а то и сгорят они вместе с театром. Так и случилось. У немцев же, как известно, *Ordnung*. Совсем недавно в Берлинской библиотеке наши музыковеды совершили подвиг – нашли оригиналы и Жизни за царя, и Руслана, и много чего еще. Немцы эти тома, между прочим, и не теряли, а наоборот – хранили с пушкинских времен и даже от последних ковровых бомбежек нашего века спасли...

Мне с детьми пришлось проделать обратный путь – из обнищавшей России в праздничную Баварию. И вот, странным образом, сегодня и здесь, абсолютно чужой мне Рихард Вагнер, при всей носатости его профиля в *зеленом берете*, постепенно начал примирять меня с новой ситуацией в жизни. При этом, нас с Вагнером через полтора столетия по-настоящему сближало только одно обстоятельство – полное безденежье. Да и как иначе – я с ним и знакома не была. Когда мы паковали сумки, чтобы рвануть в дальнюю дорогу, у русских даже дух вагнерианства, как и дух раблезианства, как и всякий другой дух, был запрещен. Кроме духа служения делу партии. Запрещено было и специальное общество любителей оперы, которое разогнали еще при большевиках. По простой причине: оно шибко много *про себя думало*, путало руководящие установки пролетариата и путалось под ногами, махая крылом...

А я, именно этим сортом прямолинейных людей наученная премудростям, жила не подозревая, что до революции в Петербурге, например, оперные тексты наперегонки переводились на русский язык. А потом театральная дирекция выкручивалась: как объехать известных интриганов и на чьем либретто остановить глаз. Правда, во всем остальном мире оперу принято петь на языке оригинала, но это опять детали. Главное, что пели и слушали, обсуждали, писали, превозносили, громили. И Вагнера тоже со страстью пели – все четыре громоздких *Ring`a* и другие чудеса театрального героизма. Чуть ли ни в год западных премьер имели на сцене европейские вещи, не говоря

уже о своих, русских. То есть, жизнь обитателей сцены и жизнь ее обожателей было, по-сути, одно и то же. А потом наступил 90-летний антракт. Для Вагнера, во всяком случае. Вот куда делся хороший кусок двадцатого века в российском театре – пошел на антракт...

Итак, старый Вагнер и веселый Мюнхен – оба прекрасно обходились без меня до конца 20 века. Как говорится, не ждали. Я стала искать, за что бы уцепиться в этом блестящем, но отъезжающем вагоне, стала искать, поручни или выступления, за которые можно бы ухватиться. И ведь нашла: оказывается, Вагнер тоже жил в Риге. Он был тогда, по-сути, мальчишкой – двадцать четыре года, но своей *немецкостью* просто истерзал слегка расхлябанный местный оркестр: требовал от музыкантов играть *immer frisch!* и дирижировал при этом костяной китайской лопаткой в виде согнутой лапки для почесывания спины. Репетиции с рижским оркестром продолжались два года, пока сумма его долгов не зашкалила терпение кредиторов. Тогда Вагнер с женой погрузились в *трюм* торгового корабля без всяких документов и поплыли к новым берегам *Richtung Riga – London – Paris*. И так замечательно вышло, что беглецов восемь дней болтало и трепало штормом вдоль северных шхер. Не случись тогда свирепого шторма, не случилось бы, пожалуй, на сцене оперы Летучий Голландец. Рихард Вагнер развлекался. Вечно без денег и на грани полного краха. Тем не менее, Голландца поставили в том же году в Дрездене и уже на следующий год репетировали в Риге. Театр, как ни странно, оставался гаванью для живых грешников, в нем бурлили живые страсти, не только символические, но главное – вещи назывались своими именами. Например, *премьерой* называлось *первое* исполнение.

2.

С крылом не так и тяжело, – предупреждала когда-то поэт Юнна Мориц. Но как же я устала лететь с одним крылом! Меня уже мутит от собственных домыслов, наверно я во всем ошибаюсь. Давайте пересядем на другое. Давайте перелетим, наконец, океан дней, давайте почитаем, что пишут умные люди сегодня.

Представьте, перед нами лежит безбрежный российский простор, который по суше продолжает вправо тесную Европу. А по душе – что же продолжает он по этому шаткому мосточку? Давайте заглянем не просто в театр, а в момент его соединения с любимой публикой через пуповину *премьеры*. Страшно важный, безумно волнительный акт: родилось, и вот уже живет, обратно не затолкаешь. Уже о нем все говорят, ликуют, пугают, ругают. Страдают. Но если зрителям скучно, не пойдут, никаким макарон не загонишь их в зал – плачь, не плачь – плакали денежки. Бывало, хитрецы пробовали по бокалу шипучего выдавать – не идут, и все тут...

Читатель, худо-бедно добравшийся до этого места, определенно театр любит, иначе зачем читает? Любит и хочет... Ну что ж, иду на поводу. Могу предложить посетить, скажем, как бы самый передовой

и наблюдаемый в России театр – Мариинский со жгучим Валерием Гергиевым во главе. Но не просто из праздного любопытства, а все-ръем, вместе с профессиональной публикой, с теми критиками, кто рисует погоду на оперном небе. Милости прошу.

Суперпремьера в Мариинском театре – кричат афиши. Чудесно, именно то, чего душа желала. «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера. Как? Стоп: опера, ведь поставлена в третий раз даже на этой сцене, к тому же, через 140 лет после ее написания. Год 2005, годы бегут... Ну ладно, простим опечатку, пойдем на суперпремьеру, она нам многое должна поведать.

Вот сидит глазастый зритель. Я буду его цитировать, следите за рукой:

Екатерина Бирюкова из газеты ИЗВЕСТИЯ видит банальности в новой упаковке:...Одна из мучительных кульминаций – в финале знаменитого любовного сорокаминутного дуэта, которые Тристан и Изольда поют в аккуратном номере дорогой современной гостиницы, не снимая плащей и не прикасаясь друг к другу. А за окном в это время мигает огнями ночной город, увиденный с борта самолета, потом, по мере накала страстей, он вспыхивает взрывами и наконец весь пропадает в пламени...

А вот сидит Варя Турова, она плачет, но пишет в газету КОММЕР-САНТЪ: ...Знаменитый любовный дуэт необъятного размера очень трудно поставить так, чтобы действие не остановилось. Не способствует этому и сам мутноватый текст дуэта – герои обмениваются фразами вроде: Как праздная пыль солнц, распростерты пред приобщенным ночи. Режиссерский прием, прояснивший всю сцену, прост и эффектен. Позади героев находится окно с видом на ночной город. К концу дуэта этот город исчезнет: несколько взрывов, которых не замечают герои, – и мира нет. ...

Татьяна Давыдова из НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЫ сокрушается: ...У Вагнера Тристан и Изольда дают волю и страсти, и поэтическому красноречию. У режиссёра Чернякова их поэзия кажется бредом. Любовники поют, не соприкасаясь и даже не смотря друг на друга; они предельно разобщены (их сближает лишь диагноз)...

Дмитрий Морозов вместе с газетой КУЛЬТУРА – насмехается: ...Дабы сделать «Тристана» простым и понятным для современной публики, режиссер вновь прибегает к пресловутой «актуализации», которая по большей части остается в спектакле лишь формальным приемом, повторением уже пройденного многими и многими европейскими режиссерами. Визуальный ряд продиктован не музыкой и даже, похоже, не логикой концепции. Просто Чернякову так захотелось...

А Ирина Губская из ГОРОДА просто издевается: ...В остальном «Тристан» Чернякова оказывается довольно жесткой пародией. Герои, выпив стакан простой воды, впадают то в экстаз, то в расслабленность, то у них начинается светобоязнь (тогда бросаются выключать повсюду свет)... Финальная гибель воспринимается как суицид психически больных

людей. Еще режиссер им обеспечил предпосылки к клаустрофобии, поскольку основной прием постановки – вполнину уменьшенная высота сценической коробки...

Сергей Привалов иронизирует в питерском ЧАС ПИК:

... Во втором акте Вагнеру зачем-то понадобился допотопный королевский замок. Не то – у Чернякова. Узкая щель, вычлененная из огромной сцены, превращена в нечто евростандартное. Матовое стекло, телевизор, вентилятор, кровать, жалюзи... Где мы? В больнице, роддоме, отеле три звезды? Вовсе нет – в лесной сторожке. ...Изольда поет что-то двусмысленное про охотничьи рога. Брангена уже изрядно утомлена сюжетом: подпевая госпоже, она переключает TV-каналы – ищет, нет ли мыльной оперы поинтереснее... Некто по имени Тристан в опере все-таки был...Как окаменел страстно при виде Изольды, так и начались проблемы с конечностями: после глотка любовного яда скрюченно рухнул в позу комара...

И еще припоминает ту, всамделишную премьеру в Мюнхене 1865 года, после которой внезапно умер совсем юный главный исполнитель:

...Результат, в общем-то, обнадеживает: все исполнители (искренне надемся) после спектакля живы, зрители тоже довольны – и потешились, и подремали. Да и нелепая постановка, скорее всего, скоро отдаст концы: верный признак – опустевшие ряды в первом же антракте.

Фонтан вымученных нелепиц не спасает... Неясно, отчего театр готов наступать на прикрытые вчерашними лозунгами грабли...

Конец цитаты. Вот и выступила из театрального пота белая кристаллическая соль. Как говорится, горькая, но справедливая. Хочется, видать, и с горы слететь, и крылом намазать бутерброд. Да кто же против? Я только все время одного хочу: понять, почему, говоря о лучших театрах, мы не можем одновременно говорить о лучших открытиях на театре? Почему в этой грандиозной стране на двух континентах не рождаются новые Глинки или Чайковские, сочиняющие музыку на слова современников и очевидцев? Почему не слышно хоть бы какого-никакого Мусоргского, хотя бы в халате и с распухшим носом... Может быть, он где-то все-таки есть, сидит, поджав крыло, но начальство забыло отпереть дверь и выпустить его из чулана на сцену? Дайте срок, мы еще потрудимся и поищем этих загадочных людей.

Самой мне побывать на Тристане в Питере не довелось, глядела в других местах другие сцены, я лишь заглянула на портал ТЕАТРАЛЬНЫЙ СМОТРИТЕЛЬ www.smotr.ru. А поскольку в Интернете сегодня только грудные младенцы не ползают, могу пригласить пройтись чуть дальше, скажем, полюбопытствовать о самой престижной российской театральной премии. Ее еще называют *главной национальной* – ЗОЛОТАЯ МАСКА. Если вы к театру не равнодушны, то можете испытать сильное чувство...

Не стану вас утомлять, просто пробежимся. Вот фавориты драматического театра 2006: Три сестры, Шинель, Лес, Братья Карамазовы – все в Москве, Вишневый сад в Омске... Я наверно заблудилась в этих трех сестрах. Ау, где я, кто я, какой у нас сегодня век на дворе? Говорят, двадцать первый...

Вот оперные номинанты: Волшебная флейта в Уфе, Кармен в Перми, Мадам Баттерфляй в Москве, Травиата с Тристаном и Изольдой в Питере. Самый свежий номер – Упавший с неба в Москве по мотивам оперы Прокофьева *Повесть о настоящем человеке* и кантаты *Александр Невский*. Все давно умерли, включая нешуточно раненого Маресьева...

Тристан с Изольдой, получили специальную премию как *музыкальное событие сезона* и еще *за инициативу в развитии современной российской оперы*. Современной господину Рихарду Вагнеру, надо понимать? На этом *событии* мы с вами как раз побывали несколькими абзацами выше. *Лучшим оперным спектаклем* в России выбрана одноактная буффонада Джоакино Россини, к тому же поставленная товарищем французом. Свежая вещь, ничего не скажешь, ей и двухсот лет еще нет, написана была как раз по случаю коронации короля Карла X в 1825 году. Куда уж актуальнее в большой стране, где что-то снова происходит и весь Кавказ опять в огне...

А вот нашумевшую постановку Эймунтаса Някрошюса Дети Розенталя МАСКОЙ не наградили. А зачем? Действительно, выглядело бы совершенно нелепо, ведь это единственный музыкальный спектакль живых авторов – композитора Леонида Десятникова и прозаика Владимира Сорокина. Впервые за последние 30 лет в Большом театре поставили оперу живого композитора! Мы все помним предпремьерный фекальный скандал – по запросам в государственной Думе, по теленовостям из сквера с фонтаном, где патриоты с гремучими лозунгами боролись за чистоту российских нравов. Боролись, как умели, бедные. Главный патриот в убожестве своем чистосердечно расписался: *Я не читал и не знаю, в чем суть этой оперы. Какая разница... Автор от этого не перестает быть калоедом.*

Зато Большому, не подумайте плохого – главному национальному театру страны, как он о себе без обиняков пишет – досталась важная балетная премия – *за лучший спектакль года*. Им стал *Сон в летнюю ночь* в хореографии Ноймайера. По комедии Шекспира с музыкой Мендельсона. Материалу лет двести, ну, самое большее – четыреста, все свежо. Но особенно радует тот факт, что Джон Ноймайер поставил его для своего театра в Гамбурге 20 лет назад. А сегодня эта сонная старушка, водруженная без повреждений на отечественную сцену, у нас – впереди планеты всей.

Закрадывается подозрение: может, жюри главной национальной премии страны переспало-недоело, не туда заехало и не то смотрело? Нет, не скажите: за прошедший сезон экспертный совет по драме от-

смотрел 279 спектаклей, по музыкальному театру – 111. Об этом сообщила гендиректор национального конкурса. Кто спросит меня – светла ль моя печаль?

Мне только остается напомнить, что мы пролетели над театральным ландшафтом России. А вот и вывод самой дирекции ЗОЛОТОЙ МАСКИ 2006: *На скуку, застой и вторичность в отечественном театре нам, кажется, сетовать не приходится. Сезон закрылся, да здравствует новый сезон.*

Хотите – верьте, хотите – нет...но сон разума опять чего-то там рождает.

3.

Вообще-то Россия – со всех сторон и сама по себе – земля театральная, любим мы *крылом побаловаться*, и от этого никуда не денешься. Страна поразительных сказочников – на старорусском языке звучало еще точнее – *брехунов*, – а также несметное воинство любителей этой брехни. Вот и сейчас, пока мы наблюдали с высоты птичьего полета интригу вокруг главных театров, страна проделала в одночасье сказочные *fouette* по кругу... Только что блистали *тридцать три богатыря в чешуе как жар горя* – груди в орденах. А стали – тридцать три миллиардера, возглавляющие мировые списки главных буржуев. Еще вчера весь мир ссужал по копейке на поддержку российских театральных штанов: западные доброхоты к себе на фестивали брали – за все платили, сами в Россию на гастроли ехали – опять на свои, даже гонорары себе сами выплачивали. И вот, фузтнулось время, и не пойдешь больше по миру побираться, никто не поверит. Потому что стали наши деятели действительно впереди планеты всей по количеству блеска и презентаций. А также мишуры-шоу и пафоса. Любим мы это дело.

Причем, поворот произошел легко и без нажима, как поворачивается, лежа в стакане воды, магнитная стрелка. Были бедные, но гордые, сделались богатые, да хвосты поджатые. Укажет *papa Путя* пальчиком на мальчика, слегка у виска покрутит, налетят птицы серые не шибко певчие, прямо в самолете скрутят, скуют железом, повезут. А потом долго с небольшими антрактами всему миру будут в клетке показывать. Чем не аттракцион? Сценарий знатный. Про то, как отнять богатство, спектакль в три акта: суд мещанский, тишина матросская, в финале – лагеря. Причем, дело наше крепко стоит на традициях и знаменитостях. Ведь Малюту Скуратова мы никогда не забывали. Режиссеров из Театра на Лубянке пытались, было, с ресницы сморгнуть – дулись, тужились. Напрасно. В конце-концов, у нас всегда найдется прекрасное оправдание в истории этого искусства: французский *Thermidor* – какой спектакль, какой финал шикарный. Правда, еще двумястами годами раньше господин Вильям Шекспир на сцену взлезал и показал, как *работают* на театре убийство: стальной клинок в кинжал въезжал, а клюквенный кисель неотличимо

кровь изображал... Какое там, у нас свой театр, национальный *пир духа*.

У других народов, которые себе на уме, такое только в сказке встречается – дутое папье-маше какое-то. У нас все наоборот. Жил-был царь Тафута, и вся сказка *тута*. Это я не выдумала, ей-богу, у Владимира Ивановича Даля слова списала, а как точно. Поэтому, наверно, чем дальше нас оттаскивает время от кислородной подушки последней перестройки, тем меньше можно увидеть на подмостках Европы театральные образчики актуальной России. Задыхается, что ли? Стоит в тотальной пробке? Темы кончились? Промолвить страшно? Сломались совсем деятели или только крылья подломились? Что ни фестиваль современного искусства – наших нету.

Но вот приезжает на гастроли *Лебединое озеро*, отдрессированное до сияния и напудренное до бровей ровно 230 лет тому назад, становится в аккурат на самую большую сцену города, вешаются тряпошные скалы на штанкеты, сзади прибывается *бережок*. Не дорого и без головной боли. Голландский *раскрутчик*, профессионал высшего пилотажа, сняв чудесное помещение, приглашает корреспондентов сфотографировать прелестные ножки на пуантах на лужайке с шампанским у королевского канала. И тут, как уже заметил поэт: *быстро ножка ножку бьет*. Потом он пишет аршинными буквами на всех заборах, что *к нам едет самое грандиозное Озеро в мире*. Публика, как зачарованная дудочкой крысолова, тянется поглазеть на музейный экземпляр. И что же? Пермский госбалет имеет в Мюнхене двадцать аншлагов в мертвый летний сезон. Это факт. Даже, возможно, повод для триумфа, если прикрыть глаза и забыть, что та же публика годом раньше тянулась как зачарованная в анатомический театр поглазеть на человеческие тела без кожи, но в позах, часть которых, говорят, прикупили по дешевке у нас в моргах Киргизии. Правда, тогда разразился длиннющий вонючий скандал. Одним словом – публика. И ее деньги...

Но надо знать эту публику, немецких бабулек, которых летом на Майорку все равно не тянет по причине жгучего солнца. Зато тянет к высшей справедливости. Я застала моего немецкого коллегу обхватившим голову руками перед служебным компьютером:

– Посмотри, что делают, что делают, при чем тут наш театр! – Читаю:

PRINZREGENTEN THEATER позволяет себе прямой обман публики. Путем подсчета количества танцовщиц *corps de ballet* на сцене, мы выяснили, что лебедей было всего 48, в то время, как на сцене *COVEN GARDEN* танцевали 52 лебедя. Следовательно, нам показано не самое грандиозное Озеро в мире, как обещано. Мы намерены подать в суд и потребовать возмещения за причиненный нам нематериальный ущерб.

– Брось, бабушки шутят!

– Не шутят. А что, ваши лебеди шутят?...

Наши лебеди, наше цекапартии, наше кагебе... немцы думают, что это у нас все еще слова такие. Хотя, у них своих таких достаточно: гестапо, эсэс, хендехох. Было, во всяком случае, шестьдесят лет назад. Да разве от этого легче...

Ну хорошо, давайте сделаем вид, что двухсотлетними лебедями нас не запугаешь, и не сразу бросимся из Перми вон, а посмотрим, что же сегодня есть нового в городе, который называют третьей балетной столицей России. Оказывается, есть еще театр современного танца, он же *независимый театр* Евгения Панфилова. Театр есть, а сцены у него нет. С тремя труппами, две из которых удивительные, экзотические – *Балет Толстых* и *Бойцовский клуб*, с полным репертуаром, с гастрольями, фестивалями, именем в мире, награжден такой же ЗОЛОТОЙ МАСКОЙ, как Большой в Москве, но все 20 лет жизни танцует по чужим углам. Был частным, остался авторским, стал государственным – ничего не помогает. Балетная каста долго не хотела принимать его, для них хореограф, автор сотни спектаклей, пришедший когда-то из архангельской деревни чуть ли ни босиком в 23 года, был провинциальный выскочка с *хулиганскими бравадами*, который ставил на сцену *непережеванные куски Запада*. При царице Екатерине *под большим двуглавым крылом*, мы все знаем, кем стал юноша архангельский – за казенный счет в немецком Фрайберге подучили, устроить российскую академию и университет по уму дали – до сих пор есть чем гордиться. При теперешней мудрой власти... ах, лучше не думать. Танцовщик и выдумщик жил бурно и коротко, вот уже четыре года миновало, как нет Панфилова, убит, остался театр без автора. Но ничего не могут придумать начальники города и области, а также региона и страны. Для кого-то, чья профессия – держать палец на кнопке, кто присягал, очевидно, лебедям, талантище и художник – это бунтарь и бастард, и места ему не положено. Такая вот непруха.

Только не подумайте сгоряча, что от подобных актуальных театров в России прятаться некуда, пальцев одной руки, наверно, хватит... Может быть, не стоит сгущать, и в первой столице дела выглядят иначе, чем в третьей? Прошу вас, вернемся в Санкт-Петербург, не пожалеете.

4.

Хорошо иметь сменные крылья. Устали, присели, перецепили, и – поехали дальше наяривать, *чиркать крылом в небе*. Небо все стерпит. Совсем другое дело – дело реальное, внизу, в поту, на земле. Можно крепко сдачи получить...

Вот и Антон Адасинский – не знаю, как его поточнее назвать – художник тела или хореограф, со своим театром ДЕРЕВО, налетался по миру и уже не против вернуться домой. А было дело, от полного непонимания своих идей и затей, уехал и увез все, что можно было от пола оторвать. Прошло 16 лет, наступил 2004. Антон «со товарищи» по обе стороны от границы решили доказать, что они нужны Питеру.

Потратил кучу сил и устроил в Питере новый фестиваль, который называли ВЕРТИКАЛЬ, думая, наверно, что взлетит их идея красиво, как ракета, как салют. Газетчики подстрекали, публика любопытствовала, молодежь и художники города вылезли из облезлых подворотен и начали фантазировать прямо на воде Невы против Зимнего, вокруг и внутри Петропавловской крепости. На следующий год Антон пригласил из Японии легендарного старика, гуру традиционного но свободного *танца буюто*, устроил мастер-классы и спектакли.

Жанна Зарецкая не постеснялась предположить в газете PULSE: Адасинский – это пароль, на который сейчас отзываются реальные мастера современной культуры. У Петербурга есть реальный шанс приобрести не только актуальный фестиваль, но и нечто более стабильное и необходимое – оплот современного искусства...

И что же, произошло ли что-нибудь, кроме того, что дерзкие художники хмыкнули, утерлись крылом, да и вернулись в свои подворотни? Не нашлось для ДЕРЕВА в Питере места. То есть, места навалом – нет денег. Или, денег сколько хочешь, нет воли? Или воля есть, но не у тех людей? Или все вместе просто просачивается в известный российский песок... Загадка: скрипит, не лезет и не едет, что это?

А между тем, ДЕРЕВО – это необычный театр, очень русский по ощущению мира и по его картинке на сцене, очень питерский, его не спутаешь ни с кем. Антон Адасинский – его мотор и одновременно зажигательная смесь. Это он с медной трубой, но голый танцевал по центру Невского и ловил чучело в потоке автомобилей, сопровождаемый группой друзей-музыкантов. Убить его могли не только автомашины, но и простые граждане голыми руками, потому что все границы *приличного* он тогда перешел. И не однажды. Акции в конце восьмидесятых повторялись и были для российского партийно-пуританского быта не столько новостью, сколько наглостью. Ученик и друг знаменитого мима Славы Полунина, он назвал свои акции искусством *русского буюто*, жизненной философией. Но на что он мог рассчитывать, имея одну верную сторонницу – интуицию.

И они уехали из страны, стали обычной бродячей труппой, как в шекспировские времена, ночевали где сон сморит и не переставали удивляться, какой вокруг пестрый мир и люд. Сделав три больших привала – в Праге, Флоренции, Амстердаме, каждый раз на два года, ДЕРЕВО осело в Германии. Их никто не ждал и не звал, а просто на перекрестке вырос Chester Müller, ставший им повивальной бабкой и отцом-кормильцем. Он их любил и заботился – такая вот театральная профессия, которой нигде не обучают. И ДЕРЕВО вросло корнями в Дрезденскую почву. Это так просто, как обмен кислородом в живом кровообращении. Город дает театру пару сотен квадратных метров заброшенной фабрики. Бесплатно. Театр дает городу искусство, школу-лабораторию и славу, без всяких *но* и *если*. Как модель и образ жизни они начались почти двадцать лет назад, с тех пор состав не

очень изменился. А вот из всех атрибутов осталось только самое необходимое, с чем отлетают. Если, конечно, умеют летать. Осталась душа, такая общая амфора без дна, не очень устойчивая, но налитая сочными видениями с пенкой поэзии поверху и дымкой парящей музыки над ней. Они не пишут сценариев спектаклей, они эти спектакли *живут*. Им очень непросто вместе, но и друг без друга – тоже. Однажды я наблюдала, как из пены выплывает силуэт спектакля. Главных нет. Они обсуждают новую идею, меняются местами, смотрят на происходящее отовсюду: с первого ряда, из середины зала, от светового пульта. Все вместе, и каждый раз заново, они плетут ткань как бы из гобелена чувств и снов, пропуская поэтические нити сквозь собственные тела, как через скользящие челноки, и перебрасывая друг другу вертящийся клубок мыслей. И вот наступает *пункт ноль*. С этого момента никаких разговоров, ни о чем. Они ложатся на нагретый прожектором линолеум и начинают гнуть свои звериные суславы. Тянуть, гнуть и думать о своем. Так заряжаются артисты. Через три часа откроется дверь и ввалится неумолимая публика, может быть тысяча жадных вампиров, которых эти четверо кормят энергией почти каждый вечер. Нормально?

Таких ненормальных еще порядочно в мире. Весь фестиваль FRINGE в Эдинбурге – сплошной сумасшедший дом. Группы прилетают и живут на свои гроши, тащат через море декорации и снимают площадки, безумно рискуют при невиданной конкуренции. В полумиллионном городе 200 спектаклей идут параллельно: в шатрах, на чердаках, в подвалах, даже в церквях. А публика-то *одна*, правда сильно прибавившая в числе, потому что с континентов на остров приезжают на это время десятки тысяч туристов. Эдинбург без FRINGE – обычный сонный буржуйский городок со скверами и темным замком на горе, все помнят что здесь на эшафоте при народе срубили голову Марие Стюарт... А с фестивалем он стал за шестьдесят послевоенных лет первой театральной столицей мира.

Антон рассказывает, что был потрясен, поняв, как рано ушли из земной жизни музыканты, ставшие легендой рока: Nick Drake в 23 года, Janis Joplin в 27, Jimi Hendrix в 27. Они словно рвались к смерти, кончали с жизнью любым способом, погибали от алкоголя, наркотиков. Не было ли у них глобального сговора с высшей силой? Может быть, именно в обмен на ранний уход человек получает жизнь, сжатую в молнию и, зная об этом, успевает столько сочинить, оставить миллионы записей, километры тончайшей киноплёнки? Не значит ли это, что... Эта мысль уже не покидает их, становится идеей спектаклей. Снимается фильм *Süd.Grenze*, состоящий из нелепо склеенных фантастических обрывков. Фильм тут же принимается разными кинофестивалями к показу. Публика изумлена, но создателей такая реакция не удивляет, они к ней привыкли. Диалог продолжается. Их страницы в Интернете наполняются фотографиями, рисунками и стихами артистов.

Антон Адасинский немногословен, сосредоточен, лишен быта и напряжен как прут антенны. Он говорит, что подтверждение догадки находит теперь везде: Миша Шемякин спит по четыре часа, остальное – бумага, краски, металл, – работа. Огненный темп, в который вгоняет музыку Валерий Гергиев, едва успевая с самолета за дирижерский пульт, – все признак сговора. Даже совершенно чужой Антону балет классической школы, которому он никогда не учился, начав танцевать вообще в 29 лет, этот зашифрованный язык заражает его своей целеустремленностью, становится символом сжатого времени. Он возвращается в Дрезден из Мариинского театра, отыграв в нем нечистую силу – Дроссельмайера в Щелкунчике, и прививает ДЕРЕВУ новый вирус. Сегодня артист Адасинский представлен сразу двум президентам – господам Путину и Бушу. Нося вместо *фиги в кармане* призы самых именитых европейских фестивалей, показав свой театр на всех континентах, приглашенный поработать в вашингтонском Кеннеди-Центре, он стал вхож в кабинеты. Теперь с ним в Питере разговаривают. Жаль, толку не много.

Вообще, люди театра, вырвавшиеся из-под колес быта и чиновничьей власти, которая всегда готова распорядиться чужим как своим, меняются удивительно. Происходит глубокая линька, позвоночник распрямляется и они начинают отличаться, как сказал бы поэт, *крыла необщим опереньем*. Прости мне, господин Баратынский, не удержалась...

5.

А иногда случаются удивительные исключения, и разгибание членов происходит с хрустом прямо под колесами власти и удаётся расправить скукоженные крылья. Особенно, когда объявляется *Год российской культуры в Германии* и два правительства наполняют мешок деньгами. В 2004 году удалось перекинуть сюда по воздуху даже всю Новосибирскую Оперу с оркестром, хором, солистами, рабочими и спектаклем *Жизнь с идиотом*. Правда, декорации сколачивали все-таки на месте. Кроме, разве, натуральных березовых чурок, прилетевших из Сибири тоже первым классом. Немцы, в том числе правительство, затратили миллион, но не пожалели. Вот что они писали, поглядев наглое сочинение Альфреда Шнитке и Виктора Ерофеева:

Bayerischer Rundfunk/ Баварское радио

... Каждое общество выбирает себе того идиота, который ему подходит – вот в чем урок оперы. Премьера в самом Новосибирске была увесистым скандалом. Больно уж решительно нарисовано опустошение, учиненное социализмом, и слишком явно замешано оно на сексе. Нам эти гастролы показали не только важную русскую оперу конца XX века, но и удивили свирепым русским юмором.

Tagesspiegel/ Зеркало дня. Берлин, Rudiger Schaper:

... последние недели репетиций проходили в Новосибирске под охраной. Рабочие сцены пытались саботировать спектакль, потому что действие

топчется по костям почившей Советской империи. В городах подобных Новосибирску это прошлое так и не закончилось, по сей день. Интересно, что русского зрителя по-настоящему раздражали банальные вещи: смесь угрюмо-помпезного советского пустословия и секс-откровенностей, которыми сцена наводнена... За нее в Новосибирске режиссера побили камнями, но и прославили, как он считает. При этом проза Ерофеева такая же антирусская вещь, как самогон или ГУЛАГ.

Frankfurter Allgemeine/ Франкфуртская общая газета, Alban Nikolai Herbst:

Кто желает, может назвать оперу бурлескной, но эстетически она реанимирует 50-ые годы. Социально-политические разборки к искусству отношения не имеют, да и непростительны, учитывая, что железный занавес пал уже полтора десятилетия назад... Так что спектакль как был, так и остается фарсом, стилизовать который под «гуманитарные условия» – затруднительное занятие. Выставленные на березовые чурбаны головы банальных злодеев не делают его более современным. **Berliner Morgenpost/ Берлинская утренняя почта, Klaus Geitel:**

...Здоровый желудок может переварить все. Опера-конфетка с начинкой из мерзостей и анекдотов. Это не вещь для улады чувств. Страшная, но с помпой параболы об уничтожении человека человеком. Неистовая пьеса самопостижения. Два акта непрерывного зубовного скрежета... Барановский выстроил впечатляюще-грязные групповые сцены. Давид Боровский склеил сцену просто и монументально – из газет. Постановка проворно снует между жесткой политической сатирой, зауем первоизданного дадаизма, страшилками и черным юмором.

Bayerischer Rundfunk/ Баварское радио, Sven Rieckels:

...это гротескная аллегория о том, как легко позволяет себя совратить человек вообще и совковый интеллигент в частности... Несомненно, спектакль – вершина Дней российской культуры.

Жаль, не дожил до этих дней Альфред Шнитке, сын немецкого журналиста из Франкфурта и учительницы немецкого языка с Волги. Ни на той своей исторической родине, ни на этой. В России 1991 года, когда они с Ерофеевым трудились, смеясь и радуясь каждой фразе, подумать было нельзя эдакий срам возвести на святыню отечественной сцены. Так что, риск премьеры решили перенести в Амстердам: Ростропович за дирижерским пультом и в роли начальника психушки, Илья Кабаков с карандашом, Борис Покровский с настольной лампой и тетрадью либретто. И ни одного русского имени в списке исполнителей, под Вовочку загримировали негра с голосом контрактатора. Это и ясно, как их из страны добыть и ценой каких рисков? Композитор и тот – автор запрещенных сочинений, живший писанием саундтреков для кино, сокровенную свою музыку сочинял в стол. Первый раз за границу на собственную его премьеру дирижер вывозил Шнитке путем жуткого служебного подлога: записал аккомпаниатором литовского камерного оркестра. А иначе – сиди, ссукка, вы-

зовут тебя, когда надо. С вещами. А ведь он своим боковым зрением еще видел себя ребенком в Вене, он точно знал, с чем сравнить и для чего писать... Какую же нездоровую фантазию надо иметь нормальному немецкому критику, чтобы такой бытовым фон, такой психологический подтекст себе вообразить...

Позже в интервью радио СВОБОДА Ерофеев признался в своих чувствах на премьере, которую даже королева Нидерландов посетила, и это уже при Горбачеве: *Мы все были мокрые, как мыши, потому что очень волновались. Я сидел и думал: боже мой, наша страна, у которой такие, как правило, дурацкие правители, чудовищная бюрократия, коррупция без края, и вот такие есть люди, такие великие творцы. Вот это мощь русского искусства. Как это совмещается? Я на этот вопрос до сих пор не нахожу ответа... Сытости и самодовольства - вот чего совершенно не было в Альфреде. Он боялся, что тот божественный замысел, который вкладывается в его душу (я имею в виду рождение музыки), он не сможет полностью отобразить, что он допустит какую-то отсебятину. Поэтому он был такой страшно бледный после концерта...*

После первой постановки в Амстердаме времени надо было еще на пару лет подоспеть, чтобы в бывшем кинополуподвале на Соколе восьмидесятилетний старик Борис Покровский, которому как бы и бояться-то кроме Бога нечего, все же инсценировал Жизнь с идиотом. Он устроил публике удовольствие снять хоть на пару часов впукло-выпуклые совковые очки с глаз и в упор поглядеть на тело и дело вождя. Но на московской премьере какие-то люди кидали яйцами и камнями в артистов, а попали в голову мексиканского посла. Видно, и тогда патриоты боролись за чистоту российских нравов. Чем их вооружили, тем и боролись, бедные... Послов больше не приглашали, но и оперу запретили. И только десятью годами позже, в 2004 новосибирскую Жизнь с идиотом номинировали на все возможные Маски, три из них ей вручили. Удержать большого хитрого кота в мешке было больше невозможно, он вырвался. Но еще позволено было показать на него пальцем, может быть в последний раз, потому что уже опять началось...

Опять закукарекали серые петухи гебешной породы и появились сократовской глубины афоризмы вождя всея страны, типа: «мочить в сортире», «контрольный выстрел в голову», «кто нас обидит, трех дней не проживет». Десяти лет хватило, и страна сказочников снова сделала полный *pirouette*. И вот, директор Института стратегических исследований Андрей Пионтковский вдруг выдает искусствovedческое заключение: *В психиатрии есть такой диагноз «нравственный идиотизм». Каждый своим публичным выступлением г-н президент ставит его себе. Вы хотите узнать, какой будет жизнь России в ближайшие 8, а может быть, 14 лет? Сходите в театр В. Покровского на оперу Альфреда Шнитке «Жизнь с идиотом». Гении умеют*

предсказывать будущее, даже не подозревая об этом...

Конечно меня радует, что Пионтковский, бледная сивилла 2000 года, не гнушается камерной оперой для своих стратегических прорицаний. Но как печально, как же печально, что ни слова, ни музыка народная так никого и не сделали хотя бы на чуть-чуть, на одну тюльку...

Но иногда случаются с нашими театрами чудесные истории, незабываемые. Однако, так исчезающе редко, если глянуть на всю территорию вцелом. Так редко, будто боится кто-то в стране и не пускает. Будто можно *испачкать крылом небо...*

Лет десять, как Европа открыла себе Русский инженерный театр, в этом году он появился в Мюнхене по приглашению SpielART, фестиваля города, его сберкассы и баварского автоконцерна BMW. Максим Исаев со своей группой АХЕ из Питера – родом из перформансов, которые никакой государственной поддержкой, разумеется, не пользуются. А значит – бедны и свободны. Он – младшая родня Шемякину, Полунину, Адасинскому. Блеснуло, как золотая рыбка. Маленькая, чудесная, волшебная, совершенно непонятная вещь. Ровно час пятнадцать показывали на сцене череду проникающих друг в друга картинок. Нанизанные на нитку колдовской музыки живые, но немые актеры, которые нет-нет, да запоют? Столетнее потреснутое шипящее кино братьев Люмьер, снятое ими самими, как выяснилось, три года назад? Старые фотографии, из которых как раз и извлекли идеальные людские типы? Сюжета нет и не хочется. Минуты – и вечность промелькнула. Сидишь, как на сеансе белой магии, уходишь, как приворотного зелья напился. Откуда что берется? Всех заморозили и уехали. Забыть невозможно, сердце тоскует. На пресс-конференции спрашивают у Максима Исаева:

– То, что вы показываете, и есть современный русский театр?

– Не знаю, я называю наше дело ЛОМО, ленинградское оптико-механическое объединение...

– Кто вам пишет сценарии?

– А зачем его писать, все давно написано. Открыли Библию, Книгу Давида, и ставим...

– Ну, вы сами-то русский художник?

– Не знаю, скорее, советский, а если еще подумать – иудей.

– А почему такую длинную бороду отпустили, на сцене ведь неудобно, у вас траур? –

– Да, по Чеченской республике, и вообще... пусть мусульмане знают, что я с ними. Им сейчас трудно...

Один немецкий театральный старик мне сказал: «Все новое – ничего нового. Мне показалось, что я видел похожие куски в авангардных подвальных Вены 60-х годов, но русские мальчишки их видеть не могли. А еще в лентах Параджанова, даже, пожалуй, раньше, до

войны в коллажах Курта Швиттера и дадаистов, но это только поэтический принцип. Ничего не понимаю! Ооо-чень хорошо...».

После такой оценки сердце мое тает и наполняется горячим распирающим паром, похожим на гордость за родное отечество. И одновременно, унылой жалостью к тем соотечественникам моим, кто тем уже перебрался в Европу, но душой все еще плутает в России позапрошлого века. Потому что, если поверить, что сегодня в Мюнхене тысяча пятьдесят *наших*, то на театральные спектакли ходит всего две сотые процента. Куда делась самая читающая нация в мире, обожавшая балет? Где дремлют зрители, что ночевали прежде перед кассами на Таганке? Нет их здесь. На улицах полно, в супермаркетах, даже в мебельных гигантах полно, а в залах не видно. Может, стоят на вокзалах и ждут, что прибудет *триумфальное шествие советского искусства за рубежом?*

А было ли шествие? Если понять, что вдоль по Америке наших возил знаменитый импресарио Sol Hurok, что в переводе означает даже не Сол Юрок, а просто Соломон Гурков? С опытом и связями там все было *okay!* Он ведь еще Нижинского и Анну Павлову возил, а также Шаляпина и Рахманинова, потом уже Большой балет и Кировский. Если догадаться, что в Англии гастролы устраивал Виктор Хоххаузер, чуть менее знаменитый, но не менее цепкий монополист, что его жена Лириан вела все переговоры, диктовала программу тура и почти единолично определяла, быть гастролям или не быть. Пожимая ей руку, по меткому выражению одного хореографа, надо потом пересчитывать пальцы. И для них русский язык тоже был не чужой. Но наша ПРАВДА об этих людях помалкивала, потому что здесь проходила как раз Зона ГБ. Успех у бедных мастеров совесткой сцены, питавшихся в основном супами из пакетиков, конечно, был. Он держался на железной дисциплине и фантастических солистах, да и публика, раскошелившись на билет, ладони уже не жалела, хлопала. Это ведь нормально. Но *шум* зарубежного триумфа стоял скорее всего только в ушах, потому что создавался комбинацией партийной пропаганды и хитроумных ходов тех акробатов антрепризы. И тем, и другим было приятно, и очень... ну очень выгодно, когда *ножка ножку быстро бьет...*

А сегодня тысячи *наших в городе* не замечают родных гастролеров. Нас не интересуют художники свои и чужие, нас также мало интересует старая добрая классика, как и разбитной зубодробильный авангард, даже живая церковная музыка, такая некогда запрещенная, возделенная и, казалось бы, уже совершенно бесплатная. Газет мы не читаем, афиш в упор не видим, живем на пособия из кассы для нищих и сидим перед экранами русского телеящика – *мы не местные*. Фурор и восторг, правда, начинается, если в город прибывает главный казачий запевала Розенбаум или свежеразведенный попрыгун Киркоров, тут мы идем шеренгами как на первомайскую демонстрацию и наби-

ваем пол цирка. А если поинтересоваться, то точно знаем, что театр – это дворец с колоннами, а также буфет с икрой, и чем выше белокаменное фойе, тем светлее за ним искусство.

Одна сменившая то ли Киев, то ли Москву на Мюнхен дама гордо выдала мне эту сентенцию, фыркнула и победоносно повела двойным подбородком вдаль. Мы стояли на пороге мюнхенской Reithalle. За приоткрытыми створками манежных ворот, отмеренных в высоту под кавалериста вместе с конем еще, наверно, до первой мировой войны, в полутьме и дымке огромного объема сверкали софиты и титановые конструкции театра – суперсовременного и multifunctional. Дама подумала и добавила:

– Мы к конюшням не приучены, это у них тут никакого уважения... Искусство – всегда праздник и красота. А это, простите...

И я, конечно, простила, а кому сегодня легко? Я-то хочу наивно верить, что День милиции не самый главный праздник в жизни. А еще я знаю, что этот манеж уже попал в историю. Правда, в историю другого искусства – не за красоту, а за совесть. Он и расчищен, и перестроен был именно потому, что режиссер Петер Штайн, как говорится, *уважать себя заставил и лучше выдумать не мог*. Здесь он ставил свой первый русский спектакль – гигантскую древнегреческую *Орестею*. Как раз этот пол, хитро собранный из вбитых в землю деревянных столбиков, и поэтому совершенно бесшумный, стал для Жени Миронова европейским трамплином в артисты. Мне известна еще одна театральная тайна: Штайн на репетициях тиран, он всегда знает точно, чего хочет. Тогда маэстро потребовал, чтобы падающий из рук кинжал издавал настоящий, а не бутафорский лязг. Ничего не оставалось, как купить настоящие каменные плиты. Они проехали гастролью по всему свету, чертыхаясь их выгружали из фуры и загружали обратно, а когда Орестея ушла в историю, плитами замостили двор вокруг Reithalle.

Петер Штайн продолжает ставить с нашими. Когда Мионов приехал с московской труппой уже в роли *Гамлета*, в родной ему Reithalle пришлось соорудить трибуны вокруг сцены с четырех сторон. Такова была идея маэстро: как будто бы боксерский ринг, на котором датского принца с его неудобной совестью будут поливать ламповым огнем, в одиночестве среди толпы. Идея весьма опасная для актеров, которым весь вечер предстояло играть не только лицом, но и спиной. Не было больше теплого *зада*, спрятаться некуда, жизнь на помосте напряглась почти как всамделишная. Тотальный театр. А для зрителей получился зал на тысячу человек. Уникальное место для освежающих режиссерских решений в миллионном Мюнхене. В двенадцатимиллионной Москве подобного места не нашлось, поэтому играли на сцене пятиконечного Театра Армии и публику прямо здесь же вокруг рассадили. Благо, сцена не малая – Сталину бредило, чтобы по ней танки гуляли и конница неслась. А занавес закрыли со-

всем, в зрительном зале оставалось темно. Русская критика в такой расстановке сил ничего не увидела. Бывает...

Немцы Миронова запомнили и полюбили, хотя говорил он с ними по-русски. В одном интервью его спросили:

– Евгений, вы хорошо играете на саксофоне, вы музыкант?

– Я?! Нет, конечно, Штайн хотел такого, совсем сегодняшнего Гамлета, подарил мне инструмент, и я выучился. Я тоже хотел сделать ему подарок.

– Вы разговариваете со Штайном на немецком, английском или русском языке?

– Нам не о чем разговаривать, мы понимаем без... мы смотрим друг на друга.

– У вас есть жена, дети?

– Зачем? У Гамлета ведь не было...

Три вечера подряд публика сидела плечом к плечу от земли до перекрытий. Сколько было в зале русских зрителей? Две сотые процента.

Сегодня универсальный куб Reithalle наполовину принадлежит Сергею Макряшину, московскому светодизайнеру, загадочному человеку из старинного разряда российских театральных *делателей*. Это вовсе не значит, что он может сложить свою половину и увезти. Он как раз наоборот, изобретает другое – новый алгоритм гастролей, потому что хочет привозить и показывать мюнхенской публике один российский театр за другим. Алгоритм он изобретет, я уверена, вопрос только, с чем их показывать, ведь эффект уже известен: если на сцене дядя Ваня, то в зале три сестры. Если в зале три сестры – на сцене дядя Ваня. А когда зрителям скучно, не пойдут, никаким макаром не загонишь их в зал – плачь, не плачь – плакали денежки. Бывало и здесь, пробовали по бокалу шипучего выдавать – не идут, и все тут... Так что, Макряшин тоже усиленно ищет актуальный оригинальный современный, но все еще неуловимый русский театр.

И не случайно ему принадлежит это право: Сергей вырос на скатанных в рулоны кулисах МХАТа, а начиная с той первой Орестей, каждый новый совместный проект с Петером Штайном проходит через его руки. За годы работы вместе с европейцами он кое-что крепко понял. И с этим спокойным пониманием, без фонтанов стекляруса и прочей дрызготни, как оказалось, можно многое делать. Конечно, если не лезть на тепленькую сытенькую государственную службу, на которой интриги портят характер и прожигают дыры во времени. А если без этого, то удастся куда больше. Например, без крупных кровопролитий проводить Русские сезоны в Мюнхене или *боевые перестроения* для Всемирной театральной Олимпиады, а также для Московского международного Чеховского фестиваля, где он давно уже технический руководитель. И еще, мне известна одна макряшинская

хитрость: ему многое удается с улыбкой и без инфаркта, потому что иногда, втихоря, он пользуется нашим безотказным русским клеем: *авось*. Ну, и конечно, умеет дружить, а значит *пощекотать крылом нос*, простить и начинать сначала. Это очень русская вещь...

Последняя затея Макряшина для Штайна – чеховская Чайка, над которой одновременно трудились уже группы граждан из России, Латвии, Австрии, Германии, Италии, а также Королевства Великобритания с островами. Если бы ни Сергей, поехал бы маэстро в Шотландию и поставил бы там спокойно свой пятый чеховский спектакль. Не тут-то было с нашим энтузиазмом. Как Макряшину на чистом русском языке все это удалось соединять, я не понимаю, не обошлось, наверно, без клея *авось*. Но ведь соединилось. Антикварные мебели с самоварами плыли пароходом с материка на острова и обратно на материк, суперсовременный электронный мультифасетный экран величиной с дом, которого Штайну непременно захотелось на сцене, продавали и покупали с помощью промышленников и правительств, это и ясно – откуда у артистов такие суммы, они своим талантом едва себе на бантики зарабатывают.

Зарабатывают плохо, но горящим взором передвигают горы. Очень интересно было увидеть и сравнить два актерских класса – наш и британский, причем – оба как бы родом из школы Станиславского, в которой по-классику, надо повернуть *от реализма внешнего к внутреннему реализму ...уходить от натуралистических крайностей... бороться против ложного пафоса, декламации, и против актерского наигрыша, и против дурных условностей постановки, декораций, и против премьерства, которое портит ансамбль... Сегодня ты – Гамлет, завтра – статист, но и в качестве статиста ты должен быть артистом*. Сравнить хотелось английских технопрофи, которые все про себя знают и наших, которые все больше *животом* живут, и во всем часами сомневаются. А может сомневаются потому, что Антон Павлович это такой очень наш человек, сам полный недоверия и рефлексии? В результате с англичанами у Штайна получилась трагикомедия – как Чехов и просил – английская публика от души хохотала. А с нашими, ну что сказать, комедии не вышло... опять некий *драмсон с надрывом*. Английскую версию ставили для фестиваля в Эдинбурге, кончился фестиваль, и она умерла навсегда, собрав горячую прессу. Русскую делали для Риги, там она поселилась и проживет, может быть, сто лет, кто ее знает, хотя пресса едва тепленькая. Это тоже очень типично, хотя объяснению не поддается. А солисты, которых Штайн отобрал для своей русской сборной, обжили ночной поезд Москва-Рига и ездят на спектакли так, будто и нет в середине никакой государственной границы.

Первое знакомство для всех участников гигантского проекта Макряшин организовал на усадьбе Чехова в Мелихове под Москвой. И люди прилетели на три дня – из пол Европы, между прочим. Послед-

ним прикатил народный артист *Олег Табаков*, заобнимал друга Петрушу, и голосом *кота Матроскина из Простоквашина* рассказал нам, как надо жить. Даже переводить не все следовало, набежавший народ, включая голливудских кинозвезд, был в восторге. Стоял май, днем висело жаркое солнце, ночью – прожектор луны, артисты бродили как заколдованные над прудом и дышали, дышали травами. Репетировали, опять бродили и дышали. В деревянной избенке школы, построенной доктором Чеховым для деревенских детей, норовили втиснуться в узкие парты и обязательно обмакнуть перо в засохшие навсегда чернила. Обнаружилось, что Антон Павлович был не только доктор в деревне, но прекрасно говорил по-немецки и кушал кашу с саксонского фарфора в синий цветочек. Вечерами артисты в столовой *зоны отдыха*, обнявшись, пили горькую и пели Биттлз. В это время по российскому телеканалу показывали, как раз ко Дню Победы, американско-японский фильм про немецкого разведчика, русского шпиона Рихарда Зорге. Прибежала кастелянша из каптерки и стала звать главного героя на себя же в телевизор и посмотреть. Но знаменитый артист из Лондона был так уже *хорош* в обнимку со своей гитарой, что встать со стула не решился, только рукой махнул. Этим англичане от наших не отличались.

Макряшин не отрывал мобильника от уха, отвечал за всех сразу, но найти его в толпе порою трудно – роста среднего, глаза голубые, улыбка обыкновенная, Мерседеса не имеет, охраны не наблюдается. В чем держится мощь небольшого металлургического комбината – неясно. Зачем он все это придумывает, чтобы потом самому же разрываться на куски, добывать деньги и связывать голыми руками провода под напряжением – непонятно. Но сам он считает, что мужчине от природы дано чувство ритма, ему надо только позволить... И еще – *не выходить из тени большого общего крыла*. И это тоже русский театр. Театр, а что же еще...

* * *

Мы продолжим наши полеты, если вас не укачало. В объединяющейся Европе, как и в развалившемся Союзе, есть еще столько театральных мест, где можно легко приземлиться, поджав крыло...

Мюнхен, 2006

Haide Müller: Thema und Variationen

Bilder von H.D. Müller leben nicht nur nach dem Gesetz der Perspektive. Die Landschaft überwältigt den Maler – er erhebt sich gleichsam wie ein Vogel über sie, um sie von verschiedenen Ansichten aus zu erfassen.

Als Betrachter scheinen uns im den ersten Augenblick müßige, leichtsinnig spielerische Farben zu belustigen.

In Wirklichkeit wird eine gefühlsbetonte, gleichsam slawische Schwermet in allen Bereichen auf eine strenge Askese eingeschworen.

Die Fotografie muss fixieren und festlegen, ist aber nicht müde zu sterben in einem melancholischen Impromptu.

Schwer zu erklärende Eruptionen von schreienden Untergangsstimmungen – gefolgt von zärtlich pulsierenden Nebelschwaden.

Eigentlich konnte er in seiner Stube seine Landschaft, sein Konzentrat von Landschaft malen. Als Reisender sehe ich immer die gleiche begrenzte Landschaft; in seinen Bildern eröffnet sich plötzlich eine neue lichte Welt.

Die Gedanken schweifen in un-

Хаде Мюллер: Тема и вариации

Картины Хаде Мюллера живут не по законам перспективы.

Художник с удивлением вглядывается в земные ландшафты с высоты птичьего полёта.

Праздные, легкомысленные эскапады маскарадных красок словно бы только и делают, что потешают наугад случайные взгляды.

В действительности же деле почти что славянские сумасбродства рядятся в аскетичную одежду живописных деталей.

Фотография не устаёт умирать в меланхолических экспромтах.

Труднообъяснимым вспышкам закатной ярости вторят невольно нежные пульсирующие туманы.

Путешествуя по спрессованным, словно отжатым ландшафтам, можно в принципе оставаться убеждённым домоседом.

Ведь по сути, это один и тот же тесный пейзаж. В нём разрежённый воздух иного мира.

Блуждая где-то на необъяснимой высоте, взор художник, тем не менее, неотвратно привязан к земным реалиям, домам, деревьям, долинам...

Он то приближается к ним, то взмывает снова вверх – там для него привычный огляд и блаженная пустота.

Высота – это его убежище, ис-

erklärliche Höhen, der sehende Blick geht auf Relikte der Natur ein. Diesen Relikten nähert er sich mehr und mehr, aber dann fliegt er wieder nach oben, dort ist sein Horizont, seine erfüllte Leere, sein Asyl.

Details sind nicht in logischer Reihenfolge aufgeführt – schwebend mystisch zwischen Hügeln. Sie bewegen tückisch eine phosphoreszierende Luft.

Landschaft als Metamorphose – Farbe als Geschmack verführt, wärmt oder lässt leicht frösteln. Das gleiche Motiv schwillt an, blüht auf, zerplatzt – und es bleibt nur eine matte Nebelspur.

Seine Landschaften sind eine Fuge auf eine Thema: in Analogie dazu wie man Stimmen hört, sieht man den Kontrapunkt verschiedener Melodien auf der Erde Gesicht.

Sind das wirklich Wege?

Schneidende Wege ziehen sich durch das Bild, kein Chaos, selbst wenn ein Wind die Wege verweht und sie ins Unkraut tragen möchte: die Wege bleiben das Fundament.

Alles fließt. Diese Illusion setzt uns so stark in Bewegung, dass wir vergessen, wie wir in die Alltäglichkeit zurückgeholt werden.

Simon Gourari

August 1992, Civitella Marittima

тинное жилище художника.

Подробности не расположены, а как бы подвешены среди мистических, неповоротливых холмов. Они лукаво фосфоресцируют в постоянно меняющемся воздухе.

Ландшафты Хаде Мюллера подвержены метаморфозам, пробуют краски на вкус, причмокивают, поёживаются, заманивают...

Один и тот же мотив высвечивается, набухает, лопается. А потом и вовсе лишь матово-туманный след остаётся.

Его пейзажи – это фуги на одну и ту же тему. Их нужно не столько видеть, сколько слышать и следовать за сумасшедшим противосложением то ли голосов, то ли морщинистых дорог времени на лице земли.

Впрочем, дороги ли это?

В прорезающих ландшафты линиях нет хаоса, даже если они волею замысла сметены, завихрены в центр композиции. Или унесены ветром в невидимые нам заросли.

Словом, они держат как каркас весь ландшафт, эти линии-дороги, придающие воздуху предательскую текучесть. Иллюзия текучести порою так сильна, что, кажется, через мгновение, другое, влажный ландшафт растает, исчезнет навсегда, вернув нас к тоскливой повседневности.

Семён Гурапий

Август 1992, Civitella Marittima



„AHRENSHOOP“ Darß 1998



„VITORCHIANO“ Toscana 1995



„VON GEHEN IN EIS“ Toscana 1995



„HIDDENSEE“ 2000



„SPUREN IN SCHNEE“ Toscana 1994



„DER GROSSE STEIN“ Toscana 1995

Die vierte Dimension des Oleg Drobitko

Der Künstler mit dem schöpferischen Imperativ in der Seele wählt selbst die Zeit aus, um unter seinem Himmel "jegliches Ding" zu schaffen. In Japan, sagt man, gäbe es die Tradition, dass die Künstler – Philosophen dreimal im Leben ihren Namen ändern, um durch das neue "ich" sich selbst und die Welt besser zu erkennen. Es versteht sich aber von selbst, wie oft nun der Künstler seinen Namen auch ändern möge, wie auch immer sein neues "ich" lauten möge, immer wird es das "ich" desselben Künstlers sein, mit der von ihm erlittenen Lebenserfahrung, mit dem ihm von Gott gegebenen Talent und mit der durch große Werke erworbenen Meisterschaft.

Und hier haben wir ein Paradoxon, der Künstler kann nur er selbst bleiben, indem er sich ständig ... ändert. Denn nur, indem er sich ständig ändert und diese Änderungen jedes Mal mit den unveränderlicheren und hohen Konstanten des Seins verbindet, behauptet sich der Meister sowohl im Leben als auch in der Kunst als Meister.

Und so sehen wir heute denselben und einen anderen Oleg Drobitko!

Mit biblischer Konzentration und dem feinen Gespür für Zeit hat der

Четвертое измерение Олега Дробитко

Художник с созидательным императивом в душе сам выбирает время для того, чтобы сотворить под своим небом "всякую вещь", Говорят, дабы лучше познать себя и мир через новое "я", японские художники-философы, согласно традиции, трижды в жизни меняют имя. Разумеется, сколько бы ни менял свое имя художник, как бы не озвучивалось его новое "я" – это все равно будет "я" того же самого, прежнего художника с его выстраданным жизненным опытом, богом данным талантом, и наработанным великими трудами мастерством.

Однако вот парадокс, оставаться самим собой, художник может лишь постоянно... меняясь. Ибо только меняясь и каждый раз сопригая свои изменения с неизменными высокими константами бытия, Мастер и утверждается в жизни и в искусстве как Мастер.

И вот сегодня тот же, но другой Олег Дробитко!

С библейской преданностью и с чутким ощущением времени собирал художник нужные ему камни, чтобы с помощью этого строительного, или вернее, изо-

Кünstler die Steine gesammelt, die er braucht, um mit diesem Baumaterial oder, genauer, diesem Darstellungsmaterial mit der Präzision eines Juweliers und in sicherer Gelassenheit die Handlung auf der Bühne seines "Theaters der Steine" zu erstellen.

Die einfachen Ziegelsteinchen jenes Universums, in dessen Raum der Baumeister Oleg Drobitchko seine außergewöhnliche architektonische Tätigkeit entfaltete, sind natürlich nur Metaphern, sind bildhafte Be dingtheit, und das versteht man auf den ersten Blick. Aber eben darum sind die eine verzaubernde paradoxe Rätselhaftigkeit ausstrahlenden Kunstwerke des Oleg Drobitchko eine allzu komplizierte Materie, als dass der Betrachter sich aus dieser Materie nach dem ersten Blick rasch etwas "zuschneiden" und anprobieren könnte. Die leicht lesbaren literarischen Inversionen und Paradoxa, auf denen gewöhnlich der Meister seine herrlichen Kompositionen voll innerer Dynamik und sanfter ironischer Lyrik mit glänzender — der Meisterschaft aufbaut, sie sind nur der Ausfluss der künstlerischen Elementarkraft des Oleg Drobitchko. Die Elementarkraft seiner epischen Kompositionen selbst ist weit stärker und liegt noch tiefer. Und um das Wesen des von Oleg Drobitchko herrlichen intellektuellen und künstlerischen "Spiels mit den Steinen" zu verstehen, müssen die Mitspieler all ihre geistigen und emotionalen Ressourcen einsetzen, denn das Spiel ist nicht einfach.

Dass die Malerei des Oleg Drobitchko skulpturartig sei und seine Skulpturen malerisch seien, ist schon vor langer Zeit und nicht nur einmal ge-

бразительного материала с ювелирной тщательностью и уверенным спокойствием выстроить действо на сцене своего "Театра камня".

Простенькие кирпичики того мироздания, в пространстве которого развернул свою необычную архитектурную деятельность зодчий Олег Дробитко, разумеется, всего лишь метафора, образная условность, и это понимаешь с первого взгляда. Но то-то и оно, что излучающие завораживающую, парадоксальную загадочность художественные сочинения Олега Дробитко слишком сложная материя, чтобы с первого взгляда зритель мог что-то из этой материи быстренько "скроить" и тут же на себя примерить.

Легко читаемые литературные инверсии и парадоксы, на которых маэстро с блестящим мастерством строит прекрасные, полные внутренней динамики и мягкой ироничной лирики композиции, — они всего лишь родниковые истоки художественной стихии Олега Дробитко. Сама стихия его эпических композиций куда как глубже и шире. И чтобы понять суть затеянной Олегом Дробитко великолепной интеллектуальной и художественной "игры в камешки", ее участники должны задействовать весь свой духовный и эмоциональный ресурс, ибо игра не из простых.

То, что живопись Олега Дробитко скульптурна, а скульптура живописна, сказано уже давно и не однажды. То, что символическая

sagt worden.

Dass die symbolische steinerne Materie, aus der die Kompositionen des Oleg Drobotko hervorgewachsen, in ihrer physischen, natürlichen Realität absolut nicht steinern ist, sondern dass sie der Künstler aus Holz, Metall, Textilien, Farb-Fakturklumpen und aus Strichen ausgeführt hat, was die Illusion einer Materie aus hartem Stein vermittelt und diese imitiert, stellt auch kein so schwerwiegendes konzeptuelles Paradoxon dar. Es ist schon vorgekommen, dass der glänzende Meister der Faktur, Oleg Drobotko, auch schon einmal nichts Derartiges vor die verwunderten Augen des Publikums hingestellt hat...

Nun gut, drücken wir es vielleicht so aus: Hier der Stein, ein Symbol des Dreidimensionalen, und alles, was man mit seiner Hilfe erbaut, ist ebenfalls dreidimensional, und kraft der durch den Künstler gewählten Symbolik ist alles in seiner Welt voluminös, räumlich, vieldeutig etc., etc.?... Nun wird es schon wärmer, ist aber noch nicht heiß genug und in Bezug auf das Ziel für Oleg Drobotko eben noch nicht voluminös genug, denn dem Künstler ist es zu eng in drei Dimensionen! Wenn Oleg Drobotko das Bild der Dreidimensionalität und den Begriff der drei Dimensionen gebraucht, dann nur, um diesen seine Dimension, die vierte, gegenüberzustellen. Und das von Oleg Drobotko begonnene "Spiel mit den Steinen" ist nun gerade der Logik dieser vierten Dimension unterworfen.

Worin aber bestehen Wesen und Maß? Worin bestehen die sakrale Zauberkraft und das metaphysisch

каменная материя, из которой произрастают композиции Олега Дробитко, вовсе не каменная в своей физической, безусловной реальности, а воспроизведена художником в дереве, металле, текстиле, фактурных сгустках краски, иллюзорных штрихах, лишь внешне имитирующих твердость каменной материи — тоже не представляется таким уж серьезным, концептуальным парадоксом. Блистательный мастер фактуры, Олег Дробитко, случалось, уже представлял пред изумленные очи публики и не такое...

Ну, хорошо, тогда может быть, так: — вот камень, символ трехмерности, все, что из него сложено, тоже трехмерно, и, в силу этой избранной художником символики все в его мире объемно, пространственно, многозначно и т.д. и т.п.?.. Что ж, это уже теплее, но все же недостаточно горячо, и по мысли недостаточно объемно для Олега Дробитко, ибо в трех измерениях художнику тесно! Образ трехмерности, понятие трех измерений если и понадобилось Олегу Дробитко, то разве лишь для того, чтобы противопоставить им свое, четвертое. И "игра в камешки", затеянная Олегом Дробитко, подчиняется как раз логике этого четвертого измерения.

В чем же суть и мера? В чем сакральное волшебство и метафизическая таинственность игры Олега Дробитко, Чем околдовывают каменные облака и камнелистые деревья с невесомо распо-

Geheimnisvolle des Spiels des Oleg Drobitko? Wodurch bezaubern uns die steinernen Wolken und die Bäume mit den steinernen Blättern und den in ihren Zweigen sitzenden gewichtlosen steinernen Vögeln, deren Gesang ein marmorwolkiges Bild suggeriert, aufgelöst im Kolorit allgemeiner frühlingshafter Durchgeistigung?

Warum ruft der seltsame steinerne Herbst, in dessen Raum, zwischen den verwundenen Zweigen (aus Eisenbeton?) zwei geheimnisvolle Figuren versunken sind, verbunden durch die Gemeinsamkeit zwischen herbstlichem Zustand und Sein, eine so tiefe philosophische Trauer hervor? ... Mit welcher unbegreiflicher Gestalt ruft uns das rätselhafte menschliche Antlitz, rhythmisch akkurat mit Ziegeln gelegt, dennoch zum Umgang tête-à-tête?... Kraft welcher Natur beginnt die Skulptur der mit juwelierhafter Präzision aus den gleichen Ziegeln gemachten Geige – Flöte von der Berührung durch unseren Blick wie von den Berührungen eines Bogens zu klingen?...

Und so ist es bei jeder Komposition des Zyklus, Malerei oder Skulptur. Die von Oleg Drobitko gesammelten Steine atmen das Leben der lebendigen Natur, die Ziegel der Welt werden zu den Blumen der Welt. Und es macht keinen Unterschied, welche Materie es ist, Ziegel oder äolische Harfe, es kommt ein herrlicher Ton hervor, wenn dieser Ton am Anfang von der inneren Stimme des Meisters selbst geschaffen wurde; und der wahre Quell dieses Tons ist der Geist des Künstlers. Und dennoch, weshalb dünkt uns denn der Stein anstelle des blühenden Baums, der fliegenden Wolken, der

ложившимися на их ветвях каменными птицами, пению которых внимает мраморно-облачный образ, растворяющийся в колорите всеобщей весенней одухотворенности?.. Почему такую глубокую философскую печаль навеивает странная каменная осень, в пространство которой, меж скрученных (из железобетона?) ветвей, погружены, связанные общностью осеннего состояния и бытия, две таинственные фигуры?.. Каким непостижимым образом загадочный человеческий лик, ритмично сложенный аккуратными кирпичиками, все же вызывает нас на доверительное общение тет-а-тет?.. В силу какой природы скульптурная скрипка-флейта, выделанная с ювелирной точностью из таких же кирпичей, начинается, как от прикосновения смычка, звучать от прикосновения к ней нашего взгляда?..

И так с каждой живописной или скульптурной композицией цикла. Камни, собранные Олегом Дробитко, дышат вдохновенной жизнью живой природы, кирпичи мироздания преобразуются в цветы мироздания. И нет разницы, из какой материи, из кирпича или олововой арфы, проистекает прекрасный музыкальный звук, если звук этот был изначально воспронизведен внутренним голосом самого мастера, и подлинным источником этого звука является душа художника.

И все же, почему вместо цветущего дерева, летучих облаков, поющих птиц, живой человече-

singenden Vögel, des lebendigen menschlichen Fleisches diesem allem unverhohlen widersprüchlich zu sein? Wie sind die seltsamen stofflichen und philosophischen Grenzüberschreitungen des Oleg Drobitko zu verstehen, womit ist sein künstlerischer Ausbruch zu erklären, den Geist der Dinge und Erscheinungen durch ganz und gar nicht entsprechende, diesem Geist widersprechende Bilder und sogar durch andere Stoffe zu materialisieren?

Das schöpferische Rätsel des Oleg Drobitko ist, dass seine vierte Dimension, seine künstlerische Philosophie, eben auf dem Begriff des Paradoxons, auf der Logik der Einheit der Nichtübereinstimmungen beruht. Die Arbeiten des Oleg Drobitko sind juwelierhaft monumental, episch gegenwärtig, schweisgsam klangvoll, materiell beseelt. Die schöpferischen Methoden dieses großen, scharfdenkenden Meisters beruhen darauf, den künstlerischen Raum als einheitliches Medium der Koexistenz von Materie und Geist zu verstehen. Alles ist Leben. Und im neuen Kompositionszyklus verkörpert das Bild des Steins absolut nicht Statik, sondern die Dynamik des Bauprozesses, d.h., des schöpferischen Prozesses, ja, mehr als das, die Dialektik dieses Prozesses. Das metaphysisch Geheimnisvolle des Geistigen materialisiert sich bei Oleg Drobitko künstlerisch durch die Dialektik der Erkenntnis der vollkommen stofflichen Welt durch ihn. Der Welt der gewöhnlichen Dinge, der Menschen, der Erscheinungen. Und gleichsam von selbst, aus den von Oleg Drobitko gesammelten Steinen, wie aus den Eisschollen der Schneekönigin, bildet sich die para-

ской плоти, наконец, нам явлен анатомичный всему этому миру камень? Как понять странные вещественные и философские трансгрессии Олега Дробитко, чем объясняется его художнический порыв материализовать дух вещей и явлений через резко не соответствующие, антиномичные этому духу образы, и даже плоть других веществ?

Творческая загадка Олега Дробитко заключается в том, что его четвертое измерение, его художническая философия основана как раз на понятии Парадокса, на логике единства несоответствий. Сочинения Олега Дробитко ювелирно монументальны, эпически сиюминутны, молчаливо звучны, материально духовны. Творческий метод этого крупно, остро мыслящего мастера основывается на понимании художественного пространства как единой среды сосуществования материи и духа. Все есть жизнь. И в новом цикле композиций образ камня олицетворяет вовсе не статику, а динамику строительного, то есть созидательного процесса, более того, диалектику этого процесса. Метафизическая таинственность духовного художественно материализуется у Олега Дробитко через диалектику познания им вполне материального мира. Мира обычных вещей, людей, явлений. И, словно само собой, из камней, собранных Олегом Дробитко, как из льдинок Снежной Королевы, складывается парадоксальное смысловое словосочетание – ме-

doxe semantische Wortverbindung, die metaphysische Dialektik, heraus. Es klingt absurd, etwa wie "rundes Quadrat". Aber darin bestehen Wesen und Form des nächsten philosophischen und schöpferischen Paradoxons, das uns der Künstler vorlegt, die vierte Dimension seines Werks. Der Künstler liebt es, in seinen Kompositionen Bogen zu komponieren.

Der letzte, der "rechtwinkliger" Schlussstein, der von den Bauarbeitern feierlich in den zu errichtenden Bogen gesetzt wird, ist das Pfand für seine Unzerstörbarkeit und für seine luftige, schwebende Festigkeit. Dieser symbolische, äußerlich von den anderen nicht zu unterscheidende Stein ist der wichtigste. Dank ihm schwebt der schwere steinerne Bogen widernatürlich im Raum, fliegt gewichtslos über die Erde. Das Geheimnis dieses und diesem ähnlicher Steine kennt nur der, der es versteht "Steine zu sammeln". Dieses Geheimnis hat Oleg Drobitko erkannt. Selbstverständlich, dieser und die ihm ähnlichen Steine sind nicht mehr als ein Symbol, sie sind nur ein Symbol... Aber das gilt auch für das Buch Prediger.

Arkadij Klenov

тафизическая диалектика. Звучит нелепо, вроде как "круглый квадрат". Но такова суть и форма очередного философского и творческого парадокса, преподнесенного нам художником, таково четвертое измерение его творчества.

Олег Дробитко в свои композиции любит закомпоновывать арки.

Последний, "краеугольный" камень-замок, торжественно укладывается строителями в возводимую ими арку, является залогом ее нерушимости и воздушной, парящей упругости. Он главный, этот символический, внешне неотличимый от других, камень. Это благодаря ему тяжелая каменная арка противоестественно парит в пространстве, невесомо летит над землей. Секрет этого и ему подобных камней знает только тот, кто умеет "собирать камни". Постиг его тайну и Олег Дробитко.

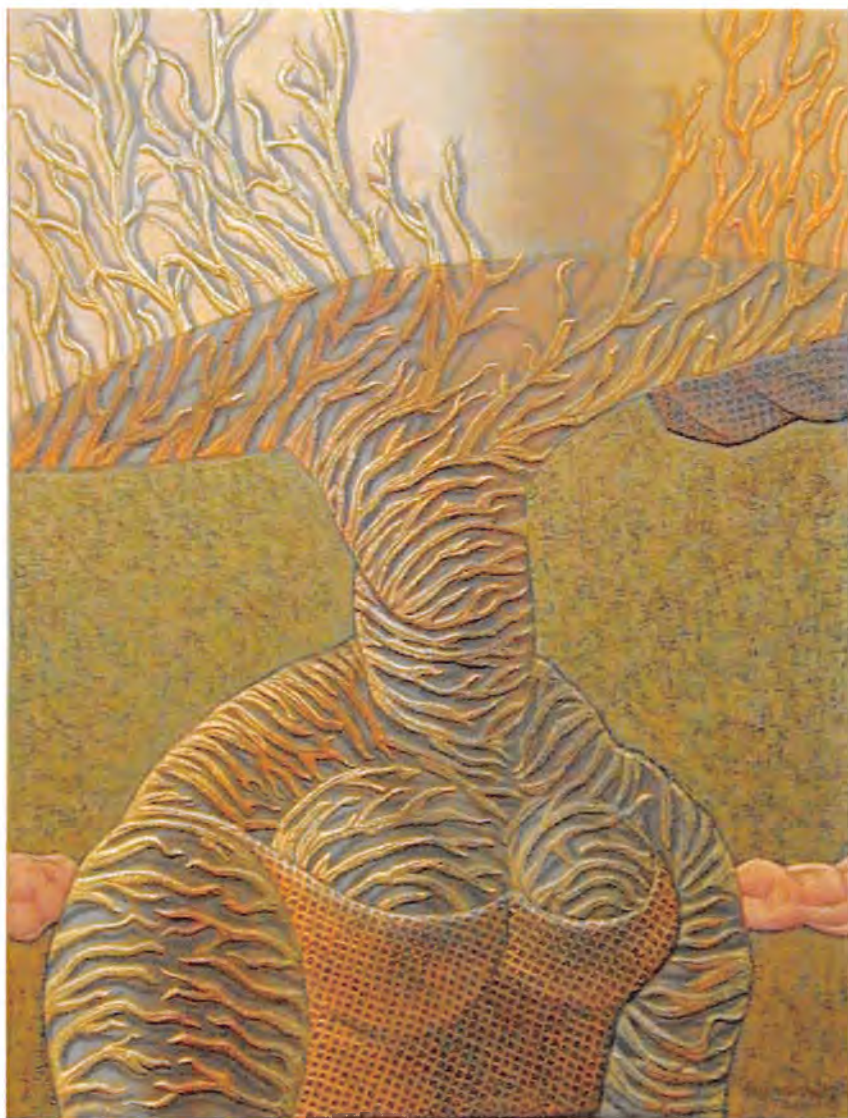
Разумеется, этот и ему подобные камни не более чем символ, всего лишь символ.

Но ведь так и у Экклезиаста.

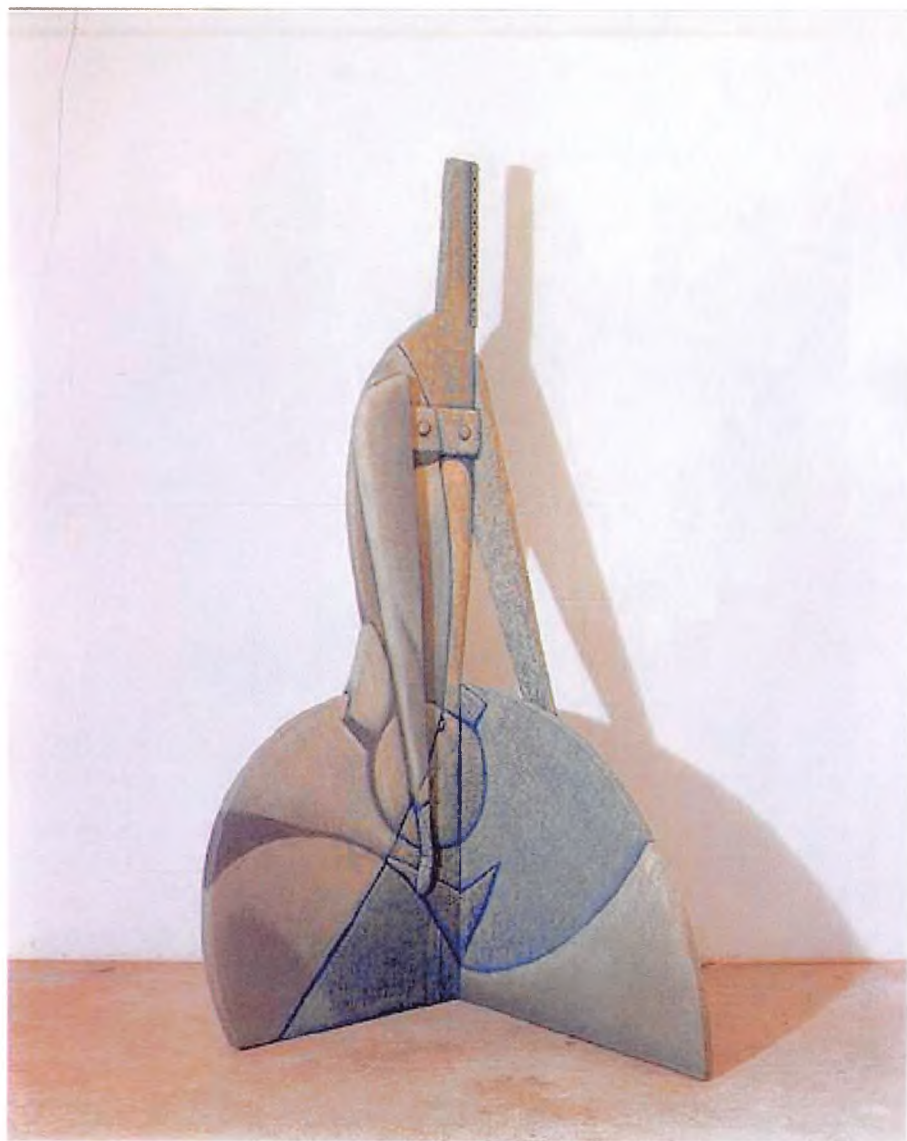
Аркадий Кленов



SELBSTBILDNIS / АВТОПОРТРЕТ



OHNE TITEL / БЕЗ НАЗВАНИЯ



„SIE“ / „OHA“ Holz / Дерево



OHNE TITEL / БЕЗ НАЗВАНИЯ



OHNE TITEL / БЕЗ НАЗВАНИЯ Holz / Дерево



OHNE TITEL / БЕЗ НАЗВАНИЯ

Michail GENIN / Михаил ГЕНИН

UNEWIGE GEDANKEN

НЕВЕЧНЫЕ МЫСЛИ

Deutsch von Peter Ott

Mit dem Schreiben von Aphorismen-
habe ich sehr früh angefangen – meine
Frau und die Kinder schliefen noch.

Wie klein doch die Welt ist! Man stößt
immer nur auf sich selbst.

Eigentlich mag ich es nicht, in den
Spiegel zu schauen, und jahrelang ha-
be ich es auch vermeiden können, aber
neulich blinzelte ich doch ein wenig –
mein Gott! wie alt war er geworden!

Wer will, der kann, und wer nicht
kann, der soll nicht wollen.

Es gibt Menschen, mit denen man al-
les teilen möchte, was sie besitzen.

Geben Sie mir doch bitte meine Ver-
gangenheit zurück – in der hatte ich
eine so helle Zukunft!

Nicht alles ist so schlimm, wie es
scheint. Vieles ist noch viel schlimmer.

Die Bildung geht verloren, doch die
Bildungslücken bleiben uns erhalten.

Warum beeilt sich die Zeit? Um Ewig-
keit zu werden.

Ideen leben, sobald für sie gestorben
wird.

Писать афоризмы я начал очень
рано: жена и дети еще спали.

Мир тесен – постоянно натыка-
ешься на себя.

Не люблю смотреться в зеркало,
годами к нему не подхожу, а тут
как-то глянул – боже, как оно
постарело!

Кто хочет, тот может, а кто не
может, тот и не должен хотеть.

Встречаются люди, с которыми
хотелось бы разделить все, что
они имеют.

Верните мне мое прошлое – в
нем было такое прекрасное бу-
дущее!

Не все так плохо, как кажется:
многое гораздо хуже.

Знания забудутся, пробелы в них
– никогда.

Куда торопится время? Спешит
стать вечностью.

Идеи живут, пока за них умира-
ют.

Mit dem Knebel im Mund spricht es sich schlecht; dafür denkt es sich aber wunderbar!	С кляпом во рту не поговоришь. Зато как думается!
Der Mensch kann alles! Genau das machte mich hellhörig ...	Человек все может! Вот это меня и настораживает...
Stillschweigen des Volkes = Gold des Tyrannen.	Молчание народа – золото тирана.
Für die im Paradies Lebenden – ist die Hölle reine Exotik.	Для живущих в раю ад – это экзотика.
Der Duft von Freiheit wirkt auf Sklaven erstickend.	Воздух свободы вызывает у рабов удушье.
Bei der Leibesvisitation wurde nichts Kompromittierendes gefunden außer der Intelligenz.	При обыске у него не нашли ничего компрометирующего, кроме интеллекта.
Das Geständnis der Schuld mildert das Urteil des Unschuldigen.	Признание вины облегчает участь невиновного.
“Heutzutage erheben die Leute ihren Kopf viel wagemutiger“, gestand der Henker offen, “das Arbeiten mit ihnen ist angenehm einfach geworden!“	“Сегодня люди смелее поднимают голову, – признался палач. – С ними стало просто приятно работать!“
Je wahrhaftiger die Lüge, umso gefährlicher ist sie.	Ложь тем опаснее, чем правдивее.
Der Hungerige ist gutmütig, wenn er satt ist.	Голодный человек добр, когда сыт.
Die Opfer haben kein Alibi: sie können immer auf frischer Tat ertappt werden.	У жертв не бывает алиби: их всегда можно застать на месте преступления.
Die zeitgenössische Justitia: auf den Augen die Binde, in den Ohren die Watte, im Mund den Knebel.	Современная Фемида: на глазах – повязка, в ушах – вата, во рту – кляп.
Man kann die Seele töten, auch ohne ihr eine Existenz zuzugestehen.	Можно убить душу, и не признавая её существования.
Zuletzt ist der einzige Vorteil des Sklaven – er kann der Freiheit nicht mehr beraubt werden.	Последнее преимущество раба – его нельзя лишить свободы.
... Selbst die Unsterblichkeit dauert nicht ewig.	... И бессмертие не вечно.
Die Größten unter uns pflegen selten am Leben zu sein.	Великие редко бывают живыми.

Da sicherste Merkmal des echten Poeten ist das Staunen über eine Welt, die durch seine eigene Phantasie erschaffen wurde. Nicht der ist Schriftsteller, der schreibt, sondern der, der auch gelesen wird. Ob ein Mensch gelebt hat oder nicht, kann man erst nach seinem Tod sagen. Mancher scheint zur Intelligenz zu gehören, ist aber gar nicht so übel. Wie kann einer nur so viele Fehler alleine machen?! Sie sind bestimmt ein eifriger Arbeiter! Wie selten der Mensch doch die Hauptrolle im eigenen Leben spielt! “Machen Sie doch Licht“, schrie der Zuschauer. Mir wird hier ganz angst und bange so allein!“ Hätte der Bildhauer rechtzeitig alles Überflüssige abgeschlagen, bliebe von dem Denkmal nur der Sockel übrig. Alles Geniale ist einfach, sagte die Amöbe schon immer. Auf den Homo sapiens blickend sinniert der Affe: “Es gibt wirklich keine Grenzen für meine Vervollkommnung!“ “Du bist mein Sternchen“, hauchte er. “Du auch“, seufzte sie... Mein Gott, wie weit waren die beiden von einander entfernt! Eunuch zu sein, ist keine Anstellung. Das ist Schicksal. Was haben wir alles noch nicht gemacht! Und was steht uns noch bevor, nicht zu machen! Gäbe es keine Dunkelheit, dann wäre die Lichtgeschwindigkeit gleich Null.	Первый признак истинного поэта – это удивление перед миром, созданным его собственным воображением. Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают. Понять, жил человек или нет, возможно только после его смерти. Иной только кажется интеллигентным, а на самом деле очень неплохой человек. Совершить одному столько ошибок! Да вы, батенька, великий труженик! Как редко человек играет главную роль в собственной жизни! – Зажгите свет в зале! – закричал зритель. – Мне страшно одному! Отсеки скульптор вовремя все лишнее, от памятника остался бы один пьедестал. Все гениальное – просто, говаривала амеба. Глядя на человека, обезьяна думала: ”Нет предела моему совершенству!“ – Ты – моя звезда! – воскликнул Он. – А ты – моя! – откликнулась Она. Боже, как же они были далеки друг от друга! Евнух – это не должность, это судьба. Как много мы еще не сделали! А сколько нам еще предстоит не сделать!.. Не будь тьмы, скорость света равнялась бы нулю.
---	--

Die Stille... Welch ein wunderbares Echo erregt sie!	Тишина... Какое изумительное эхо она вызывает!
Was ist euch lieber – die eigene Meinung oder alles Übrige?	Что лучше иметь – собственное мнение или все остальное?
Trotz der Unsichtbarkeit der Gehirnwindungen ist es sehr auffallend, wenn sie nicht vorhanden sind.	Хоть извилин и не видно, но когда их нет – это очень заметно.
Wie schön sind doch die vielen Dinge, die den Menschen jetzt umgeben! Und mit jedem Tag bedrängender und bedrängender...	Как много прекрасных вещей окружает теперь человека! И с каждым днем все плотнее, плотнее...
Ist das nicht schlimm, wenn die ganze Welt besser lebt als du? Dann kannst du mit niemandem Mitleid empfinden.	Плохо, когда весь мир живет лучше тебя: абсолютно некому посочувствовать.
Letztendlich sollte ich beide Augen vor meinen Charakterschwächen zudrücken. Ich habe es satt, mich an ihrem Anblick zu weiden.	Волей-неволей приходится закрывать глаза на свои недостатки: надоело ими любоваться.
Das Gewissen quält mich schon lange nicht mehr. Offenbar hat es Mitleid.	Совесть меня давно уж не мучает. Видно, жалеет.
Was für ein ausgezeichnete Nekrolog! Könnte man doch damit leben, leben...	Замечательный некролог! С таким бы жить и жить...
Hast du deinen Platz im Leben gefunden, dann warte, bis er frei wird.	Нашёл место в жизни – жди, пока оно освободится.
Wenn niemand dich beneidet, dann frage dich, ob du richtig lebst.	Если тебе никто не завидует, спроси себя, правильно ли ты живешь?
Denk lieber nach, bevor du den Mund aufmachst, und nur dann schweig.	Прежде, чем что-то сказать, сначала подумай, а потом уж молчи.
Lache über einen Witz so lange, bis du seinen Sinn verstanden hast.	Смейся над шуткой до тех пор, пока не поймёшь её смысла.
Pass auf dich auf! Kann sein, ich brauch dich noch.	Береги себя – вдруг ты мне понадобишься?
Alles, was du brüderlich teilst – gehört auch dir, den Rest nehmen sie schon selber.	Что отдал людям – твое, что оставил себе – они возьмут сами.

Lass dich nicht von schlechten Menschen betrügen! Es gibt doch so viele gute ...

Entspricht dein Aussehen nicht deiner Gesinnung, dann wechsle sie.

Lesen Sie doch Bücher! Einige von ihnen wurden speziell dafür geschrieben.

Haben Sie keine Angst vor dem Lebensabend! Er geht auch vorbei.

Stößt du auf keine Schwierigkeiten mehr? Dann bist du bestimmt auf dem falschen Weg.

Nichts hilft so gut die Einsamkeit zu überleben wie der Neid.

Kleine Erfolge ärgern richtige Freunde nie.

Die Natur kennt keine Lücken. Deshalb wird die Stelle, die ein Hanswurst frei macht, sofort von einem anderen besetzt.

Die eigenen Charakterschwächen sind leichter zu überwinden, wenn man gegen sie genauso gut angeht wie gegen die Vorzüge der anderen.

Fällt deine Bescheidenheit niemanden auf, dann ist etwas faul an ihr.

Ein weher Zahn, bei lauter Musik gezogen, lässt den Arzt keinen Schmerz empfinden.

Wenn man sonst schon keine anderen Vorzüge hat, so scheint die Bescheidenheit auch nicht mehr so wichtig.

Не позволяй плохим людям обманывать тебя! Вокруг столько хороших...

Если твои убеждения не соответствуют твоей внешности, измени их.

Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны.

Не бойтесь старости – она пройдет.

Если ты перестал встречать трудности, значит ты сбился с пути.

Ничто так не помогает пережить одиночество, как зависть.

Маленькие успехи никогда не огорчат настоящих друзей.

Природа не терпит пустоты – вот почему место, освобожденное одним дураком, тут же занимает другой.

Собственные недостатки легче победить, если бороться с ними, как с чужими достоинствами.

Если твоя скромность не бросается в глаза, значит с ней что-то не так.

Если больной зуб удалять под громкую музыку, врач совсем не почувствует боли.

Когда нет других достоинств, скромность будто бы и ни к чему

ОТЕЦ

Писать об отце трудно, не впадая в пафос и не лукавя. Решето моей памяти слишком крупно: сохранились лишь обрывки, которые так срослись с его собственными историями и с рассказами других людей, что походят на легенды и мифы – как, впрочем, это всегда и происходит с прошлым. А попытаться все это отбросить, так и рассказать будет не о чем. Все начнет сыпаться и просыпаться. В решете останутся разве что чудеса – смутные чувства и тревожные запахи, и постоянно меняющееся лицо, ускользающее по прошедшим годам в неразличимое беспамятство...

Лет в семь я прочитал заходеровское: «никакого нет резона у себя держать бизона, потому что это жвачное грубое и мрачное», и почему-то очень полюбил и стишок, и бизона, которым, разумеется, сразу стал мой отец. «Грубость» была для меня просто знаком силы – я, конечно, не мог не гордиться, наблюдая, как мой отец титанически корчует на даче пни. Веселый, полный надежд и энергии. А мрачность... Проступала ли она уже тогда, или я угадал случайно?

Дача – самое счастливое время и место моей жизни. Трава выше меня, печка буржуйка, керосиновая лампа, вода из далекого колодца. Молодые родители, не боящиеся никаких трудностей. Радостные ожидания отца, приезжающего на попутках из Москвы и идущего от далекой деревни пешком с тяжелым рюкзаком за плечами. Его мучительные боли в пояснице, из года в год, и мама вяжет ему шерстяную телогрейку. А потом он поскользывается на куче бревен и падает, обрушивая кучу на себя, и радикулита как не бывало. А как-то, возвращаясь с дачи, он ловит очередную попутку – цистерну с молоком – и отказывают тормоза, и машина на полном ходу врезается в кучу других стоящих на светофоре машин. Об этом я узнаю лишь через много лет – меня «берегут» и врут, что отец упал с лестницы – как будто это что-то меняет...

Вот наш сад, он весь утыкан "плодово-выгодными" деревьями, и неутомимый «древесный бизон» часами висит на вишневых деревьях, соперничая с дроздами и собирая кислющие ягоды, из которых мама делает чудесное варенье. А вот отец, у которого наконец-то выходной, героически преодолевая непременно наступающую сонливость, вслух читает нам от корки до корки тол-

стенные книги: "Записки пиквикского клуба", "Мертвые души" и "Тихий Дон" для мамы, и еще какие-то, которых я уже не упоминаю. Он читает, и слушать его так уютно!..

Литература была его страстью. «Когда я ем, я глух и нем» — это было не про нас: в те времена за столом всегда что-то читалось вслух или обсуждалось. Другой страстью была музыка. Хотя он был всего лишь барабанщик, он узнавал мгновенно любую симфонию и увлеченно пел вместе с радио, и голос его вплетался в оркестровую ткань и постепенно брал верх, так что далее мы слышали в основном уже только его интерпретацию. Или он приносил карманную партитуру какой-нибудь бетховенской симфонии, ставил пластинку и учил меня следить за вступлениями и смещениями инструментов, успевая при этом напевать, отстукивать ритм и размахивать руками. Собственно, моя сестра и я — мы стали двумя детьми его двух страстей...

А еще было здорово приходить к отцу в цирк. Представления я совершенно не любил, разве только клоунов. Гораздо интереснее была жизнь за кулисами: запахи животных, здоровенная нога слона, запросто разгуливающие и жонглирующие на ходу артисты.

И комната оркестрантов, где отец резался и выигрывал в шахматы, за что получил от друзей в подарок красивые фигурки из матового стекла, которые он передарил мне, поощряя мой интерес к премудростям этой игры. И маленькая, тесная, забитая музыкантами, инструментами и нотными пультами оркестровая площадка, где мне однажды разрешили посидеть и понаблюдать, как мой отец, внимательно следя за ареной, смачно озвучивает каждый удар кирпичом по бедной клоунской голове. И, конечно, излюбленные цирковые истории: кто с кем разругался и разошелся, кто шлепнулся с трапеции, кто какого дрессировщика на сцене задрал. И легенда о том, как какой-то выпивоха все приставал к моему отцу, чтобы заставить его дерябнуть водки — то ли отец спор какой проиграл, то ли просто так. Водку отец не то что не уважал — весь его организм сотрясался от одного запаха сивухи. В те редкие моменты, когда он по необходимости опрокидывал за столом рюмочку, на его лице отражалась такая неповторимая гамма чувств, что жадные до острых бесплатных ощущений гости замирали в неподдельном восторге, и для такого смертельного номера не хватало лишь положенной барабанной дробы. Так вот, в цирке, чтобы покончить с этим занудным приставалой и не растягивать пытку, отец в присутствии очевидцев осушил одним ма-

хом граненый стакан, после чего снискал славу тайного алкоголика...

Как-то собрался отец с цирком на долгие три месяца в Африку. К отъезду готовились тщательней, чем к тюрьме: мама сушила и обжаривала в духовке бесчисленные сухари из черного хлеба, который в тех краях не водился, – лучший подарок всем музыкантам и истосковавшимся по Родине посольским работникам. Провожали, конечно, всей семьей. Сухарей было несколько мешков, и запихали их с трудом в государственный контейнер с барабанами. А потом мы дома, получая письма, следили по карте за его передвижениями где-то там, в совсем нереальном мире.

Потом отец бывал в Африке еще два раза, исколесив кучу городов и стран и основательно подорвав свое здоровье, и каждый раз возвращался с уймой рассказов: про обезьян и слонов, про горы бананов и арбузов, про изматывающую жару и бесконечные цирковые представления, каждый день на новом месте. Про опасные ночные переезды в горах по узкому серпантину и про изможденных музыкантов, вынужденных всю дорогу горланить песни, чтобы водитель не уснул за рулем. Про ужасные гостиничные рестораны и пищу, на приготовление которой лучше было не смотреть. Про ползающих ночью по потолку гадов, похожих на морских звезд, которых разгоняют с помощью швабры, и про змей, плюющих прямо в глаза. Про то, как в гостиницах вылетали пробки, когда наши артисты дружно втыкали в розетки свои кипятильники. И про то, как их, советских граждан, один раз поселили в срочно уплотненном по сему случаю борделе...

Наибольшей популярностью на шумных застольях пользовалась его история про самолет. Поднимаясь по трапу для очередного перелета, отец ни с того ни с сего, неожиданно для самого себя ткнул пальцем в направлении одного из шасси и пошутил в привычной для него манере: «Что-то мне это колесо не нравится!» В самолете просидели целый час, так и не взлетев, потом всех почему-то попросили выйти. Спускаясь по тому же трапу, заметили рабочих, возившихся как раз у того самого колеса. Вспомнили про шутку, и всем стало не по себе. Тут же донесли сопровождавшему группу гэбисту. Потом всю дорогу тот уныло приставал к отцу, пытаясь его «расколоть» на признание, откуда он получил информацию о неисправном шасси. С тех пор все стали слишком серьезно относиться к подобным шуткам моего отца и зачастую суеверно пытались прервать его на полуслове.

Но лучше всего были его рассказы о далеких временах. Он ведь рос без родителей, и его воспитателями были такие же, как он, дети – его товарищи по несчастью, по детскому дому и военно-музыкальной школе. Рассказывая об их судьбах, он всегда удивлялся, до чего ж ясно было уже тогда, что из кого получится. Ворох горьких и смешных воспоминаний остался у него с той поры. Остались и настоящие друзья. Вся его закваска, все его понятия о порядочности и верности слову, его равнодушие к всевозможным "благам" – из того тяжелого и ясного времени. Не подличать, не шкурничать, не искать выгоды, не доносить и не унижаться, держаться вместе и всё делить на всех – простые и естественные принципы на всю жизнь. Они были ему не в тягость, хоть и становились все более несовременными.

Абсурдность армии, в которой концентрировалась абсурдность всей советской системы, сделала из моего отца brave солдата Швейка. Со скромной гордостью показывал он мне лист, куда были занесены все его многочисленные отсидки на «губе». Причина гауптвахты была указана всюду одна и та же: «за пререкание», варьировался только срок. Собственно, он всю жизнь только и делал, что пререкался, неуклонно повышая профессиональный уровень своих проступков.

Из его армейских сценок запомнились две. Хоть он и служил в кавалерийской школе имени Буденного, на лошади так ни разу и не посидел. Как-то раз кому-то в штабе пришло в голову, что воспитанники-музыканты должны порадовать москвичей своей игрой. Их решили усадить на лошадей вместе с инструментами: пусть себе дудят и галопируют одновременно. Мой дальновидный отец, прикинув, какие последствия для неумелого седока влечет за собой удар по барабану под ухом у лошади, наотрез отказался и заявил, что лучше уж пойдет на «губу». Дирижер поразмыслил и предложил выгодную сделку: проводить вместо него политзанятия. Слывший говоруном отец немедленно согласился и так и остался на этом празднике жизни безлошадным зрителем, ничуть об этом не жалея. Даже без удара по барабану эффект вышел внушительный: непривычные к чудовищным звукам животные с испугу покрушили все вокруг, раскидав инструменты и седоков в разные стороны, и только тубист так и остался висеть в стремени головой вниз вместе со своей тубой.

В другой сценке тому же оркестру воспитанников выпала священная миссия – встретить генерала маршем и сопровождать его удалое гарцевание вдоль выстроенных на плацу войск. Была

только одна загвоздка: генерал потребовал, чтобы в те волнующие мгновения, когда конь под красной попоной будет картинно застыть с задранной ногой, оркестр сразу же бросал бы марш и дул из всех сил аккорд "фа-мажор". Для чего – бог его знает. Видать, этот генерал обладал особо тонким и пластическим цвето-музыкальным восприятием мира, наподобие русского композитора Скрябина. Но высокая творческая задача оказалась музыкантам не под силу: духовики чуть не поумирали, когда конь, эта подлая тварь с медным всадником на загривке, внезапно надолго окаменел, решая, когда и где опустит он копыто.

Но чаще всего рассказывал отец про то, как он подговорил двух своих товарищей внести свою лепту в защиту Родины, и они сбежали из воинской части: так сказать, дезертировали в направлении фронта. На станции они уговорили какого-то старшину, везшего коров, взять их с собой. Тот обрадовался дармовым помощникам и пустил их в вагон, казавшийся в темноте пустым. Забрались они на сено, заснули. Среди ночи просыпается отец, а его кто-то лижет! Шершавым таким языком. Отец и говорит: «Валька, меня тут лижут!» Протянул товарищ руку – а это здоровенный бычара оказался, племенной производитель. Забились они в угол от страха и так всю ночь и просидели. Утром стали старшину укорять – чего не предупредил? А он: на фронт собрались, а быка испугались!.. По пути на беглецов была возложена забота о коровнике и этом быке, которого звали Моряк (у старшины-еврея выходило «Могак»): таскали воду, пролезая на станциях под эшелонами, чистили вагоны, выбрасывая навоз на полном ходу. Когда старшина их все-таки ссадил, они забрались на платформу с танками и пролежали несколько часов, уткнувшись лицом в снег – чтобы часовой с соседнего вагона не заметил. Их, как подозрительных личностей без документов, могли по законам военного времени шлепнуть запросто и без долгих разбирательств. До фронта однако им так и не удалось добраться, и они вернулись назад, где над ними хотели устроить показательный суд...

У моей сестры есть такие стихи: «Когда мой отец, / детдомовский мальчишка, / убежал на фронт со своим другом, / друг был убит в пути. / Про него никто не рассказывает: / "Когда мой отец..."»

А еще – но это уже гораздо позже – была Литгазета. Маленькая узкая комнатка редакции Клуба «Двенадцать стульев», на двери возле таблички – неподобающая картинка (то ли две высо-

вывающиеся из унитаза руки, раскрытые «цветком», то ли одна рука тонущего там же), как войдешь сразу шкафчик с экспонатами – «личными вещами Евгения Сазонова, людоведа и душелюба» (моему отцу тоже довелось выступать в газете под его личиной), столы, заваленные бумагами, и большие, бородатые, но не страшные, пропахшие сигаретами редакторы и авторы, большей частью подозрительной национальности, счастливы праздные, беспрерывно штукующие и азартно, до самозабвения, режущиеся на деньги в диковинный элитарный «скрэбл»... И были истории – о беспросветной тупости начальства и о подвигах бесстрашного и политически неблагонадежного Ильи Суслова, упорно продолжающего носить один и тот же сомнительной рассказ «наверх» разным дежурным по выпуску, после которых на титульном листе оставались страшные следы их власти – наляпанные вкривь и вкось смертельные диагнозы: «запретить!», «антисоветчина!» или же просто «вы что, меня за идиота принимаете?» Но рано или поздно все же удавалось обмануть бдительность этих «недремлющих очей» и напечатать что-нибудь эдакое. Пока не разразился скандал из-за совершенно безобидного рассказика Климовича, где в дымину пьяный мужик ловил ночью такси на бульваре, куда не заметил «голосующего» собрата, уже совершенно замерзшего, сволок его домой, а утром продрал глаза – в кровати памятник. Получив звонок «по вертушке» из самого ЦК, вся редакция моталась на такси по столице в поисках доказательств, что не один только Владимир Ильич торчит на бульварах с протянутой рукой...

Афоризмы отец начал писать как-то незаметно для всех еще в цирке – между делом и без отрыва от производства. А когда заметили, было уже поздно: его известность набирала обороты.

Хотя, честно говоря, эти маленькие фразы поначалу мало кто воспринимал серьезно: подумаешь, какая невидаль, шутников много. Да отец и сам не верил, что это так серьезно. К «невечным» мыслям еще долго надо было продираться через шелуху каламбуров.

Сначала он бросил цирк. Купил ударную установку, новую, отливающую чудным красным перламутром, и стал играть в ресторанных ансамблях. Чтоб угнаться за модой и за молодыми, пришлось переучиваться, и он часами занимался дома, странно выворачивая руки и зажимая палочки между двумя пальцами, большим и указательным. Это была его стихия – ритм, дерзкие «брейки» и резкие синкопы и, конечно, соло – в тридцать два и в

шестьдесят четыре такта, которые он играл, полностью выкладываясь и корча от напряжения жуткие рожи.

Но здоровье ухудшалось (тут отец непременно сказал бы: как же такая хорошая вещь, как здоровье, может вдруг ухудшиться? – «сердце у меня очень хорошее, только больное»), да и времени на афоризмы не хватало. И он принял решение. Кажется, у нас в семье я узнал о нем последним. Помню всеобщее волнение и неуверенность: еще бы! – главный добытчик бросает, как Моцарт, свою (какую-никакую) службу, покидает теплое стойло и уходит пастись на дикие неогороженные пастбища! Проклятое искушение оставить после себя что-то нетленное...

Но бояться было нечего: к этому времени он уже всю выступал с концертами. Он ужасно гордился: несмотря на сомнение многих эстрадных акул в том, что такие "мелочи" вообще могут звучать со сцены, афоризмы звучали, и еще как! Сначала по "закрытым" институтам, потом и в концертных залах, от Владивостока до Бреста, с "Двенадцатью стульями" Литгазеты, с "рупорами перестройки" журналом "Огонек" и газетой "Московский комсомолец", в передаче "Вокруг смеха" на телевидении. Пять минут или два часа, тесная комната или огромный зал, ученые, солдаты или генералы – по сути, ему было все равно. Главное – там были люди, лица, долгие беседы, новые знакомства и новые судьбы.

Интересны были ему в жизни только люди. След от оконченого им философского факультета был, по-моему, неглубок: сложное и абстрактное философствование не увлекало его совершенно. Будучи неважным психологом, он любил людей, доверчиво и простодушно. И, как многие очень вспыльчивые люди, он готов был первый протянуть руку после жуткой ссоры и не держал ни на кого и ни за что зла.

Как-то раз он сказал: «Знаешь, есть писатели, знаменитые одной-единственной строчкой – вот от Орлова осталось только это, гениальное: "Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдатом..."». Потом прибавил лукаво: «Я надеюсь, после меня останется все же несколько строчек...»

Искусство вечно, а жизнь коротка, как афоризм.

Еще до отъезда в Германию отца стали реже приглашать на выступления: времена пришли другие, коммерческая ценность его выступлений – без пошлости, китча, эпатажа, панибратства – стала сомнительной. Настоящие друзья, шумные и веселые за-

столя почти иссякли. А слушатели были ему все нужнее, они могли бы уберечь от наступающего мрака и дать еще чуть-чуть поиграть в незаменимого в любой компании блистательного рассказчика и неугомимого шутника...

Врачи сказали, что он перенес множество микроинсультов. Там, на снимке мозга они показали мне выгоревшие области – черные точки, несшие моему отцу болезнь и смерть. Безобидные на вид и маленькие, как и его фразы. Как его «невечные мысли», додумать которые до конца было для него самым важным на свете делом. Ни на мгновение не отпускаящие, заставляющие и бессонной ночью вновь и вновь мучительно переделывать и оттачивать – "крутить", как он это называл.

Видно, опасное это было занятие. Публики не стало, и его мыслям некуда было деться. Они крутились, и, остро отточенные, так и оставались в нем, вонзаясь и оставляя после себя сожженные мосты и маленькие черные точки...

Вот и все. Долгие годы на нескольких страницах. На самом деле, все было совсем не так, я же и сам это понимаю. Да только стоит ли пытаться взыскивать правды – наводить справки и вопрошать, настоящее ли это прошлое или ненастоящее? Оно, как и в романах Фолкнера, всегда настоящее, оно меняется с каждым теперешним мгновением – всего лишь наше собственное отражение... С годами я становлюсь чутьчку на него похожим: хоть я и ленивее, мелочнее, благополучнее и избалованнее, но у меня сын и дочка, я учу ее музыке и редко вижу, я глотаю таблетки и повязываю свою поясницу шерстянкой, я музыкант, но почему-то пишу все это...

В случайном разговоре с одной пожилой, властной и высокомерной дамой, вдруг выяснилось, что она была ведущей многих концертов, в которых выступал мой отец. Тут она внезапно смягчила и с ностальгической нотой в голосе сказала мне: «Знаете, а ведь он был совсем не такой, как другие... Вы себе и представить не можете, что там за кулисами творилось! Все суетились, вычисляя, когда, за кем и перед кем им выходить на сцену, ссорились и скандалили, пытались куда-то пролезть и с кем-то помянаться. Только один Миша просто стоял в стороне, что-то обдумывая и ожидая своего выхода...»

Он теперь снова в стороне. И снова просто ожидает своего выхода.

Наталия ГЕНИНА

* * *

Возвращается к исходу
жизнь – усталая вода...
Обжигаясь, дуй на воду,
повторяя: никогда...
Потому что между делом
замолить нельзя грехи.
Белым я пишу – на белом
мёртвом зеркале реки.
Здесь, в непознанном раю,
где ныряют хором в «Prosit!»*,
где течением относит
тень привычную мою, -
глянешь в зеркало кривое
белозубой той воды –
и привидится живое,
ясное лицо беды.

**Prosit – тост, здравица (нем.)*

* * *

Перевожу на славянский тоску с санскрита,
самый последний грош за душою прячу.
Всё отпираю дверь, что давно открыта,
связкой ключей гремлю и беззвучно плачу.
Что я ищу? Не веру, а может статься,
только её предгорье, её предтечу.
Сколько можно доверчиво улыбаться?
Сколько можно лицо открывать навстречу?
Нет, ничего, увы, что не стерпит бумага.
Чиркну спичкой – руки над ней согрею.
Я, всесильная, сделать не в силах шага.
Я, бесстрашная, глаз приоткрыть не смею.
Перевожу с беспамятства и молчанья,
перевожу со всех языков на свете –
на бессмысленный, грешный язык отчаянья,
за который я вечно буду в ответе.

* * *

В расщелину меж бытиём и бытом –
разлаженным, раздёрганным, разбитым,
в дыру озонную, заветную войти,
оскальзываясь в космосе открытом,
склоняясь над распластанным корытом,
понять: иного нет у нас пути.

Известно – где по плану остановка.
Стрелять неловко, но в руках винтовка.
И цокает небесная подковка,
и никого нельзя предостеречь.

И на ладони Божия коровка
мычит – и в небо целится, плутовка.
Добытчик резвый, где твоя сноровка?
О чём бишь я? Да не о хлебе речь!

Где родина? И гнётся знак вопроса.
Так отнимают душу без наркоза.
Так рассуждают твёрдо и тверёзо,
покачиваясь, превращаясь в прах.
И просто всё, как во поле берёза.
Кобыле легче, если баба – с воза.

Щекочет ноздри вешний дух навоза,
и птица-тройка жмёт на всех парах.
Куда? Ну, не даёт она ответа.

Меня ссадили: езжу без билета.
Конец туннеля, а быть может, света.
И больше не захватывает дух.

А ночью вспомнишь: возлюби соседа, -
и любишь всех подряд в порядке бреда.
И не припомнишь Нового завета,
покуда трижды не споёт петух.

* * *

Под грузом вер, любовью и надежд,
под ветром их неровного дыхания —
в Москву, в Москву! Пусть через Будапешт
или Бомбей. Урок чистописанья
давно закончен. Вольность не порок.
Зачёркнуто всё то, чем дорожила.
Вот Бог, я повторю, а вот порог,
а вот, гляди-ка, золотая жила.
Споткнёшься о неё на склоне лет —
на ягодицах скатишься со склона,
совсем как тот вечнозелёный шкет,
что весел и бесстрашен. А с амвона
небесного — бегущую строкой —
за словом слово и за птицей птица.
И, кажется, едва взмахнёшь рукой...
А не летится больше, не летится

Настоящая публикация основана на издании
«Собрание запрещённых стихов и прозы». Лейпциг, 1876 год

"Русская княгиня."

Если русское дворянство утратило свое значеніе, то это потому что оно утратило свое достоинство. Кукольная комедія чиновъ и крестовъ не расширила ея ума, лакейство при дворѣ не возвысило ея души; но и люди независимые по своему положенію набрались какихъ-то чудовищныхъ правилъ — смесь Французскаго съ чувашскими.

– У васъ, княгиня, княжескаго только красный носъ.

– Вы дерзкій грубіанъ!

– Вы не любите, чтобъ васъ звали Наталіей Сергѣевной, вы любите чтобъ васъ звали княгиней.

– Вы думаете, что мы приходимъ отъ Черныхъ, а мы происходимъ отъ Серебряныхъ.

– Мишура, Ваше Сиятельство, мишура! Вы любите драгоценные камни, вы вздыхаете по вашему покойномъ муже. Миръ праху его! Хотя и говорятъ, что красовицы любятъ уродовъ и на оборотъ, но много надо было добродѣтели, чтобъ переносить вашъ характеръ.

Вы поносите вашего отца, вы говорите что онъ лютъ; ваше ли дѣло осуждать родителя? Не знаете что ли пословицы: Яицы курицу не учать? Вамъ ли рассказывать про него ужасы? Вы хвалитесь, что вы его содержите, но если не въ законахъ вашей природы, то въ законахъ всѣхъ народовъ написано, что дети обязаны давать содержаніе своимъ родителямъ, а въ Римскомъ правѣ отецъ могъ безотвѣтственно лишить дѣтей жизни по

правилу что кто далъ что, то и могъ отнять.

Вы браните заграничные порядки, но неужели Макарьеву подобаеъ учить Парижъ? Вы дадите кому нибудь двугривенной, такъ прокричите на цѣлый свѣтъ. Вы легко пылите и пыль вашъ доходить до неистовства; вы ломаете себѣ тогда руки, съ вами дѣлаются истерики, вы ложитесь въ постель на день на другой, и мчитесь электризмомъ. Къ вамъ тоскается спиритка-шарлатанка, вѣдьма-цыганка, которая васъ подчаеъ Раскаливскими средствами, вылагаетъ вамъ въ високъ электрическія батареи, а ланиты ваши обдираеъ седативною водою.

Вы, княгиня, видите пылинку въ чужомъ глазѣ, а въ своемъ не видите бревна; прикомандировали къ вашей особѣ бѣднаго армейскаго офицера и губите его душу и умъ, а кормите его такъ плохо, что онъ похудѣлъ какъ селедка. Онъ вашъ управитель и такъ благороденъ, что не беретъ съ васъ копѣйки и портитъ свою карьеру изъ преданности къ камъ. Онъ видитъ вашими глазами и слышитъ вашими ушами. Вы выдаете его за *cousin* и онъ почиаетъ въ комнатѣ возлѣ васъ. Вамъ дѣла нѣтъ до того, что злые языки могутъ сказать, *les apparences sont trompeuses*. Вы старуха, а онъ омрокъ! Я ничего не хочу толковать въ дурную сторону.

Разберите ваше поведеніе со мною! Подъ личиной участія вы явились какъ соотечественница и я васъ принялъ съ радушіемъ. Я подумалъ что вы аристократка, хоть и ѣздите въ омнибусахъ. У кого нѣтъ странностей? Не вы одна отказываете себѣ въ пищѣ и тратитесь на кружева. Но что-же вышло? Вы стали говорить, что никто меня не читаетъ, не потому что непонимаетъ — не всѣхъ же я умнѣе — а потому что я человѣкъъ безспособный. Судить писателя всякой имѣеъ полное право. Моя репутація составлена давно. На эту то репутацію вы и налегли всѣмъ бременемъ вашей злости, и вышли пустѣйшая женщина изъ самыхъ безтолковыхъ. Съ вашимъ умомъ вы не поняли, что каждое изъ вашихъ словъ мнѣ переносилось *tout chaud tout bouillant*. Вѣдь вы относили ваши откровенія къ моимъ, а не къ вашимъ знакомымъ. Вы думали мнѣ повредить а

сдѣлали мнѣ добро. Пріятели мои такъ ужаснулись вашимъ сплетнямъ, что удвоили свое участіе ко мнѣ.

Тогда-то я позволилъ вамъ сказать, что вы живете на маленькой нотѣ и носите дѣтскіе башмаки, что ваша шляпа не чудо чудесъ и это васъ обидело больше нежели всѣ ваши брани трогали меня; кромѣ, благодарности я чувствую къ вамъ глубокое сожалѣніе. Еще при Пушкинѣ надо было очинить перо, чтобъ пустить стрѣлу, но теперь у насъ перья стальные, готовыя. У каждого свое оружіе, у змѣи ядъ, у царей пушки, изъ которыхъ по воробьямъ стрѣлять не приходится, хоть будь онѣ и нарѣзные, а у бѣднаго сочинителя только перо. Я васъ подчивалъ кулебякою, вы за гостепріимство заплатили черною клеветою; извольте же васъ попотчивать кушаньемъ моего собственнаго приготовленія.

Кн. К.

Французская Цивилизація

Г. Пироговъ воротясь въ первый разъ, изъ Парижа въ Петербургъ сказалъ: „Мнѣ показалось, что я изъ передней взошелъ въ гостинную.“ Это сравненіе еще справедливѣе было съ Лондономъ. Но есть салоны и въ Парижѣ болѣе или менѣе недоступныя хирургамъ, которые вмѣсто галстуховъ носятъ на шеѣ носки.

Когда въ Сынѣ Отечества, въ Очеркахъ Франціи я бранилъ Францію, Полевой, никогда и невидившій сказалъ: „Вѣдь и Булгаринъ бранитъ Францію въ Сѣверной Пчелѣ.“ Для издателя Московскаго Телеграфа Франція была синонимомъ просвѣщенія, прогресса.

Я знаю Францію тридцать лѣтъ, а утверждаю, что она нейдетъ впередъ. Въ свободѣ торговли, она сдѣлала шагъ впередъ, Парижъ украсился, но Макъ Адамъ глупое изобрѣтеніе. Парижанки принуждены будутъ какъ дамы Нью-Йорка носить сапоги изъ каучука, и уже мужчины ходятъ по улицамъ въ ботфортахъ – какъ въ болотѣ. Но шоссе мѣшаетъ постройкѣ барикадъ и упрочиваетъ престолъ Наполеона III.

У Французовъ религіи какъ у кошекъ или собакъ, просто отвратительно. Они все дѣти XVIIIго столетія, все Вольтѣрьяны; ихъ Богъ *Néant*; поэтому они и живутъ какъ звѣри, нѣтъ у нихъ ни семейныхъ прочныхъ связей, ни точныхъ правилъ нравственности, но есть равенство, равенство передъ франкомъ или Луидоромъ ! Заставьте Француза потерять денегъ, онъ вамъ глаза выцарапаетъ, заставьте его ихъ ждать, онъ придетъ въ неистовство. Мнѣ говорилъ Лолякъ справедливо: – Просите у Француза его кровь, но не просите у него денегъ. Правда у него ихъ немного, но и Перреръ и Шевалье вамъ ихъ не дадутъ. Скорѣе работникъ подѣлится послѣднимъ съ бѣднякомъ, а если у него денегъ нѣтъ, то онъ пойдетъ заложить платье. Вообще рабочій классъ во Франціи наилучшій; на немъ хоть образъ человѣческій, а Парижанинъ – *dandy* – не то мужчина не то женщина; не то ракъ, не то рыба.

Была когда-то во Франціи учтивость, а теперь нравы становятся все грубѣе; видно, что люди страдаютъ, мучатся, и во всѣхъ ихъ отношеніяхъ отзывается какая то горечь, недовѣріе. Въ Парижѣ съ незнакомыми обращаются какъ съ плутами; видно, что плутовъ больше нежели честныхъ людей.

Литература въ явномъ упадкѣ. *Les Misérables* Виктора Гюго далеко не классическое сочиненіе. Гнъ Абу – современная знаменитость – не выше посредственности. Одинъ театръ держится Ожье, Сарду, и пр.

Le Français né malin inventa le vaudeville. Журналистика безцвѣтна. Я давно нечитаю французскихъ журналовъ, увѣренный, что въ нихъ ничего найти нельзя.

Французскій мужикъ не знаетъ ни читать ни писать, а учится тому и другому, делаясь солдатомъ. Говорили довольно объ обязательномъ ученіи даромъ, но „испугашася премудрости вснять обратишася.“ И хочется и колится; говорятъ будетъ обязательно для тѣхъ, которые пожелаютъ!

Воровство принимаетъ все болѣе и болѣе колоссальные размѣры и правильную, систематическую организацію. Бѣлье длится шесть мѣсяцевъ а не шесть лѣтъ, ради употребленія въ мытьѣ *Eau de Javel*, хлора и разныхъ веществъ сожигающихъ,

точно прачки въ заговорѣ съ „портными сорочекъ.“ Цыпленокъ стоитъ въ Парижѣ три франка, полевая курапатка тоже, заяцъ 6 фр., а въ Баваріи 6 крейцеровъ. Курить въ Парижѣ рѣшительно нечего, папиросу въ ротъ взять нельзя, а все говорятъ, что у насъ жить дороже ; но развѣ Французы живутъ, ѣдятъ? У нихъ у всѣхъ исхудалый видъ, точно кромѣ салада ничего не ѣдятъ. А топятъ то какъ! Въ неделю сожжешь на 10 фр. на кроястной квартирѣ, а прокомъ ни разу не натопить!

Мы сдуру снова здорово ввели смертную казнь, такъ что Франціи и глазъ уколоть нечѣмъ, а то поглядѣли бы какъ Помаре отрѣзали голову и какъ любители зрѣлищъ ходили смотрѣть на этотъ дивертиссементъ!

Хоть бы художества процвѣтали, а то дома строятъ какъ куриныя клѣтки, картины рисуютъ такъ, что ландшафты похожи на какуюнибудь другую планету, но только не на землю – сами Французы ихъ зовутъ *des plats d'épinards*. Мессонье нарисуетъ картину франковъ въ 70, а заплатятъ ему 70 тысячъ. Янгрь у нихъ Рафаель, а Жеромъ и Роза Бонеръ не успѣваютъ рисовать на Англію.

„Не вѣрю я Француза дружба,“ сказалъ Пушкинъ, и стихъ этотъ остался глубокою истиною.

Французскихъ докторовъ бронятъ также подѣломъ; они только думаютъ какъ набить себѣ карманъ. Есть знаменитыя специальности, но потому именно, что они специальности, и дѣлаютъ они общіе промахи.

Парижъ городъ большой, но есть кварталы гдѣ больше сплетней нежели въ маленькихъ городахъ. Place Maubert также дикъ какъ Карпентрасъ или Томбукту, правду что онъ по близости дикихъ звѣрей Jardin des Plantes. Онъ даетъ одинъ болѣе дѣла полиціи нежели остальной городъ. Французъ кланяется деньгами, но съ людьми безъ денегъ обходится за панибратья.

„Какъ у Сенюшки, есть денюжки, такъ Сенюшка Семень, а у Сенюшки нѣтъ денюшка такъ Сенька черта въ немъ.“

П. П.

Von Epikurs Schriften sind nur Bruchstücke erhalten, doch besitzen wir einige seiner philosophischen *Briefe*. Das ist nicht verwunderlich. Denn Freundschaft, geistiger Austausch und menschliche Verbundenheit gehören nach seiner Lehre zu den höchsten Gütern des Lebens. In seinen Briefen lernen wir Epikur nicht etwa nur vom Rande seines Wesens her kennen, sondern in dem eigentlichen Zentrum seines Geistes. Wir geben ...seinen Brief an Menoikeus, in welchem er seine Ethik entwickelt.

Hans Georg Gadamer*

Философское учение Эпикура, как и другие учения его времени (за частичным исключением скептицизма) было прежде всего предназначено для поддержания спокойствия. Он считает наслаждение благом и придерживается с удивительным постоянством всех последствий, вытекающих из этого взгляда.

Бертран Рассел**

ЭПИКУР / EPIKUR

ЭПИКУР ПРИВЕТСТВУЕТ МЕНЕКЕЯ

BRIEF AN MENOIKEUS

Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в старости не устает заниматься философией: ведь никто не бывает ни недозрелым, ни перезрелым для здоровья души. Кто говорит, что еще не наступило или прошло время для занятия философией, тот похож на того, кто говорит, что для счастья или еще нет, или уже нет времени. Поэтому и юноше и старцу следует заниматься философией: первому –

Wer noch jung ist, der soll sich in der Philosophie befleißigen, und wer alt ist, soll nicht müde werden zu philosophieren. Denn niemand kann früh genug anfangen für seine Seelengesundheit zu sorgen und für niemanden ist die Zeit dazu zu spät. Wer da sagt, die Stunde zum Philosophieren sei für ihn noch nicht erschienen oder bereits entschwunden, der gleicht dem, der behauptet, die Zeit für die Glückseligkeit sei noch nicht da oder nicht mehr da. Es gibt also zu philosophieren für jung und

* Hans Georg Gadamer (1900-2002) deutsche Philosoph

** Бертран Рассел (1872-1970) английский философ

для того, чтобы, стареясь, быть молоду благами вследствие благодарного воспоминания о прошедшем, а второму – для того, чтобы быть одновременно и молодым и старым вследствие отсутствия страха перед будущим. Поэтому следует размышлять о том, что создает счастье, если действительно, когда оно есть, у нас всё есть; а когда его нет, мы всё делаем, чтобы его иметь.

Что я тебе постоянно советовал, это делай и об этом размышляй, имея в виду, что это основные принципы прекрасной жизни. Во-первых, верь, что бог – существо бессмертное и блаженное, как общее представление о боге было начертано (в уме человека), и не приписывай ему ничего чуждого его бессмертию или несогласного с его блаженством; но представляй себе о боге всё, что может сохранять его блаженство, соединенное с бессмертием. Да, боги существуют: познание их – факт очевидный. Но они не таковы, какими их представляет себе толпа, потому что толпа не сохраняет о них постоянно своего представления. Нечестив не тот, кто устраняет богов толпы, но тот, кто применяет к богам представления толпы: ибо высказывания толпы о богах являются не естественными понятиями, но лживыми домыслами, согласно которым дурным людям боги посылают величайший вред, а хо-

für alt, auf daß der eine auch im Alter noch jung bleibe auf Grund des Guten, das ihm durch des Schicksals Gunst zuteil geworden, der andere aber Jugend und Alter in sich vereinige dank der Furchtlosigkeit vor der Zukunft. Also gilt es unsern vollen Eifer dem zuzuwenden, was uns zur Glückseligkeit verhilft; denn haben wir sie, so haben wir alles, fehlt sie uns aber, so setzen wir alles daran, sie uns zu eigen zu machen.

Wozu ich Dich ohn' Unterlaß mahn-te, das mußt Du auch tun und Dir angelegen sein lassen, indem Du Dir klar machst, daß dies die Grundlehren sind für ein lobwürdiges Leben. Erstens halte Gott für ein unvergängliches und glückseliges Wesen, entsprechend der gemeinhin gültigen Gottesvorstellung, und dichte ihm nichts an, was entweder mit seiner Unvergänglichkeit unverträglich ist oder mit seiner Glückseligkeit nicht in Einklang steht; dagegen halte in Deiner Vorstellung von ihm an allem fest, was danach angetan ist seine Glückseligkeit im Bunde mit seiner Unvergänglichkeit zu bekräftigen. Denn es gibt Götter, eine Tatsache, deren Erkenntnis einleuchtend ist; doch sind sie nicht von der Art, wie die große Menge sie sich vorstellt; denn diese bleibt sich nicht konsequent in ihrer Vorstellungsweise von ihnen. Gottlos aber ist nicht der, welcher mit den Göttern des gemeinen Volkes auf-räumt, sondern der, welcher den Göttern die Vorstellungen des gemeinen Volkes andichtet. Denn was die gemeine Menge von den Göttern

рошим — пользу. Именно, люди, все время близко соприкасаясь со своими собственными добродетелями, к подобным себе относятся хорошо, а на всё, что не таково, смотрят как на чуждое.

Приучай себя к мысли, что смерть не имеет к нам никакого отношения. Ведь всё хорошее и дурное заключается в ощущении, а смерть есть лишение ощущения. Поэтому правильное знание того, что смерть не имеет к нам никакого отношения, делает смертность жизни усладительной, — не потому, чтобы оно прибавляло к ней безграничное количество времени, но потому, что отнимает жажду бессмертия. И действительно, нет ничего страшного в жизни тому, кто всем сердцем постиг [вполне убежден], что в нежизни нет ничего страшного. Таким образом, глуп тот, кто говорит, что он боится смерти не потому, что она причинит страдание, когда придет, но потому, что она причиняет страдание тем, что придет: ведь если что не тревожит присутствия, то напрасно печалиться, когда оно только еще ожидается. Таким образом, самое страшное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения, так как, когда мы существуем, смерть еще не присутствует; а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем. Таким образом, смерть не имеет отношения ни к живущим, ни к умершим, так как

sagt, beruht nicht auf echten Begriffen, sondern auf wahrheitswidrigen Mutmaßungen. Daher läßt man den Bösen die größten Schädigungen von Seiten der Götter widerfahren und den Guten die größten Wohltaten; denn ganz und gar für ihre eigenen Tugenden eingenommen, gönnen sie den Gleichgearteten alles Gute, während ihnen alles anders Geartete als fremdartig erscheint. Gewöhne Dich auch an den Gedanken, daß es mit dem Tode für uns nichts auf sich hat. Denn alles Gute und Schlimme beruht auf Empfindung: der Tod aber ist die Aufhebung der Empfindung. Daher macht die rechte Erkenntnis von der Bedeutungslosigkeit des Todes für uns die Sterblichkeit des Lebens erst zu einer Quelle der Lust, indem sie uns nicht eine endlose Zeit als künftige Fortsetzung in Aussicht stellt, sondern dem Verlangen nach Unsterblichkeit ein Ende macht. Denn das Leben hat für den nichts Schreckliches, der sich wirklich klar gemacht hat, daß in dem Nichtleben nichts Schreckliches liegt. Wer also sagt, er fürchte den Tod, nicht etwa weil er uns Schmerz bereiten wird, wenn er sich einstellt, sondern weil er uns jetzt schon Schmerz bereitet durch sein dereinstiges Kommen, der redet ins Blaue hinein. Denn was uns, wenn es sich wirklich einstellt, nicht stört, das kann uns, wenn man es erst erwartet, keinen anderen als nur einen eingebildeten Schmerz bereiten. Das angeblich schaurigste aller Übel also, der Tod, hat für uns keine Bedeutung; denn

для одних она не существует, а другие уже не существуют.

Люди толпы то избегают смерти, как величайшего из зол, то жаждут ее, как отдохновения от зол жизни. А мудрец не уклоняется от жизни, но и не боится не-жизни, потому что жизнь ему не мешает, а не-жизнь не представляется каким-нибудь злом. Как пищу он выбирает вовсе не более обильную, но самую приятную, так и временем он наслаждается не самым долгим, но самым приятным.

Кто советует юноше прекрасно жить, а старцу прекрасно кончить жизнь, тот глуп — не только вследствие привлекательности жизни, но также и потому, что забота о прекрасной жизни есть та же самая, что и забота о прекрасной смерти. Но еще хуже тот, кто говорит, что хорошо не родиться, «а родившись, как можно скорее пройти врата Аида». Если он говорит так по убеждению, то почему не уходит из жизни? Ведь это в его власти, если это было действительно им твердо решено. А если в шутку, то напрасно он говорит это среди людей, не принимающих его мнения.

Надо помнить, что будущее — не наше, но, с другой стороны, и не вполне не наше, — для того, чтобы мы не ждали непременно, что оно наступит, но и не теряли надежды, будто оно вовсе не наступит.

so lange wir noch da sind, ist der Tod nicht da; stellt sich aber der Tod ein, so sind wir nicht mehr da. Er hat also weder für die Lebenden Bedeutung, noch für die Abgeschiedenen, denn auf jene bezieht er sich nicht, diese aber sind nicht mehr da. Die große Menge indes scheut bald den Tod als das größte aller Übel, bald sieht sie in ihm eine Erholung [von den Mühseligkeiten des Lebens. Der Weise dagegen weist weder das Leben von sich] noch hat er Angst davor, nicht zu leben. Denn weder ist ihm das Leben zuwider noch hält er es für ein Übel, nicht zu leben. Wie er sich aber bei der Wahl der Speise nicht für die größere Masse, sondern für den Wohlgeschmack entscheidet, so kommt es ihm auch nicht darauf an, die Zeit in möglicher Länge, sondern in möglichst erfreulicher Fruchtbarkeit zu genießen. Wer aber den Jüngling auffordert zu einem lobwürdigen Leben, den Greis dagegen zu einem lobwürdigen Ende, der ist ein Tor nicht nur weil das Leben seine Annehmlichkeit hat, sondern auch, weil die Sorge für ein lobwürdiges Leben mit der für ein lobwürdiges Ende zusammenfällt. Noch weit schlimmer aber steht es mit dem, der da sagt, das Beste sei es, gar nicht geboren zu sein (Theogn. 425, 427), aber, geboren einmal, sich schleunigst von dannen zu machen. Denn wenn er es mit dieser Äußerung wirklich ernst meint, warum scheidet er nicht aus dem Leben? Denn das stand ihm ja frei, wenn anders er zu einem festen Entschluss

Надо принять во внимание, что желания бывают одни естественные, другие – пустые [вздорные], и из числа естественных одни – необходимые, а другие – только естественные; а из числа необходимых одни необходимы для счастья, другие – для спокойствия тела, третьи – для самой жизни. Свободное от ошибок рассмотрение этих фактов может направлять всякий выбор и избегание к здоровью тела и безмятежности души, так как это есть цель счастливой жизни: ведь ради этого мы всё делаем, – именно, чтобы не иметь ни страданий, ни тревог. А раз это с нами случилось [нам досталось, произошло], всякая буря души рассеивается, так как живому существу нет надобности итти к чему-то, как к недостающему, и искать чего-то другого, от чего благо души и тела достигнет полноты. Да, мы имеем надобность в удовольствии тогда, когда страдаем от отсутствия удовольствия; а когда не страдаем, то уже не нуждаемся в удовольствии. Поэтому-то мы и называем удовольствие началом и концом [альфой и омегой] счастливой жизни. Его мы познали как первое благо, прирожденное нам; с него начинаем мы всякий выбор и избегание; к нему возвращаемся мы, судя внутренним чувством, как мерилom, о всяком благе.

Так как удовольствие есть первое и прирожденное нам бла-

se gekommen wäre. Ist es aber bloßer Spott, so ist es übel angebrachter Unfug. Die Zukunft liegt weder ganz in unserer Hand noch ist sie völlig unserem Willen entzogen. Das ist wohl zu beachten, wenn wir nicht in den Fehler verfallen wollen, das Zukünftige entweder als ganz sicher anzusehen oder von vornherein an seinem Eintreten völlig zu verzweifeln.

Zudem muß man bedenken, daß die Begierden teils natürlich, teils nichtig sind und daß die natürlichen teils notwendig teils nur natürlich sind; die notwendigen hinwiederum sind notwendig teils zur Glückseligkeit teils zur Vermeidung körperlicher Störungen teils für das Leben selbst. Denn eine von Irrtum sich frei haltende Betrachtung dieser Dinge weiß jedes Wählen und jedes Meiden in die richtige Beziehung zu setzen zu unserer körperlichen Gesundheit und zur ungestörten Seelenruhe; denn das ist das Ziel des glückseligen Lebens. Liegt doch allen unseren Handlungen die Absicht zugrunde weder Schmerz zu empfinden noch außer Fassung zu geraten. Haben wir es aber einmal dahin gebracht, dann glätten sich die Wogen; es legt sich jeder Seelensturm, denn der Mensch braucht sich dann nicht mehr umzusehen nach etwas was ihm noch mangelt, braucht nicht mehr zu suchen nach etwas anderem, was dem Wohlbefinden seiner Seele und seines Körpers zur Vollendung verhilft. Denn der Lust sind wir dann benötigt, wenn wir das Fehlen der Lust schmerzlich

го, то поэтому мы выбираем не всякое удовольствие, но иногда мы обходим многие удовольствия, когда за ними следует для нас большая неприятность; также мы считаем многие страдания лучше удовольствия, когда приходит для нас большее удовольствие, после того как мы вытерпим страдания в течение долгого времени. Таким образом, всякое удовольствие, по естественному родству с нами, есть благо, но не всякое удовольствие следует выбирать, равно как и страдание всякое есть зло, но не всякого страдания следует избегать. Но должно обо всем этом судить по соразмерению и по рассмотрению полезного и неполезного: ведь в некоторых случаях мы смотрим на благо как на зло, и обратно — на зло как на благо.

Да и довольство своим [умеренность] мы считаем великим благом не затем, чтобы всегда пользоваться немногим, но затем, чтобы, если у нас не будет многого, пользоваться [довольствоваться] немногим, в полном убеждении, что с наибольшим удовольствием наслаждаются роскошью те, которые наименее в ней нуждаются, и что все естественное легко добывается, а пустое (т. е. излишнее) трудно добывается. Простые блюда [кушанья] доставляют такое же удовольствие, как и дорогой стол [пища], когда все страдание от недостатка уст-

empfinden; fühlen wir uns aber frei von Schmerz, so bedürfen wir der Lust nicht mehr. Eben darum ist die Lust, wie wir behaupten, Anfang und Ende des glückseligen Lebens. Denn sie ist, wie wir erkannten, unser erstes, angeborenes Gut, sie ist der Ausgangspunkt für alles Wählen und Meiden und auf sie gehen wir zurück, indem diese Seelenregung uns zur Richtschnur dient für Beurteilung jeglichen Gutes. Und eben weil sie das erste und angeborene Gut ist, entscheiden wir uns nicht schlechtweg für jede Lust, sondern es gibt Fälle, wo wir auf viele Annehmlichkeiten verzichten, sofern sich weiterhin aus ihnen ein Übermaß von Unannehmlichkeiten ergibt, und anderseits geben wir vielen Schmerzen vor Annehmlichkeiten den Vorzug, wenn uns aus dem längeren Ertragen von Schmerzen um so größere Lust erwächst. Jede Lust nun ist, weil sie etwas von Natur aus Angemessenes ist, ein Gut, doch nicht jede auch ein Gegenstand unserer Wahl, wie auch jeder Schmerz ein Übel ist, ohne daß jeder unter allen Umständen zu meiden wäre. Nur durch genaue Vergleichung und durch Beachtung des Zuträglichen und Unzuträglichen kann alles dies beurteilt werden. Denn zu gewissen Zeiten erweist sich das Gute für uns als Übel und umgekehrt das Übel als ein Gut.

Auch die Genügsamkeit halten wir für ein großes Gut, nicht, um uns in jedem Falle mit Wenigem zu begnügen, sondern um, wenn wir nicht die Hülle und Fülle haben, uns mit

ранено. Хлеб и вода доставляют величайшее [высшее] удовольствие, когда человек подносит их к устам, чувствуя потребность. Таким образом, привычка к простой, недорогой пище способствует улучшению здоровья, делает человека деятельным по отношению к насущным потребностям жизни, приводит нас в лучшее расположение духа, когда мы, после долгого промежутка, получаем доступ к предметам роскоши, и делает нас неустрашимыми перед случайностью.

Итак, когда мы говорим, что удовольствие есть конечная цель, то мы разумеем не удовольствия распутников и не удовольствия, заключающиеся в чувственном наслаждении, как думают некоторые, не знающие, или не соглашающиеся, или неправильно понимающие, но мы разумеем свободу от телесных страданий и от душевных тревог. Нет, не попойки и кутежи непрерывные, не наслаждения мальчиками и женщинами, не наслаждения рыбою и всеми прочими яствами, которые доставляет роскошный стол, рожают приятную жизнь, но трезвое рассуждение, исследующее причины всякого выбора и избегания и изгоняющее (лживые) мнения, от которых душу объемлет величайшее смятение [которые производят в душе величайшее смятение].

Начало всего этого и величайшее благо есть благоразумие. По-

dem Wenigen zufrieden zu geben in der richtigen Überzeugung, daß diejenigen den Überfluß mit der stärkeren Lustwirkung genießen, die denselben am wenigsten bedürfen, und daß alles Naturgemäße leicht zu beschaffen, das Eitele aber schwer zu beschaffen ist. Denn eine bescheidene Mahlzeit bietet den gleichen Genuß wie eine prunkvolle Tafel, wenn nur erst das schmerzhaftes Hungergefühl beseitigt ist. Und Brot und Wasser gewähren den größten Genuß, wenn wirkliches Bedürfnis der Grund ist sie zu sich zu nehmen. Die Gewöhnung also an eine einfache und nicht kostspielige Lebensweise ist uns nicht nur die Bürgschaft für volle Gesundheit, sondern sie macht den Menschen auch unverdrossen zur Erfüllung der notwendigen Anforderungen des Lebens, erhöht seine frohe Laune, wenn er ab und zu einmal auch einer Einladung zu kostbarer Bewirtung folgt, und macht uns furchtlos gegen die Launen des Schicksals. Wenn wir also die Lust als Endziel hinstellen, so meinen wir damit nicht die Lüste der Schlemmer und solche, die in nichts als dem Genusse selbst bestehen, wie manche Unkundige und manche Gegner oder auch absichtlich Mißverstehende meinen, sondern das Freisein von körperlichem Schmerz und von Störung der Seelenruhe. Denn nicht Trinkgelage mit daran sich anschließenden tollen Umzügen machen das lustvolle Leben aus, auch nicht der Umgang mit schönen Knaben und Weibern, auch nicht der Genuß von Fischen und

этому благоразумие дороже даже философии. От благоразумия произошли все остальные добродетели; оно учит, что нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и, наоборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно. Ведь все добродетели по природе соединены с жизнью приятной, и приятная жизнь от них неотделима. В самом деле, кто, по твоему мнению, выше человека, о богах мыслящего благочестиво, к смерти относящегося всегда неустрашимо [от страха перед смертью свободного], путем размышления постигшего [уяснившего себе] конечную цель природы, понимающего, что высшее благо легко исполнимо и достижимо, а высшее зло связано с кратковременным страданием; смеющегося над судьбой, которую некоторые вводят как владычицу всего? Он, напротив, говорит, что одни события происходят в силу необходимости, другие — по случаю, а иные зависят от нас, так как необходимость не подлежит ответственности, а случай непостоянен, как он видит, но то, что зависит от нас, не подчинено никакому господину, и за этим следует как порицание, так и противоположное ему. В самом деле, лучше было бы следовать мифу о богах, чем быть рабом судьбы физиков [естествоиспытателей]; миф дает намек на надежду умиловления богов посредством почита-

sonstigen Herrlichkeiten, die eine prunkvolle Tafel bietet, sondern eine nüchterne Verständigkeit, die sorgfältig den Gründen für Wählen und Meiden in jedem Falle nachgeht und mit allen Wahnvorstellungen bricht, die den Hauptgrund zur Störung der Seelenruhe abgeben.

Für alles dies ist Anfang und wichtigstes Gut die vernünftige Einsicht, daher steht die Einsicht an Wert auch noch über der Philosophie. Aus ihr entspringen alle Tugenden. Sie lehrt, daß ein lustvolles Leben nicht möglich ist ohne ein einsichtsvolles und sittliches und gerechtes Leben, und ein einsichtsvolles, sittliches und gerechtes Leben nicht ohne ein lustvolles. Denn die Tugenden sind mit dem lustvollen Leben auf das engste verwachsen, und das lustvolle Leben ist von ihnen untrennbar. Denn wer wäre Deiner Meinung nach höher zu achten als der, der einem frommen Götterglauben huldigt und dem Tode jederzeit furchtlos ins Auge schaut? Der dem Endziel der Natur nachgedacht hat und sich klar darüber ist, daß im Reiche des Guten das Ziel sehr wohl zu erreichen und in unsere Gewalt zu bringen ist, und daß die schlimmsten Übel nur kurzdauernden Schmerz mit sich führen? Der über das von gewissen Philosophen als Herrin über alles eingeführte allmächtige Verhängnis lacht und vielmehr behauptet, daß einiges zwar infolge der Notwendigkeit entstehe, anderes dagegen infolge des Zufalls und noch anderes durch uns selbst; denn die Notwendigkeit herrscht unumschränkt,

ния их, а судьба заключает в себе неумолимую необходимость. Что касается случая, то мудрец не признает его ни богом, как думают люди толпы, — потому что богом ничто не делается беспорядочно, — ни причиной всего, хотя и шаткой, — потому что он не думает, что случай дает людям добро или зло для счастливой жизни, но что он доставляет начала великих благ или зол. — Поэтому мудрец полагает, что лучше с разумом быть несчастным, чем без разума быть счастливым. И действительно, в практической жизни лучше, чтобы что-нибудь хорошо выбранное потерпело неудачу, чем чтобы что-нибудь дурно выбранное получило успех благодаря случаю.

Так вот, обдумывай это и тому подобное сам с собою днем и ночью и с подобным тебе человеком, и ты никогда, ни наяву, ни во сне, не придешь в смятение, а будешь жить, как бог среди людей. Да, совершенно не похож на смертное существо человек, живущий среди бессмертных благ!

während der Zufall unstet und unser Wille frei (herrenlos, d.i. nicht vom Schicksal abhängig) ist, da ihm sowohl Tadel wie Lob folgen kann. (Denn es wäre besser, sich dem Mythos von den Göttern anzuschließen als sich zum Sklaven der unbedingten Notwendigkeit der Physiker zu machen; denn jener Mythos läßt doch der Hoffnung Raum auf Erhörung durch die Götter als Belohnung für die ihnen erwiesene Ehre, diese Notwendigkeit dagegen ist unerbittlich.) Den Zufall aber hält der Weise weder für eine Gottheit, wie es der großen Menge gefällt (denn Ordnungslosigkeit verträgt sich nicht mit der Handlungsweise der Gottheit) noch auch für eine unstete Ursache (denn er glaubt zwar, daß aus seiner Hand Gutes oder Schlimmes zu dem glücklichen Leben der Menschen beigetragen werde, daß aber von ihm nicht der Grund gelegt werde zu einer erheblichen Fülle des Guten oder des Schlimmen), denn er hält es für beser, bei hellem Verstande von Unglück

*«Для кого признание, или хвала,
воздаваемая добрыми добрым, есть благо:
для хвалящих или хвалимых?»*

СЕНЕКА

Публий Овидий НАЗОН (43 г. до н.э. – около 18 г. н.э.)

Перевод С. Шервинского

Ты*, что зовёшься отцом и правителем нашей отчизны,
С богом поступками будь, так же как именем, схож.
Ты ведь и делаешь так, и нет никого, кто умеет
Власти поводишь держать так же свободно как ты...
Всем моим сердцем тебе сочувствовал я, о великий!
Помыслы отдал тебе (большого дать я не мог).
Я желал, чтобы ты вознёсся к звёздам не скоро.
Был я песчинкой в толпе тех, кто о том же молил.

(Скорбные элегии. Книга II. Единственная элегия)

** Римский Император Цезарь Август (63 г. до н.э. – 14 г. н.э.)*

Перевод М. Гаспарова

В край, куда лишь с трудом доносятся южные ветры,
Ныне молва донеслась: Цезарь* справляет триумф...
Радости цезаря нам, как свои: в душе мы их делим;
Чуждого нам ничего в доме у Цезаря нет.
Благодаренье тебе я узнал, сколь много народов
В римские стены стекло для лицезренья вождя...

(Письма с Понта. Книга III. Германику Цезарю)

** Римский Император Тиберий (42 г. до н.э. – 37 г. н.э.)*

Ежели кто на земле доселе об изгнанном помнит
И пожелает узнать, как поживает Назон,
Вот мой ответ: от Цезарей – жизнь, а от Секста Помпея*
Счастье даруется мне: первый за ними он вслед.
Если решусь я обнять все мгновения горестной жизни,
То не в едином из них я без него не живу.

(Письма с Понта. Книга IV. 15. Сексту Помпею)

** Римский Консул Секст Помпей (68 г. до н.э. – 35г. до н.э.)*

Михаил Васильевич ЛОМОНОСОВ (1711-1765)

Подобен солнцу твой, Монархиня, восход,
Который осветил во тьме российский род;
Усердны пред тобой сердца мы отвержаем
И жертву верности нелестной изливаем...

*(Ода «На день восшествия на престол
Императрицы Елизаветы Петровны» 1741)*

Василий Иванович МАЙКОВ (1728-1778)

О ты, при токах Иппокрены
Парнасский сладостный певец,
Друг Талии и Мельпомены,
Театра русского отец,
Изобличитель злых пороков,
Расин* полночный, Сумароков!**

Твоей прелестной глас свирели,
Твоей приятной лиры глас
Моею мыслью овладели,
Пути являя на Парнас:
Твоим согласием пленяясь,
Пою и я, воспламеняясь.

(Ода о вкусе. 1776)

* Французский драматург Ж.Расин (1639-1699)

** Русский писатель А.П.Сумароков (1717-1777)

Николай Алексеевич НЕКРАСОВ (1821-1878)

Муравьеву *

Бокал заздравный поднимая,
Ещё раз выпить нам пора
Здоровье миротворца края...
Так много ж лет ему... Ура!
Пускай клеймят тебя позором
Надменный Запад и враги;
Ты мощен Руси приговором,
Её ты славу береги!
Мятеж прошёл, крамола ляжет,
В Литве и Жмуди мир взойдёт;
Тогда и самый враг твой скажет:
Велик твой подвиг... и вздохнёт.
Вздохнёт, что, ставши сумасбродом,
Забыв присягу, свой позор,
Затеял с доблестным народом

Поднять давно решённый спор.
Нет, не помогут им усилья
Подземных их крамольных сил.
Зри! Над тобой, простёрши крылья,
Парит Архангел Михаил! (1866)

**М.Н.Муравьёв (1796-1866) – генерал царской армии, руководивший подавлением восстания в Польше в 1866 году. Прозван «вешателем».*

Василий Васильевич СИПОВСКИЙ (1872-1930)

Пьесы императрицы Екатерины II показывают, как действительная жизнь вторглась на русскую сцену. Перед нами настоящие русские лица, русские интересы... Язык пьес... блещет яркостью красок, прозрачен до того, что легко вводит читателя в настроения, мысли и чувства действующих лиц.

(История русской словесности, 1908)

Максим ГОРЬКИЙ (1868-1936)

Если я вижу, что моему народу свойственно тяготение к равенству в ничтожестве, тяготение, исходящее из дрянненькой азиатской догадки: быть ничтожным – проще, легче, безответственной, – если я это вижу, я должен сказать это.

(1917 «Несвоевременные мысли»)

Классовая ненависть должна воспитываться именно на органическом отвращении к врагу, как существу низшего типа... Я совершенно убеждён, что враг действительно существо низшего типа, что это – дегенерат, вырожденец физически и «морально».

(Пол. собр. Соч. 25, 174)

Борьба с мелкими вредителями – сорняками и грызунами – научила ребят бороться и против крупных, двуногих. Здесь уместно напомнить подвиг пионера Павлика Морозова...

(Пол. собр. соч. 27, 115)

Николай ГУМИЛЁВ (1886-1921)

*...Ты – недвижна, ты – прекрасна в миртовом венце.
Я, целую свет небесный на твоём лице!*

(В.Брюсов «В склепе»)*

Здесь, в этом стихотворении брюсовская страстность... и брюсовская нежность, нежность почти девическая, которую всё радуется, всё томит... – эти две самые характерные особенности его творчества помогают ему создать образ... влюблённых.

** Русский поэт В.Я. Брюсов (1873-1924)*

В стихотворении «Гелиады» («Прозрачность») Вечеслав Ива-

нов*, поэт, своей солнечностью и чисто мужской силой столь отличной от лунной женственности Брюсова, даёт образ Фазтона.

** Русский поэт Веч. И. Иванов (1866-1949)*

И. Анненский* тоже могуч, но мощью не столько Мужской, сколько Человеческой. У него не чувство рождает мысль, как это вообще бывает у поэтов, а сама мысль крепнет настолько, что становится чувством, живым до боли даже.

** Русский поэт И.Ф. Анненский (1855-1909)*

...я скажу ещё о «Курантах Любви» Кузмина*... Стих льётся как струя густого, душистого и сладкого мёда, веришь, что только он – естественная форма человеческой речи, и разговор или прозаический отрывок кажутся чем-то страшным, как шёпот в тютчевскую ночь, как нечистое заклинание... так искусство, родившись от жизни, снова идёт к ней, но не как грошовый подёнщик, не как сварливая брюзга, а как равный к равному...

Русский поэт и композитор М. А. Кузмин (1866-1949)

(«Жизнь стиха», 1910)

Алексей Николаевич ТОЛСТОЙ (1882 - 1945)

В оборонных произведениях необходимо ставить темы большего размаха, темы, волнующие весь мир. ...Я хочу проиллюстрировать свою мысль конкретным примером. Когда я писал повесть «Хлеб»... чтобы заговорить о самом главном, нужно было поставить в произведении образы больших людей. Это было трудно. Но я увидел, что это возможно. И когда я «начал писать» Ленина, Сталина, Ворошилова, – я увидел, как большие идеи стали художественно-образными и самое главное стало укладываться в страницы повести.

(«О самом главном» 25.05. 38)

Искусство трудно. Искусство чёрт знает как трудно! И чем выше оно, тем труднее путь на его вершины. Итак, товарищи, продолжим самокритику, углубим её, выявим все болезненные, уродливые, антихудожественные элементы, которые нам навязали и которые мы сами приобрели «страха ради человеческого». Советское искусство – это источник, из которого жаждет пить человечество.

(14.05.37)

Лион ФЕЙХТВАНГЕР (1884 -1958)

Перевод А. Голембы

Он (Б. Брехт – ред.) – это поразительная смесь нежности и бесшабашности, неуклюжести и элегантности, взбалмошности и ло-

гичности, безудержной крикотни и тончайшей музыкальности... Он неприятен и привлекателен, весьма неважный писатель и великий поэт, и среди немцев младшего поколения он, несомненно, тот, в ком более всего признаков гениальности.

(О Бертольде Брехте. 1928)

Бертольд БРЕХТ (1898 -1956)

Перевод Е. Кацевой

Фейхтвангер один из моих учителей. От него я узнал, на какие эстетические законы я замахнулся, но он столь же терпим, сколь и образован... Такому скептику, как он, нелегко хвалить; ему приходится полностью перестраивать свой стиль. И как редко знаток древних культур способен оценить культуру новую! Для этого нужна была немалая смелость – не только интеллектуальная, а это тоже редкое качество в нашей литературе.

Бедняки и художники – за русских, ибо русские против бедности, а американцы против искусства и за прибыли.

Ошибки русских – это ошибки друзей, ошибки американцев – это ошибки врагов.

Особенно важными для современных литератур мне представляются ссылки на чудесные возможности, которые открывают применение материалистически-диалектических методов изображения действительности.

(О литературе. Худ. лит. 1977)

Пабло НЕРУДА (1904 -1973)

Перевод А. Голембы

Выделить какую-либо черту характера Ленина трудно, точнее невозможно. Ведь нельзя, например, по достоинству оценить красоту и величину алмаза, глядя только на одну из его граней. Ленин для меня – это нечто великое и цельное, не поддающееся ни микроскопическому, ни тем более, поверхностному анализу... В последнее время я вот уже в который раз перечитывал книгу В.И. Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». И тем не менее, открывая её, находил всё новые и новые строки, которые по-настоящему волновали меня... вы не замечаете, как летит время, и кажется, что перед вами не книга политического деятеля, а сборник вдохновенной поэзии. ...И мне хочется, чтобы везде и всюду коммунисты всего мира повторяли одну ленинскую мысль: «Нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата».

(10.3.1970 «Комсомольская Правда»)

Ernst JANDL / Эрнст ЯНДЛЬ

restaurant

bl1111111111111111mmmmmm
 mmm11111mm11111mmmmmm
 s--c--h c--h s--o--h c--h s-c--h c--h
 tsch
 pfffffffffp
 pfffffffffp
 b 11111mmmmmmmmmmmmrrrr
 ts
 ts
 gs-----c-----hbwwwww
 wwwwwws-----c-----hgb
 aabla
 gnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 gnnnk
 fffptst
 rrrrrdrrrrr
 bl11nnbnnnb1111nnbnnnb111nnbnnn
 oj
 g ptt g ptt g ptt
 fffffwwfffff
 11111t 11111t 11111t 11111t 11111t
 kc--h11
 aabla
 snnn snnn snnnksnnn
 111

flamingo

flam men
 in
 go home
 men only
 go home
 in
 flam men

harte vögel

```

      granit
    gragranitnit
  gragragranitnitnit
gragragragranitnitnitnitnit
gragragragragranitnitnitnitnitnit
gragragragragragranitnitnitnitnitnitnit
gragragragragragragranitnitnitnitnitnitnitnitnit
gragragragragragragragranitnitnitnitnitnitnitnitnitnit

```

reise

nach
nach
nach
nach
nach
nach
nach
nach
nach
nach
nach
nach
nach
nach
nach
nach
nach
nach
nach
nach
nach

bayayayayayayayayayayayayayayayayayayayern

[illegible]

film
film
film
film
film
fi m
f im
fi m
f im
f m
fl m
f im
f m
flim
flim
flim
flim
f lm
f lm
fl m
f lm
fl m
f m
f lm
fl m
f m
f lm
f m
fl m
f lm
fl m
fl m
fl m
fl m
fl m
flim
flim
flim
flim
flim
flim
f m
flim
f m
flim
flim
flim
flim
flim
flim
flim

Громко и Тиша

Перевод Анны Глазовой

(aus: "2 volkes stimme")
die mutter und das kind

üch
wüll
spülen
 spül düch
 meun künd

(aus: "3 krieg und so")
wie fast

wie fast
wie bitter
wie kaum
sollen wir aus anderen
sollen wir aus entfernten
sollen wir aus fremd
wie fast
wie bitter
wie kaum
können wir das alles überhaupt
können wir das alles unbesorgt
können wir das alles hier
wie fast
wie bitter
wie kaum
sind schon versamm
sind schon vollzähl
gehen schon
wie bitter
wie kaum

(aus: "11 bestiarius")
ernst jandls weihnachtslied

machet auf den türel
machet auf den türel
dann kann herein das herrel
dann kann herein das herrel
froe weihnacht
froe weihnacht
und ich bin nur ein hund
froe weihnacht
froe weihnacht
und ich bin nur ein hund

(из серии "2 голос народа")
мать и сын

йы
хычу
мыться
 мыйсё
 мый сын

из серии "3 война и так")
как почти

как почти
как горько
как чуть
можем мы из чуждых
можем из далёких
можем из не свой
как почти
как горько
как чуть
можем всё это вообще
можем всё это легко
можем всё это вот
как почти
как горько
как чуть
уже собрались
уже весь состав
идёт уже
как почти
как чуть

(из серии "11 зверинец")
новогодняя песня эрнста яндля

открывайте дверку
открывайте дверку
войдёт к вам человек
войдёт к вам человек
с новым годом
с новым годом
а я всего лишь пёс
с новым годом
с новым годом
а я всего лишь пёс

Лейла МАХАТ

* * *

Я иду к границе,
В надежде, что там мне будет лучше.
Будет светлее, просторнее и теплей.
Я иду с желанием оттолкнуться от камней ногами и полететь.
Чтобы вдохнуть полной грудью прохладный воздух
И подставить ветру лицо.
И ветви деревьев будут качать меня
И укрывать от солнца.
И люди будут улыбаться
И никто не будет плакать больше.
И не будет зла и зависти.
И не будет жестокости и насилия.
И единственная кровь, которая будет пролита на землю,
Будет каплями крови от отрезанной пуповины
Новорожденных младенцев.
Я иду к границе, в надежде, что там мне будет лучше.
А впрочем...
Будет ли?
Единственная граница, которая есть –
Это граница между реальным миром
И миром, который придумала я.
И она так размыта...

* * *

* * *

Если тебе не хватает красок,
Чтобы описать
Свои ощущения,
Надень черное.
Не ошибешься.
А если тебе грустно и пусто,
И описывать, собственно, нечего,
Надень белое.
Вдруг чем-либо испачкаешься.

У зависти нет границ.
У совершенства нет предела,
Где справедливость?
Человек
Ищет себе подобного,
Чтобы его переделать.
Где логика?

Leyla MAHAT

* * *

Ich gehe bis an die Grenze, in der Hoffnung,
dass es mir dort besser geht,
dass es dort heller, weiter und wärmer sei.
Ich gehe mit dem Wunsch,
mich mit den Füßen von der Erde abzustößen
und los zu fliegen,
die frische Luft in tiefen Zügen einzuatmen,
dem Wind mein Gesicht entgegenzustrecken.
Und die Äste der Bäume werden mich wiegen
und von der Sonne schützen.
Und die Menschen werden lächeln
und niemand wird mehr weinen.
Und das einzige Blut,
welches die Erde tränkt,
werden die Blutstropfen
der durchtrennten Nabelschnur des Neugeborenen sein.
Ich gehe bis an die Grenze,
in der Hoffnung, dass es mir dort besser geht.
Aber...
wird dem wirklich so sein?
Die einzige Grenze, die existiert,
ist die Grenze zwischen der realen Welt
und der von mir erdachten Welt.
Und diese ist so verschwommen...

* * *

Wenn Deine Farben nicht reichen,
um zu beschreiben,
was Du empfindest,
trag schwarz.
Damit kannst Du nicht irren.
Und wenn Du traurig und leer bist,
und es nichts zu beschreiben gibt,
trag weiss.
Kann sein, dass ein Klecks darauf fällt

* * *

Neid kennt keine Grenzen.
Vollkommenheit ist grenzenlos.
Ist das gerecht?

Der Mensch
sucht seinesgleichen,
um ihn umzuformen.
Ist das logisch?

* * *

Сплошной строкой,
Без знаков препинанья,
Я живу.

В сплошной игре
Призов и наказаний
Ты ведешь.

На линию сплошную,
Как на фундамент,
Я обопрюсь рукой.

Здесь будет
запятая,
Мой временный покой.

* * *

Если я в состоянии
Все это слушать,
Видеть и понимать,
Я должна лечь
И немедленно
Умереть!

Я ложусь.
Но почему-то не умирается.

* * *

Я должна быть
До боли чувствительной,
День и ночь будет ночью всегда.
Для меня

Много хуже чем черная
Только белая полоса.

По любви белый траур Дали.
Белый холст, перепачканный маслом.
Там где белое – нет любви,
Там где белое – все беспристрастно.

Я должна быть
До боли чувствительной.
День и ночь будет ночью всегда.
Мне пророчат великую женственность.
Я её обрету
И тогда.

Graziano MORETTO

* * *

La parte della parte
 che con alter parti
 fa parte della parte
 che con altre parti fa
 parte della parte del tutto
 che con altri tutto fa parte del tutto
 che fa parte d'altri tutto
 che son parte della parte
 che è parte del tutto

NOI diminuendo accelerando

PRINCIPIO

FINE

VUOTO

PIENO

LUCE

OMBRA

QUARK

COSMO

STELLA

PIANETA

PICCOLO

GRANDE

FUOCO

ACQUA

ARIA

TERRA

DONNA

UOMO

io e te

Separazione

Assopita nel presente intessuto
di meridiani e paralleli
la rete
elude spazi e ipotesi
—olistico—
punto di fuga
un bivio
e cedimento all'inerzia
il giorno abbandonato è vapore
in un limbo di distanze
immaginarie
la rete è l'infinitesimo punto della rete.

Pietra

Gravita sul sentiero srotolando foschia
la caduta pesante una legge
nel lago di carta il tonfo
colora la strada sdruciolata
nel pensiero solitaria intuizione
la pietra scivola
impresiosita
e la parola in un distillato
inconcepibile
immerge e rianima il raggio
nella forma
attimo d'un neurone
inerte ambra
per determinato sempre
su carta albero secolare
e in un cristallo di lettere
pietra.

Отчуждение

остывающего дня в паутине
меридианов и параллелей
в сети
заблудившегося пространства
-единство-
точки перспективы
уступающей
в дымном оцепенении
дорогу инерции
в едва различимых сумерках
тонущих
в бесконечной сети отчуждения.

Камень

с неуклюжей тяжестью катится
по бумажному озеру вспенивая
испаряющиеся следы глухое эхо
сбивает пульс и краски обжитой
улицы интуитивные попытки
ухватить скользящее слово
напрасны
оно ныряет на дно чтобы
возникнуть вновь
уже в янтарном свечении
и окольцовано
застыть в неприступной
строке
в буквенных кристаллах
камня.

* * *

La macchina in fuga
vuota
il verbo in prima persona
acefalo
i soli che ci scrutano
ciechi
e le stagioni si posano incoscienti
il fumo si alza
si é dissolto
Nessuno ed il suo bacio inconsistente.

* * *

Precessione

Materia nuda
Ferita nelle mani d'Orione
Precipita il globo
S'apre la notte di Sirio
-Il prisma pallido
Prossimo
Che sorride dei fremiti
Blu

* * *

Verso libero
tornado
gemito nello svolgersi
del rinvio

никто – уносящейся машины
пустота
обезглавливающий говорящего
глагол
слепота следящих за нами
светил
бездумность череды времён года
устремлённость вверх
исчезающего дыма
пустотный поцелуй пустоты – никто

Precessione

холодная нагота материи
в рваных руках Ориона
опрокидывает землю
в зимнюю ночь Сириуса
– сквозь бледную призму
приближается
трясущаяся от смеха
голубизна

свободный стих
штурм
воздыханий в беспамятстве
написанного

Леонид МАХЛИС

«ТАНГО» В АНГЛИЙСКОМ САДУ

Двадцать пять лет назад в центре Мюнхена прозвучал мощный взрыв, частично разрушивший здание «Радио Свобода/Радио Свободная Европа». Без малого сорок лет сотни журналистов американской радиостанции жили в условиях психологического и физического террора, чинимого КГБ, ибо что еще, кроме плаща и кинжала, мог предложить СССР своим западным оппонентам? Только избавившись в 1988 году от электронного кляпа, РС/РСЕ получили безоговорочное признание в странах вещания как институция, сыгравшая важную гуманистическую роль в формировании демократического сознания сотен миллионов человек. Своими мыслями делится бывший редактор Русской Службы Леонид Махлис, без малого четверть века проработавший на «Радио Свобода».

На войне как на войне

1 августа 1973 года я стал кадровым участником психологической войны. Понятие *психологической войны* – сравнительно новое, его первое определение зафиксировано в Словаре Уэбстера в 1951 году (*Webster's New International Dictionary of the English Language, Springfield, Mass., 1951*). На первых этапах она определялась как «применение любых нелетальных средств воздействия на мораль и поведение той или иной группы в специфических военных целях». Позднее эта дефиниция претерпела ряд последовательных изменений, главное из которых состояло в том, что из определения навсегда убрали привязку к (традиционной) войне. На деле это переосмысление подразумевало начало холодной войны, которую часто необоснованно отождествляют с ПВ: холодная война – это глобальная война между коммунизмом и свободным миром. Западных политиков этот термин раздражал. Англичане, которые считают себя непревзойденными мастерами этого жанра, предпочли заменить термин «политической войной». Но и многие американцы считали оба термина неудачными, поскольку они не отражают усилий США и их союзников, на-

правленных на построение мира и свободы во всем мире.

В советской доктрине ПВ (если такая вообще существовала) западные эксперты усматривали непостижимую мистическую тайну, нечто сродни пресловутой «загадочной русской душе». Русские, казалось, проявляли мало интереса и к западной доктрине ПВ. Для Запада ПВ – это война посредством слова. Для большевиков слово как средство борьбы за умы – пустой звук. ПВ для большевиков – это организационная война боевой партии, сочетающей в своей стратегии слово и дело, и понять ее методы можно, лишь памятуя о конечной цели – раздуть мировой пожар, а затем...

«Успех диктатуры пролетариата стал возможен, потому что большевики знали, как сочетать принуждение с убеждением...». СССР никогда не расставался с этим заветом Ильича. По откровенному замечанию Зиновьева, для большевиков пропаганда – это инструктаж.

Советы вообще не проводили четкой границы между политической активностью и военной. Они ведь не вступали в полемику с нами, не набрасывались на факты, на ошибки, не боролись за умы тех самых налогоплательщиков. Их участие в ПВ ограничивалось больше делом, чем словом: публикации были нацелены исключительно на лобовую дискредитацию противника, а внедрение агентов, вербовка сотрудников, распространение слухов, подбрасывание листовок, политические убийства, анонимные угрозы по телефону и организация терактов – все это не имеет отношения ни к пропаганде, ни к психологической войне как ее понимают американцы.

Далеко не все американские эксперты после войны понимали и осознавали это различие. Некоторые призывали отказаться от методов ПВ как «противоречащих американскому образу жизни, взятых из реквизита тоталитарных режимов». Их оппоненты уверяли, что сама «Декларация Независимости» была пропагандистским документом.

Искусство пропаганды не в распространении лжи, а в корректном отборе правды, которую ты хочешь донести, и в аккуратном смешивании ее с другими *правдами*, которые от тебя ждет слушатель-индивидуум. Индивидуализм – это первый акт неповиновения тоталитарному режиму, а человек, осознавший, что он имеет право на свое собственное мнение, – уже борец. В этом контексте радио – опасное изобретение. Это – детектор лжи. Я слышал, как один из старейших ветеранов «Свободы» режиссер Анатолий Васильевич Скаковский поучал диктора: «Вы знаете, голубчик, у микрофона должно быть больше тепла. Мы должны

быть гостем в доме слушателя, а не учителем». Его подопечный начинал модулировать своим красивым голосом, чтобы понравиться слушателям. Выходило совсем скверно – люди не всегда понимали, что слушатель ждет эмпатию, а не симпатию. В условиях отсутствия обратной связи человеку у микрофона следовало бороться со многими соблазнами. Он не должен переоценивать собственную миссию и недооценивать уровень восприимчивости слушателя. Необходимо было постоянно помнить о том, что слушатель привык жить в условиях недоверия и подозрительности ко всем и ко всему. Подходя к микрофону, журналист РС должен был помнить, что у слушателя есть более насущные повседневные проблемы, чем предлагаемая ему информация, как бы важна она ни была. Но самую серьезную психологическую проблему представляла собой традиционная подозрительность аудитории по отношению к эмиграции в целом. Советские СМИ десятилетиями не жалели усилий, чтобы вбить клин между соотечественниками «за рубежом» и «в рубежах». Навести мосты, заставить слушателя поверить в то, что человек у микрофона идентифицирует себя с этим слушателем и не меньше его заинтересован в лучшем будущем – этому журналистов не учили ни в американских, ни в советских университетах. Преодолеть этот барьер недоверия можно было только, заслужив репутацию честного и бесхитростного собеседника. А творческий коллектив РС никто не натаскивал по части методов пропаганды в условиях психологического и физического террора. Среди мюнхенских участников ПВ днем с огнем не сыскать было ни психологов, ни бойцов, обстреливающих словами врага, пока настоящие бойцы вышли перекусить. Сами до всего доходили.

Знакомый журналист «Голоса Америки» жаловался, что они парализованы географической удаленностью от аудитории: «Случалось, что журналисты не видели своей аудитории несколько лет». Что же о нас говорить? Мы работали без обратной связи десятилетиями. Если не считать обратной связью газетные пасквилы, вымазывавшие дегтем беспардонной лжи журналистов, не считаясь даже со здравым смыслом (автора этих строк, родившегося в 45 году в Москве и жившего там до 71, называли то *гестаповским выкорышом*, то *бывшим выпускником МГУ*, то *основоположником новой формации изменников*). «Компрогат» вызывал смех, но смех нервный. Вот от этого нерва и следует вести отсчет целям и методам противодействия, которые практиковали антисвободовцы на Лубянке.

Стремление КГБ и братских спецслужб к разрушению единственного канала неподцензурной информации и самиздата было всепоглощающим. В чем же таилась эта привлекательность РСЕ/РС для разведслужб империи зла? Советские публикации вызвали зубную боль своей похожестью друг на друга. Доверенным авторам оставляли место для фантазии лишь в рамках строго отобранной КГБ и обработанной информации (вернее сказать, дезинформации), так что их можно понять – основным руководством для журналистов были предыдущие публикации и словарь синонимов. Надо сказать, что и немцы, под влиянием левой прессы, высказывались не всегда лестно в адрес американской радиостанции, разбросавшей свои шатры у самой «Китайской башни» – любимого места летнего отдыха мюнхенцев в Английском саду. Репутация «шпионского гнезда» укреплялась с каждым годом. Люди не задумывались над тем, что у шпионов было куда больше причин гнездиться вокруг «Сименса» или БМВ. И в то же время, подобные предубеждения имели под собой почву.

Действительно, на первый взгляд, кажется нелепой засылка агентов на «Свободу», чтобы выкрадывать «секретные» документы. Все «секреты» этой организации утрачивали свою «секретность» через несколько минут после того, как выходили из пишущих машинок их авторов. Они попросту передавались дикторам, которые отправлялись в студию и делали их достоянием миллионов. И чем больше людей их услышит, тем эффективней считалась наша работа.

По данным отдела исследования аудитории середины 80-х годов около 11 миллионов советских граждан, по меньшей мере, раз в неделю слушали РС. Конечно, на Лубянке были цифры понадежней, где-где, а там-то уж знали подлинную цену статистике и эффективности западного вещания. Одними глушилками или, по официальной ведомственной терминологии, «средствами радиоподавления» тут не справишься. Кстати, о глушилках. По данным, опубликованным газетой «Таймс», СССР затрачивал в течение одной пятидневки на глушение западных радиостанций больше, чем английскому правительству обходилось вещание на русском языке в год. Американские эксперты подсчитали, что только в 80 году СССР в буквальном смысле выбросил на воздух 93 миллиона рублей. В середине восьмидесятых правительственная комиссия США даже рекомендовала создать экспертную группу для научной разработки техники антиглушения. Но и в

этом случае в работе РС оставались бы другие помехи, устранить которые была бессильна даже наука.

Разложить радиостанцию изнутри – вселить в людей страх, дискредитировать наиболее эффективных сотрудников по части их лояльности к администрации, посеять взаимное недоверие – в этом КГБ бесспорно достиг крупных успехов.

Впервые позывные РС прозвучали 1 марта 1953 года, по иронии судьбы, именно в тот день, когда роковой удар постиг вождя народов И.В. Сталина. Радиостанция была создана под эгидой ЦРУ и много лет существовала в основном на отчисления из бюджета американской разведки. Это обстоятельство в известной мере облегчало задачу советской контрпропаганды и внешней разведки. В 1971 году РС и РСЕ были официально объявлены частными корпорациями. Бюджет обеих станций с тех пор утверждается Конгрессом США, сотрудники де-факто получили статус государственных служащих США, возрос престиж станций, а общий тон вещания изменился в сторону объективности и сбалансированности информации. А после Хельсинкского совещания в 77 году Соединенные Штаты даже предложили Москве присылать своих журналистов для участия в программах РС и 1971 год был переломным для РС не только ввиду смены вывески на фасаде. С ржавым скрипом приподнялся железный занавес, из-за которого на Запад хлынул поток эмигрантов так называемой «третьей волны». Для американской администрации представилась уникальная возможность близко познакомиться с многолетними слушателями РС, а также омолодить штат русской и некоторых национальных редакций. До того кадровая политика была в известном смысле беспомощной, зажатой в прокрустовом ложе исторически сложившихся условий. Редакции и другие языковые службы были укомплектованы либо потомками эмигрантов времен Гражданской войны, либо бывшими советскими гражданами, бежавшими с немцами во время Второй мировой, либо бывшими военнопленными, оставшимися по разным причинам на Западе. Даже легкий акцент или косноязычие не всегда были препятствием для будущих дикторов. «У нас, знаете, тот, кто умел печатать на машинке, считался журналистом, а тот, у кого была своя машинка – уже писатель». – Пошучивал все тот же Анатолий Васильевич. Кадровый состав на первом этапе существования радио, бесспорно, влиял на ее популярность. Западное происхождение одних русских и коллаборационистское прошлое других делало РС легкой добычей советской пропаганды. С появлением первых ласточек «оттуда» в американское радиовещание на СССР пришли новые люди, новые идеи, новые темы. Мог ли в

этих условиях КГБ оставаться в стороне? Чем же промышляли его агенты на «Свободе»?

В 1972 году на РС появился высокий бритоголовый мужчина по имени Юрий Марин. За пять лет до этого, работая переводчиком в одном из советских представительств в Нью-Йорке, Марин попросил в США политическое убежище. За время работы диктором на РС Марин успел немного: женился на израильтянке, эмигрантке из Грузии, устроил десяток-другой шумных попоек, во время которых с увлечением щелкал затвором фотоаппарата «Киев». В день окончания своего медового месяца Марин загадочным образом исчез, доставив изрядное беспокойство покинутой жене. Ясность внесла телеграмма, полученная два дня спустя из... Будапешта. В ней говорилось: «Не пытайся меня разыскивать. Пришло время мне вернуться на родину к моей семье. Зайди на радио и получи мою зарплату за последний месяц». Вскоре в советских газетах стали появляться «разоблачительные» статьи «о подрывной деятельности РС» за подписью Марина, в которых Джеймс Бонд-многоженец был представлен как отважный разведчик, чуть ли не с риском для жизни выполнивший опасное задание родины.

Примерно в той же роли выступила Майя Гриневская. В отличие от Марина, она выехала в 72 году по израильской визе, пыталась устроиться на радио редактором, но не выдержала испытательного срока и была уволена за профнепригодность. После этого она стала активным деятелем т.н. «патриотического общества соотечественников» во Франкфурте, активность которого направлялась из Москвы. 2 февраля 1978 года в «Известиях» было помещено интервью с Гриневской, предваренное сообщением о том, что «учитывая ряд факторов и обстоятельств», семье Гриневских разрешили вернуться на родину.

Было ясно, что КГБ будет и впредь стремиться внедрять своих людей на РС. Должен же кто-то добывать для советских журналистов пикантные подробности о личной жизни сотрудников, разжигать межнациональные страсти, сеять нарушающие душевное равновесие слухи до тех пор, пока не поручат

Настоящее дело

В субботу, 21 февраля 1981 года, в 21 час 55 минут обширный жилой район, прилегающий к западной части Английского сада – огромного городского парка в Мюнхене – потряс мощный взрыв. Взрывная волна, выбившая стекла домов в радиусе 700 метров, разрушила значительную часть здания, которое занимали

РС/РСЕ. Подойти к зданию в те годы ничего не стоило – не было никаких заборов, внешней охраны и видеокамер наружного наблюдения, не было пресловутой колючей проволоки. Только что назначенный на должность офицер службы безопасности Ричард Каммингс (прозванный после взрыва «безопасным офицером») был озадачен тем, что даже наружное освещение здания обеспечивалось всего тремя лампами по 50 ватт каждая. Его любопытство по этому поводу было сполна удовлетворено: внешнее освещение, в соответствии с немецким *орднунгом*, «не должно беспокоить жителей близлежащих домов». Обязанности двух вахтеров были четко разграничены – один отвечал за соблюдение правил парковки автомобилей на территории Радио, второй каждые 18 минут совершал обход здания. Такой режим «охраны» делал задачу террористов детской игрой в казаки-разбойники. Заложенный со стороны фасада 20-килограммовый заряд взрывчатки почти полностью разрушил помещения чехословацкой, русской, грузинской редакций, телефонный узел и мастерские радиоэлектронного оборудования. В момент взрыва в здании, вмещающем в обычные рабочие часы около тысячи человек, находились не более 30 служащих. Только это спасло от неминуемой гибели десятки невинных людей. Результат – 4 сотрудника получили ранения (двое остались инвалидами), осколками стекла были ранены несколько жителей близлежащих домов. Материальный ущерб – более 2 млн. долларов.

Ни одна террористическая группировка не заявила о своей причастности к диверсии, если не считать несколько телефонных звонков в русский (?) отдел новостей с дополнительными угрозами. Анонимы говорили по-немецки с сильным славянским акцентом.

Передачи прерваны не были. На следующий день все служащие явились на работу, как обычно. Их взору открылась жуткая картина. Люди молча перебирали остатки уцелевшего имущества и архивов в своих бывших кабинетах, извлекая из-под груды битого стекла и штукатурки книги и магнитофонные ленты. Кино- и телерепортеры деловито перетаскивали съемочную аппаратуру из комнаты в комнату, осматривая рухнувшие перекрытия. Работа редакций пошла, однако, своим обычным порядком, несмотря на неудобства, связанные с перенаселением уцелевших рабочих помещений, отсутствием телефонной связи, холодом из-за вырванных с корнем оконных рам, нехваткой оборудования.

Прибывшая на место группа экспертов из 38 человек смогла лишь установить, что это дело работы рук профессионалов, а не любителей. Первое осторожное заключение баварской крими-

нальной полиции звучало так: «Мы допускаем, что нападение было совершено иностранными агентами». Затем появились сообщения о румынском следе, чешском. После долгой охоты был схвачен Карлос, звезда международного терроризма, которому в числе прочего вменяли в вину роль исполнителя этого злодеяния. Иное мнение на этот счет иезуитски пыталась навязать советская пресса. Среди первых откликов международной печати промелькнуло сообщение ТАСС. В нем утверждалось, что мюнхенский взрыв был устроен... самими служащими радиостанции, сводившими между собой счеты.

С тех пор пройдет много лет, прежде, чем созреть окончательная версия преступления.

Операция «Мюнхенское танго»*

Адскую машину, установленную у внешней стены здания РС/РСЕ испанским террористом из организации баскских сепаратистов ЭТА, привел в действие с помощью дистанционного управления швейцарец Бруно Бреге. Головорезу не было и двадцати, когда в 1970 году израильский суд приговорил его к 15 годам заключения за попытку провезти в страну взрывчатку для палестинских террористов. Этот фанатик, член швейцарской террористической организации «Prima Linea» («Линия фронта») по кличке Лука, обогатившись за время отсидки приличным ивритом, был досрочно освобожден в 78 году, но лишь для того, чтобы пополнить ряды международной террористической банды венесуэльца «Шакала Карлоса» (Ильич Рамирес Санчес). Впрочем, происхождение действующих лиц не имело никакого значения – это был подлинный интернационал – в осуществлении кровавого замысла участвовали также баски, активисты итальянских Красных бригад, Народного фронта освобождения Палестины, немецких «Революционных ячеек», и другие. Рабочим языком был, как и полагается, английский. На этом языке и прошло 14 ноября 1980 года секретное совещание-инструктаж боевой группы в Будапеште, который Ильич избрал в качестве своей оперативной базы. Между прочим, сохранилась двухминутная видеозапись, на которой Карлос вполне лихо объясняется по-русски с гостеприимными венгерскими хозяевами. Выбор, по

* В этой главе использованы следующие источники: Patrick Bellamy. Carlos the Jackal: Trail of Terror, Crime Library (http://www.crimelibrary.com/terrorists_spies/terrorists/jackal/15.html); Richard Cummings. The 1981 Bombing Of RFE/RL (<http://is.ci-ce-et.com:85/article/showquestion.asp?faq=3&fldAuto=807>); Colin Smith. Extracts of Carlos – Portrait of a Terrorist. (http://www.colin-smith.info/pages/books/extracts/carlos/extract_03.htm) и др.

данным секретных документов «Штази» (в ГДР группа Шакала проходила под собственным кодовым названием – «Сепарат»), был мотивирован «благоприятными условиями связи, либеральным пограничным контролем, дружескими отношениями с министерством иностранных дел и другими правительственными организациями». Эти «дружеские отношения» трудно было переоценить – венгерская служба безопасности (в службу и в дружбу) любезно предоставила для тайного совещания надежный дом с охраной.

К этому моменту уже было проведено предварительное наблюдение за зданием мюнхенского радио. Результаты наблюдения в виде нескольких фильмов и десятков фотографий были продемонстрированы участникам акции. Из отчетов следовало, что в 9 часов вечера в помещении продолжают работу около 20% служащих, то есть не менее 200 человек. К счастью, эта оценка была завышена в 7 раз.

Немецкое крыло группы «Сепарат» (Карлос предпочитал величать ее «Организация арабской вооруженной борьбы – десница арабской революции») было представлено боевой и (по совместительству) интимной подругой Шакала Магдаленой Копп (кличка «Лилли»), экспертом по поддельным документам, и адвокатом из Франкфурта Йоханнесом Вайнрихом по кличке «Стив», координировавшим работу 40 европейских боевиков Карлоса. Вайнрих успел засветиться еще в 1974 году, когда он арендовал в Париже автомобиль, который был использован в ракетном обстреле пассажирского самолета Эль-Аль в аэропорту Орли. Конспекты будапештского совещания, сделанные рукой Вайнриха и осевшие в архивах Штази, и позволили реконструировать дальнейшие события. Сразу по окончании совещания группе предписывалось отправиться к месту операции и дожидаться доставки взрывчатки, оружия и прочего необходимого снаряжения, продолжая наблюдение за объектом. Карлос приказал группе провести под руководством Стива репетицию теракта, а сам отправился в Бухарест, откуда вскоре в распоряжение банды поступила взрывчатка, 8 переговорных устройств, 9 пистолетов, в том числе два с глушителями, и пять гранат на случай, если группе придется после завершения операции отбиваться от мюнхенской полиции. Подарки были доставлены сотрудником румынской госбезопасности по кличке Андре.

Дата операции была назначена на 14 февраля. По невыясненным причинам, позднее она была передвинута на две недели.

Скрываясь после теракта, террористы бросили в 200 метрах от радиостанции легковой *форд* с французскими номерами. Только

через несколько месяцев полиция вскрыла машину и обнаружила в ней пять ручных гранат.

После взрыва Стив позвонил Шакалу и Лилли, чтобы рапортовать об успехе операции. Примечательно, что, получив сообщение, Карлос немедленно вылетел с докладом в Бухарест, где, согласно материалам Штази, принял поздравления от высших чинов румынской разведки. Это наводило на мысль о том, что именно Чаушеску был непосредственным клиентом Карлоса. При том, что все без исключения режимы, сплотившиеся вокруг Варшавского договора, в одинаковой мере страдали от информационной войны на коротких волнах, тщеславный Чаушеску был наиболее уязвим. Что же касается роли спецслужб остальных соцстран, то здесь сведения остаются размытыми. В секретном докладе Штази от 28 апреля 1981 года в связи с арестом в ФРГ другого швейцарского террориста говорилось: «...Он осведомлен о подготовке и реализации нападения на Радио Свободная Европа. Если он проболтается... соцстраны окажутся перед лицом большой опасности». А в мае последовали экстренные многосторонние консультации между братскими спецслужбами на высоком уровне и совместное решение «убедить» Карлоса переместить место своего базирования подальше от Восточной Европы, например, на Кубу. При этом ему гарантировалась возможность ре-экспорта своего арсенала и неограниченного транзита. Дело выглядело так, что КГБ и его братья по лагерю стремились сохранить с Шакалом «связь без брака». По крайней мере, один из офицеров этих служб был уличен в прямом сотрудничестве с Карлосом при подготовке взрыва на РС/РСЕ и впоследствии понес наказание. Участник упомянутой консультативной встречи восточно-германский генерал-майор Гельмут Фойгт, начальник отдела Штази, ответственного за «терроризм», после падения Берлинской стены ушел в подполье, и в 1992 году был обнаружен и арестован в Греции. В 1994 году он предстал перед судом ФРГ. Бывший генерал внешней разведки КГБ Олег Калугин хвастал, что он был архитектором этой операции. (Примечательно, что в 90-е годы «демократ» Калугин не раз и не два был почетным гостем РС и даже участвовал, по приглашению руководства РС/РСЕ, в праздновании 40-летия радиостанции в Центральном доме литераторов в Москве).

«Вам посылка из Шанхая»

После террористического нападения на штаб-квартиру РС/РСЕ в жизни радиостанций начался новый этап, полный тревог и размышлений. Психологи утверждают, что не существует

прививки от панической реакции - страха. История кишит примерами больших и малых побед, достигнутых лишь благодаря искусному применению этого оружия. Что уж говорить о мирных интеллигентах, «свивших свое гнездо под теплым крылышком ЦРУ»? Практика – критерий истины. После такой артподготовки и дела с персональной агентурной разработкой должны были пойти на лад.

Вербовочные методы в отношении сотрудников «Свободы» были традиционными, применялись часто, хотя многие кандидаты на разработку, по вполне понятным причинам, предпочитали об этом помалкивать. В общих чертах это происходило так. В качестве первого шага применялись вербовочные письма от родственников или близких знакомых. Родственники сообщали, что у них есть возможность выехать за границу, и договаривались о встрече. В нужный момент к семейному торжеству присоединялся другой участник туристической группы, который и излагал суть дела. Случалось (при индивидуальной поездке), что деловая часть поручалась непосредственно родственнику.

В начале 80-х невозвращенцу АА, работавшему редактором на РС, позвонила сестра. Ее «посылали» в Вену на международную конференцию. Она была взволнована представившейся возможностью впервые за много лет увидеть брата. Назвала гостиницу и время, когда она будет его ждать в ресторане. АА понимал, что эта встреча с сестрой может стать последней, поэтому отказаться не мог и не хотел, хотя догадывался, что за ней могут стоять сюрпризы. АА попросил коллегу ЖБ сопровождать его в Вену и во время встречи находиться поблизости, наблюдая со стороны за развитием событий. Предчувствие не обмануло АА. Через несколько минут после встречи с сестрой за их столик подсел молодой человек. Сестра представила его как участника конференции по имени Гена, у которого есть вопросы к брату. Разговор был недолгим, но весьма конкретным. Гена от имени компетентных органов предложил АА прощение всех грехов, если АА примет предложение о сотрудничестве. АА отказался от продолжения беседы и стал спешно прощаться с сестрой. Перед его уходом Гена успел добавить, что в таком случае АА должен сменить работу, если ему не безразлична собственная судьба. АА принял угрозу всерьез и через некоторое время подал заявление об увольнении. Этот сценарий с небольшими вариациями я слышал от нескольких сотрудников «Свободы».

С одним из них я был дружен многие годы, но только совсем недавно он признался, что у него было несколько встреч с агентами КГБ. Его мама, жившая в одной из союзных республик, на-

значила ему встречу в Восточном Берлине. В то время мой приятель работал на РС внештатно и поэтому не был, как мы, стеснен обязательством не пересекать границ стран Варшавского договора из соображений собственной безопасности. Мама оказалась весьма ценным посредником. Она поведала ему, что перед отъездом с ней долго разговаривали в органах и просили уговорить сына «подумать о старых родителях», и со слезами на глазах умоляла сына прислушаться «к здравому смыслу» и согласиться на сотрудничество. Сын прислушался, и следующая встреча с мамой проходила уже в Варшаве в присутствии новых «членов семьи». Новые знакомые были прекрасно информированы о нашей с ним дружбе, поэтому для начала попросили ответить на ряд вопросов о моей жизни, о семье, о передвижениях, отношениях с коллегами. (В этом месте повествования приятель наивно успокоил меня, что он не сказал обо мне ни одного худого слова). Затем ему поручили время от времени присылать по определенному адресу художественные открытки. Текст не имел никакого значения. Информация обо мне, которая их интересует, должна быть закодирована в художественной тематике самих открыток – трафаретные приветствия ко дню рождения, годовщине свадьбы. Например, розы означали изменение в моем отношении к приятелю, подозрительность и дистанцирование. Изображение архитектурных достопримечательностей Мюнхена – длительный отпуск и т.д. Нетленная техника связи, разработанная и использованная еще жившими в эмиграции эсерами.

Да что уж там – сам шеф службы безопасности РС/РСЕ Ричард Каммингс жаловался, что за 15 лет работы на радио под него 8 раз подбивали клинья с целью вербовки.

Да и мне пришлось испытать давление вербовщиков. Это было в 1975 году. Мой отец, никогда не покидавший СССР, подал прошение о частной поездке к сыну в ФРГ. Его пригласили в московский ОВИР, завели в укромный кабинет. Человек, с которым шла беседа, представился полковником КГБ из подразделения, ведающего делами Радио Свобода.

– Мы знаем все о вашем сыне. Мы знаем, что сейчас он работает на РС, знаем, что его весьма ценит начальство. Мы готовы дать вам возможность повидаться с сыном, но и вы должны нам помочь. Вам следует уговорить его на сотрудничество с нами. Объясните ему, что это и в его и в ваших интересах. Если он согласится, мы организуем для него встречу с нашими людьми в какой-нибудь нейтральной стране, например, в Вене, и от них он получит дальнейшие инструкции. Согласны?

– Я готов ему передать ваши слова, но не могу поручиться,

что они его вдохновят.

– А вот это уже ваша задача – убедить сына в том, что такое сотрудничество в интересах его и вашей безопасности.

– Вы хотите сказать, что его отказ повлечет...

– Нет, нет, – успокоил собеседника полковник. – Вы не совсем правильно меня поняли. Мы никому не угрожаем. Это не наши методы. Наша задача – убеждать, воспитывать, помогать. Ну, а если он откажется – насильно мил не будешь – посоветуйте ему уйти с работы и подыскать что-нибудь другое. Поверьте, Радио «Свобода» – не самое безопасное место работы.

Отец гостил у меня две недели. Наша следующая встреча с ним состоялась в 1989 году. Отныне его ежегодные прошения о встрече с детьми отправлялись в корзину. Мои посылки и письма часто не доходили. Несговорчивость была наказана 14 годами без права переписки.

Слухи

Слухи – потенциально полезное психологическое оружие, поскольку их источник остается невыясненным и они не оставляют письменных свидетельств. Кроме того, они не нуждаются в формальной системе коммуникации для своего распространения. Достаточно непосредственного дружеского общения в атмосфере взаимного доверия. Особенно подходит для использования в примитивной среде. Немцы активно пользовались этим методом через агентов влияния во время войны.

На РС слухи использовались в основном для дискредитации эффективных сотрудников. Слухи о предстоящей смене начальства и закрытии вещания – *самое то*. Они вызывали бурные и продолжительные дебаты и шептание по углам. Агентов-шептунов, разумеется, за руку нехватишь.

Слухи живут недолго, и об их эффективности судить трудно. Но задача реалистична – замедлить рабочий процесс, возбудить подозрительность, страх за свое рабочее место и годами отстраиваемую нишу, неуверенность в завтрашнем дне.

Шептунами оказываются самые неожиданные люди. Они включаются в «шептунскую» кампанию с полуоборота из добрых побуждений или от переизбытка «информации». Слухами люди питаются, и как любой продукт, пропущенный через тело, они рвутся наружу. Слухи будят фантазию, обрастают подробностями и начинают жить своей жизнью. Так, едва ступив на РС, я узнал, что руками советских агентов в кресла нежелательных сотрудников зашивается кусочек радиоактивного кобальта. Глядишь – че-

рез несколько месяцев еще вчера цветущий человек умирает от рака. Я узнал об этих кошмарах от добрейшей ЗВ. Она сообщала мне об этом таким спокойным и тихим, материнским голосом без всякой аффектации, что ей невозможно было не верить. Все последующие годы, подходя к своему столу, я невольно задерживал взгляд на стуле, прежде чем приблизиться к рабочему месту.

Ее муж АМ, бывший политзэк с 15-летним стажем, при каждой встрече зажимал меня в угол и призывал к бдительности. Он по-отечески учил меня распознавать агентов. Его метод был прост, как репа, – «все шпионы – педерасты и все педерасты – шпионы».

– Ты учти, что резидентура всех стран комплектуется из гомиков, потому что они ведут замкнутый образ жизни и вызывают меньше подозрения.

Он говорил внятно, часто поглядывая по сторонам, и ссылаясь на авторитетные источники (журналист все-таки). И вот я уже присматриваюсь к коллегам с иной сексуальной ориентацией и нахожу, что АМ, пожалуй, дело говорит.

Интересно отметить, что даже побег провалившегося агента КГБ Олега Туманова в феврале 1986 года был использован для нагнетания слухов. Покинув *кантину*, где бурлили страсти и перемалывалась сенсационная новость, натыкаюсь на группу возбужденных женщин. Коридор заполняет театрально-неторопливый, барский голос режиссера ВД:

– А я вам говорю, что никуда он не сбежал. Все это выдумки и небезобидные. Убили его, нашего Олежка. Я знаю из верных источников.

Стараюсь пройти мимо незамеченным, проскользнуть тенью, чтобы не спугнуть Мысль.

– Что «кто»? Словно, сами не знаете. Третьеволновики, конечно. Он у них давно поперек горла. И это только начало, нас всех теперь это ждет, если ничего не предпринять. «Третьеволновики» – это – эвфемизм для евреев «третьей волны» эмиграции. Это я убил Олежка. Оборачиваюсь, пораженный, и встречаю решительный, глубокопатриотичный взгляд ВД – «подождите, за все, мол, ответите...»

Наглядная агитация

Время от времени в коридорах «Свободы» можно было услышать шелест листовок. В отличие от слухов, подбрасываемые агитки были ближе к традиционным средствам пропаганды, точ-

нее, к «разделительной» пропаганде, поскольку

1. ее можно было анализировать
2. в ней четко обозначен объект, которому надо внушить чувство неуверенности (чаще – евреи или те, кому приписывали принадлежность к евреям, иногда били и по своим, что придавало анонимке пикантность).
3. она должна была напомнить о чаяниях определенной группы сотрудников (обычно патриоты, обеспокоенные «засильем» «третьеволновиков»)
4. она рассчитана на углубление трещины между определенными группами сотрудников.

Листовка всегда чудовищно безграмотна. Но пользуется успехом – всем интересно. У копировальной машины выстраивается очередь. Однажды я провел следственный эксперимент. Было интересно, с какой скоростью распространяется слово. Я спародировал подброшенную накануне погромную листовку – она вызывала особое вдохновение. Получилось смешно. Уходя с работы, я оставил один единственный экземпляр на рабочем столе ВФ, в чувстве юмора которого я не сомневался. На следующее утро я нашел копию на своем столе, а в *кантине*, за утренним кофе люди уже покатывались со смеху. Включая тех, чьи интересы «защищал» оригинал, о котором вообще забыли. Выходка анонимщика была нейтрализована. Это навело на мысль о том, как надо впредь поступать с наглядной агитацией. Правда, мешало чувство брезгливости и полное отсутствие способностей к рисованию – ведь большинство листовок – карикатуры. В конце дня меня позвал в кабинет директор русской службы Герд фон Дёминг. Давясь от смеха, он показал мне мое творение: - Слушай, я не знаю, кто это сделал, но если ты узнаешь, передай ему, что это просто талантливо.

Стало быть, меня вычислили. Получается, что зря мы посмеивались над отделом безопасности, переименовав его в «безопасный отдел».

Оковы рухнут и...

Прошли годы. Побег Туманова с «боевого поста» в 86 году послужил озонатором рабочей атмосферы РС и как бы символизировал наступление новой эпохи в процессе международного обмена информацией. В 88 году смолкли глушилки. Не дожидаясь указаний сверху, к РС потянулись люди с неподдельными советскими паспортами – писатели, историки, журналисты, политики. В их багаже были не симпатические чернила, не ризин, не

бомбы, не пасквили. Они еще выделялись напряженными спинами в толпе туристов, прислушивающихся к звукам «Гибели богов» Вагнера на площади ратуши, но еще немного – и они сольются с европейским ландшафтом, чтобы окончательно рассеять заблуждение Антона Павловича Чехова, уверявшего, что «русский за границей – если не шпион, то дурак». Этим людям было, что сказать, а нам было, что послушать. В передачах РС зазвучали новые голоса. Счет добровольным сотрудникам РС по Союзу шел на десятки. Мой рабочий день теперь начинался не с коридорных и *кантинных* слухов, насаждаемых шептунами, о прекращении финансирования вещания, а с конструктивных телефонных «планерок» с московскими, ленинградскими, минскими корреспондентами Радио Свобода. Я начал подумывать о поездке в Москву. 20 лет работы с микрофоном без обратной связи – аномалия, которая ведет к изменению личности и к безответственности.

Такой шанс представился весной 1990 года. Приглашающей стороной был Союз композиторов СССР, с которым я договорился о публикации в Москве в рамках культурного обмена воспоминаний известного тенора Михаила Александровича. В советском консульстве приняли анкету «радиодиверсанта», и вскоре пришел ответ:

– Ваше имя – на списке нежелательных лиц. Мы ничем не можем помочь.

Я сообщил моим партнерам по культурному обмену об отказе. Те обратились в министерство культуры, министерство – в консульский отдел МИДа, откуда пришел телекс с указанием выдать визу «в виде исключения».

18 апреля, «расправившись круто с таможей», я благополучно добрался до гостиницы. У входа меня ждал сюрприз. На огромном стенде красовалась афиша Большого концертного зала Олимпийской деревни: «АНТЕННЫ НАПРАВЛЕНЫ НА ВОСТОК. Радиостанция «Свобода» - наши в эфире». Не пригрезилось ли? Звоню моему новому другу священнику Марку Смирнову, который к этому времени уже был одним из ведущих авторов наших религиозных программ. Тот смеется: – Да, представь себе, времена быстро меняются.

Мы договариваемся о встрече и едем в Олимпийскую деревню, где отец Марк представляет меня народному депутату СССР Юрию Черниченко и организатору вечера журналисту Феликсу Медведеву.

– Ваш приезд как нельзя кстати. – Говорит Медведев, пожимая руку. – Если вы не возражаете, я включаю в программу ваше вы-

ступление.

Я возражал – дело щепетильное, я – хоть и штатный редактор, но в Москве нахожусь с частным визитом, да к тому же – «персона нон грата», и представлять здесь американскую корпорацию без специальных на то полномочий мне казалось неэтичным. Предпочитаю расположиться не на сцене, а в зале среди полутора тысяч зрителей. Но и как зрителю мне понадобилось немало усилий, чтобы окончательно поверить в то, что все происходящее имеет ко мне прямое отношение.

При всех лестных эпитетах, которые прозвучали в тот вечер в адрес РС, было бы ошибкой представлять себе это событие лишь как череду запоздалых покаянных исповедей тех, кто долгие годы смиренно выслушивал потоки лжи и грязи в наш адрес. Это был политический форум на тему свободы (с кавычками и без). Запомнились наполненные болью слова Черниченко о том, что с русских равнин никогда не придет в Европу кризис перепроизводства. «У нас всегда будет чего-нибудь не хватать, – сказал он, – сейчас не хватает свободы». Зрители атаковали в своих записках организаторов упреками в том, что на вечере нет ни одного штатного сотрудника РС. Вообще интерес к собирательному образу сотрудника «Свободы» в записках перекрывал остальные вопросы. Кто они – «ангелы», радеющие о счастье соотечественников, или озлобленные антисоветчики, изменники, пауки в банке? И когда Медведев, не выдержав натиска, «сдал» меня на растерзание публики, люди радушно и искренне, вполне по-земному приветствовали «живого марсианина» аплодисментами, которые стихли только, когда я поднялся к микрофону. Пришлось заступиться за честь устроителей вечера, сказав, что винить надо не их, а те ведомства, которые по-прежнему стоят на пути нормальных человеческих контактов.

Я как уникальные реликвии храню многие из присланных мне в тот вечер записок. Самая короткая из них, увы, неподписанная, заполнила, наконец, тот пробел в обратной связи, который так мешал мне жить все эти годы, и дорисовала собирательный образ моего слушателя: «Разрешите пожать Вашу руку».

В тот приезд было много рукопожатий. Через полгода Феликс Медведев сообщил мне о подготовке второго вечера с тем же названием во Всесоюзном доме композиторов 26 октября 1990 года и, вероятно, в знак признательности за мое заступничество, предложил стать его со-ведущим. Я согласился. Были распространены пригласительные билеты и расклеены афиши. Но на этот раз заступиться за устроителей было некому. В визе мне снова отказали – «вы на списке».

«КГБ СССР возражений не имеет...»

Весной 1991 года в результате ходатайства издательства «Прогресс» после очередного отказа я получаю визу (по телексу с уже знакомым текстом «выдать в виде исключения»). Летом пришло новое приглашение. На этот раз – от Верховного Совета для участия в Первом Конгрессе соотечественников. Но для «компетентных органов» и парламент – не указ. «Вы на списке» – услышал я до боли знакомый ответ в консульстве. Но времена действительно менялись, хотя не так быстро, как этого хотелось бы. Михаил Толстой, депутат ВС и председатель оргкомитета Конгресса соотечественников, попросил вмешаться в произвол «компетентных органов» председателя Комитета по международным делам ВС В.П.Лукина, который направил соответствующий депутатский запрос напрямую председателю КГБ В.В. Бакаину. Вскоре для меня было сделано новое исключение, и 18 августа, за несколько часов до путча, я приземлился в Шереметьево.

Спустя 2 месяца после моего благополучного возвращения в Мюнхен Лукин получил ответ на свой запрос, копию которого тут же отправил мне факсом. Документ этот, подписанный первым замом Председателя КГБ СССР А.Олейниковым, в надлежащем оформлении по сей день висит на стене моего кабинета:

«Уважаемый Владимир Петрович!

На Ваш запрос в отношении сотрудника радиостанции «Свобода» Махлиса Л.С. сообщаем, что КГБ СССР не имеет возражений против посещений им нашей страны.

Соответствующее уведомление направлено в Консульское управление Министерства внешних сношений СССР».

Примечательно, что эта охранная грамота ошибочно датирована 1992 годом. Но жить КГБ оставалось всего 11 дней. 3 декабря 1991г. Президент СССР М.С. Горбачев подписал Закон "О реорганизации органов государственной безопасности".

Мюнхен,
май, 2006

Михаил Генин (1927 – 2003) – писатель, музыкант. Окончил философский факультет МГУ и Музыкальное училище им. Гнесиных. Один из постоянных авторов «Клуба 12 стульев» в «Литературной газете», неоднократный участник телепередачи «Вокруг смеха». Сборник его афоризмов «Невечные мысли» переведён на немецкий и издан в Германии. Имя популярного писателя включено во многие антологии мировой афористики.

Michail Genin (1927 – 2003) – *bekannter russischer Schriftsteller. Studierte Philosophie und Musik in Moskau. Veröffentlichungen in internationalen Anthologien und Zeitschriften.*

Наталия Генина – поэт, переводчик, журналистка, педагог. Окончила филологический факультет Московского Педагогического института. Автор нескольких книг стихов и поэтических переводов. Многочисленные публикации в России и Германии. Живёт в Мюнхене.

Владимир Генин – композитор. Окончил Московскую консерваторию, член Союза композиторов России. Автор ряда камерных, хоровых и симфонических произведений, исполняющихся в России, Европе, США и изданных на CD фирмами «Мелодия», «RCD» и «Sonoton». Автор музыки к кинофильму "Der Brief des Kosmonauten" (2001). Живет в Мюнхене.

Анна Глазова – поэт, переводчик, исследователь в области сравнительного литературоведения. Образование в Москве и Берлине. Живёт в США.

Anna Glazova – *Dichterin, Übersetzerin. Ausbildung in Moskau und Berlin. Lebt in USA.*

Семён Гурарий – музыкант, писатель. Образование в консерваториях Казани и Москвы, закончил также Литинститут. Автор пьес, телеспектаклей, либретто, перфоманс. Публикации поэзии, прозы, эссе в различных странах. Инициатор и художественный руководитель фестивалей искусств. Живёт в Мюнхене.

Simon Gourari – *Musiker, Schriftsteller. Studierte Klavier und Literatur in Kazan und Moskau. Veröffentlichungen und gespielte Theaterstücke. Gründer Kunstfestivals in Russland und Deutschland. Lebt in München.*

Олег Дробитко – художник, скульптор. Окончил Московский институт им. Строганова. Член Московского союза художников. Много-

численные персональные и групповые выставки в России, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Швейцарии, Испании, Кубе, США и др. Живёт в Мюнхене.

Oleg Drobitchko – *Maler, Bildhauer. Studierte an der Stroganov-Kunstakademie Moskau. Zahlreiche Ausstellungen in Europa und Amerika. Lebt in München.*

Василий Кандинский (1866 – 1944) – великий художник, драматург, теоретик искусства.

Vassily Kandinsky (1866 – 1944) – *großer russischer Maler.*

Елена Кацюба – поэтесса, журналистка, редактор. Закончила журналистский факультет КГУ. Член Союза писателей России, член ПЕН-клуба, одна из основательниц общества ДООС во главе с К. Кедровым, телевизионный обозреватель газеты «Новые Известия», ответственный секретарь «Журнала ПОэтов». Автор поэтических книг и первых «Палиндромических словарей современного русского языка». Живёт в Москве.

Константин Кедров – поэт, журналист, писатель, философ. Кандидат филологии, Доктор философии, член ПЕН-клуба, член Союза писателей России, Президент русской ассоциации поэтов под эгидой FIPA (UNESCO), Лауреат премии GRAMMY, литературный обозреватель газеты «Известия», затем «Новых Известий», главный редактор издания «Журнал ПОэтов» и газеты «ПОэзия». В 2003 году был номинирован на Нобелевскую премию. Глава поэтической школы МЕТА-МЕТАФОРЫ. Автор множества поэтических сборников, книг о поэзии, пьес, философских работ. Живёт в Москве.

Аркадий Кленов – искусствовед, эссеист, скульптор. Автор многочисленных книг и публикаций в России и других странах. Живёт в Мюнхене.

Arkadi Klenov – *Kunstkritiker. Veröffentlichungen in internationalen Anthologien und Zeitschriften. Lebt in München.*

Игнатий-Андрей Крекшин – философ, переводчик. Окончил исторический факультет МГУ (отд. ист. и теории искусства), а также Hochschule für Philosophie в Мюнхене. Автор многочисленных публикаций по истории искусства, философии и богословию. Переводы с немецкого и французского. Живёт в Тюбингене.

Ignatij-Andrey Krekschin – *Philosoph, Übersetzer. Studierte Philosophie in Moskau und in München. Veröffentlichungen in internationalen Anthologien und Zeitschriften. Lebt in Tübingen.*

Ирена Лейн – публицист, тележурналист, театральный менеджер. Автор многочисленных публикаций в России, Латвии, Таджикистане, Германии, Израиле. Живёт в Мюнхене.

Осип Мандельштам (1891 – 1937) – один из крупнейших русских поэтов 20 века.

Osip Mandelstam (1891 – 1937) – *großer russischer Dichter.*

Лейла Махат – поэтесса, художник. Автор многочисленных публикаций и выставок в Казахстане и европейских странах. Живёт в Астане и Берлине.

Leila Mahat – *kasachische Dichterin und Malerin. Veröffentlichungen und Ausstellungen in Kasachstan und Europa. Lebt in Astana und Berlin.*

Леонид Махлис, журналист, переводчик. Закончил филологический факультет МГУ. С 1973 г. живет в Мюнхене. Многолетний редактор актуальных программ Радио «Свобода», редактор журналов и монографий «Европейского центра по изучению вопросов безопасности и международных отношений».

Грациано Моретто – итальянский поэт, музыкант. Автор книги стихов, удостоенной литературных премий „J. Prevert“, „W.Tobagi“ и „Agorá“. Солист Королевского филармонического оркестра Фландрии, профессор. Живёт в Антверпене и Милане.

Graziano Moretto – *italienischer Dichter und Musiker. Mit seiner Buch „Precession“ wurde mit Preisen „J.Prévert“, „W.Tobagi“ und „Agorá“ ausgezeichnet. Lebt in Antwerpen und Milano.*

Хаде Мюллер (1937 – 2003) – немецкий художник, ученик Оскара Кокошки. Окончил Академию живописи в Мюнхене. Многочисленные выставки в европейских странах.

Hade Müller (1937 - 2003) – *deutscher Maler.*

Клим Немов – писатель. Кандидат биохимических наук. Публикации в московских журналах. Живёт в Москве.

Вадим Перельмутер – поэт, эссеист, историк литературы, член Союза писателей и Союза журналистов России, Российской Академии (РАЕН). Публиковаться начал ровно сорок лет назад, издал пять книг стихов, книгу о Вяземском, том эссеистики «Пушкинское эхо», сотни историко-литературных работ. Живёт в Мюнхене.

Роман Перельштейн – по первому образованию архитектор, окончил также ВГИК и Литинститут. Член Союза российских писателей. Автор киносценариев, книги прозы и многочисленных публикаций в России (журналы «Юность», «Октябрь» и др.) и Израиле (журналы «Перекресток Цомет», «Роза ветров»). Живёт в Москве.

Борис Рацер – известный драматург, писатель, поэт. Автор более 50 популярных пьес, 10 киносценариев, прозаических сочинений, текстов песен. Живёт в Мюнхене.

Эйтан Финкельштейн – писатель, журналист, европейский корреспондент газеты «FORWARD» (Нью-Йорк). Автор книг и многочисленных публикаций в различных странах. Основатель и редактор «Еврейского журнала». Живёт в Мюнхене.

Борис Хазанов – писатель, эссеист, переводчик. Образование фил-фак МГУ и Мединститут в Калинин. Кандидат медицинских наук. Литературный редактор журнала «Химия и жизнь». Один из учредителей и соредакторов (вместе с К. Любарским и Э. Финкильштейном) журнала «Страна и мир». Член Международного ПЕН-клуба, почётный доктор Санкт-Петербургского университета, лауреат нескольких литературных премий. Автор семи книг прозы и эссеистики, а также многочисленных публикаций в Европе, США и Израиле; произведения Б.Х. переведены на ряд европейских языков. Живёт в Мюнхене.

Boris Chasanov – einer der bedeutendsten russischen Schriftsteller seiner Generation. Studierte Philosophie und Medizin. Mitglied des internationalen PEN-Klubs. Für sein Gesamtwerk wurde mit verschiedenen Preisen gewürdigt und ausgezeichnet. Lebt in München.

Пауль Целан (1920 – 1970) – один из крупнейших немецких поэтов послевоенного периода.

Paul Celan (1920 – 1970) – einer der bedeutendsten Lyriker der deutschen Nachkriegsliteratur.

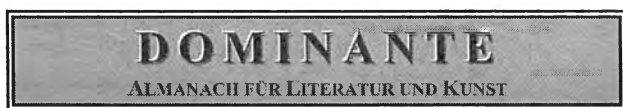
Родион Щедрин – всемирно известный композитор, автор многочисленных произведений, вошедших в сокровищницу классической музыки 20-21 веков. Неоднократный лауреат государственных и музыкальных премий. Почётный член Академий изящных искусств многих стран мира.

Эпикур (341 – 270 до н.э.) – древнегреческий философ.

Epikur (341 – 270 v. Chr.) – griechischer Philosoph.

Эрнст Яндль (1925 – 2000) – выдающийся австрийский поэт.

Ernst Jandl (1925 – 2000) – bedeutender österreichischer Dichter.



Herausgeber:

<Dialog> Neues Münchner Kunstforum e.V.

Vorstand:

R.Krause, S.Gourari, S.Schkolnik,
A.Schurr, M.Krause

Asam Str. 8, 81541 München

Tel.: 0049/89/65 60 52 Fax: 0049/89/65 86 50

Chefredakteur:

Simon Gourari

SGourari@t-online.de

Redaktion:

Boris Chasanov, Ludmila Didenko, Dr. Brigitte Huber,
Vadim Perelmuter, Prof. Dr. Anselm Schurr,
Dr. Sigrid Richter, Bettina Rühm

Redaktionsassistentz: Ellen Seidel

Produktionsassistentz: Irena Lein

Design und Gestaltung:

Anatoli Steinberg

Druck und Bindung:

Russo Druckhaus München

Schwabinger.copy-service@t-online.de

Printed in Germany

Alle rechte sind vorbehalten

ISSN 1863-6322

Für die freundliche Unterstützung bedanken wir uns bei
PSD Bank München eG

